

Калужский литературный альманах

Олака



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Ослака

Калужский литературный альманах

1

КАЛУГА
2018

ББК 84(2Рос=Рус)
О-16

Редактор–составитель
А. В. Трунин

Редакция:
М. А. Улыбышева
О. П. Клюкина
Ю. В. Холопов
В. М. Обухов
П. С. Тришкин
П. Е. Топорков
И. А. Красовский

Облака: Калужский литературный альманах / сост. А. В. Трунин. –
Калуга: Издатель ООО «Ваш Домъ»,
О-16 ИНН 4027077375, г. Калуга, ул. Гагарина, 1, 2018. – 368 с.

ISBN 978-5-98204-121-0

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-98204-121-0



© Авторы. Тексты, 2018

© Трунин А. В. Составление, 2018

© Издатель ООО «Ваш Домъ», оформление, 2018

ОТКУДА И КУДА ПЛЫВУТ ОБЛАКА (слово редактора)

Облака – один из любимых поэтических образов в русской литературе. Вспомним Фёдора Тютчева («В небе тают облака...»), Афанасия Фета («Причудливый хор облаков...»), Николая Рубцова («Плывут, плывут, как мысли, облака...»), Арсения Тарковского («По лужам облака проходят косяком...», «Слышу белого облака белую речь...») и ещё многих наших любимых поэтов.

Уже этого достаточно, чтобы альманах, который выходит в городе, известном своей особой тягой к небу, назвать «Облака».

Но ведь можно расшифровать название и как «ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ», и «ОБластной Литературный Альманах КАЛУЖСКОГО Края». Звучит в этом слове и наша «О-КА».

И ещё новый альманах подобен облаку в интернете, которое доступно всем желающим. Только в отличие от виртуального хранилища файлов, которое можно стереть нажатием одной кнопки, наш альманах, как всякая бумажная книга, имеет солидный запас прочности.

Так откуда и куда плывут «Облака»?

Литературная жизнь в Калужской области богата событиями. Издаются книги и коллективные сборники, непрерывной чередой следуют презентации и творческие вечера, литературные праздники и выступления поэтов-гастролёров. Молодежь создаёт альтернативные или параллельные группы, издания, проекты. Процветает любительское сочинительство, давая нередко очень интересные результаты. Работают литературные клубы и студии, проводятся конкурсы, вручаются премии и, главное, множество людей пишут – стихи и рассказы, поэмы и романы, пьесы и эссе, мемуары и краеведческие исследования.

Кажется, чего ещё не хватает пишущей и читающей публике...

Не хватает периодического издания, которое объединило бы литераторов опытных и молодых, прозаиков, поэтов и драматургов, авангардистов и традиционалистов, романтиков и фантастов – такое мнение

можно было услышать от многих калужских литераторов. Но чтобы осуществить такой крупный культурный проект, нужна была серьёзная поддержка.

Эта тема активно обсуждалась в ходе плодотворного диалога писательской общественности с региональной властью, который инициировал в прошлом году Алексей Петрович Золотин. И возникшая тогда идея издания калужского литературного альманаха получила живой отклик в министерстве культуры и туризма Калужской области. А областная научная библиотека имени В.Г. Белинского взяла на себя роль издателя.

Новый альманах должен стать и зеркалом, которое отражает литературную жизнь в Калужской области, и творческой лабораторией – местом дискуссий, экспериментов, литературной аналитики.

На страницах первого номера, который вы держите в руках, опубликованы произведения 46 авторов, живущих в Калуге, Обнинске, Боровске, Мещовске. Есть и гости из других регионов, чья творческая жизнь так или иначе связана с Калужским краем.

Редакция надеется на долгую жизнь альманаха «Облака». Надеемся, в будущем в него придут новые талантливые авторы, которые своими произведениями доставят читателям радость от встречи с подлинным искусством слова и повод для серьёзных размышлений.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА



Владимир Кормильцев

СЮЖЕТЫ ОБЛАКОВ

Гамлет: “Видите вон то облако в форме верблюда?”

Полоний: “Ей-богу, вижу, и в самом деле: ни дать, ни взять – верблюд!”

Гамлет: “По-моему, оно похоже на хорька”

Полоний: “Правильно, спинка хорьковая”

Гамлет: “Или как у кита”

Полоний: “Совершенно как у кита!”

(Вильям Шекспир. “Гамлет, принц датский”)

Здравствуйте! У меня есть немного свободного времени, поэтому я с удовольствием расскажу вам о себе и о своей работе. Только, пожалуйста, постарайтесь понять меня правильно. К сожалению, очень многие, даже подобные мне, узнав, чем я занимаюсь, сразу заявляют с «понимающим» видом: «А, так вы – ангел!» Ну, надо же придумать такое! Как будто каждый, кто трудится в Небесных Сферах, принадлежит к сонму ангелов... Глупость несусветная! Моя работа – далеко не ангельская, но я не променяю её ни на какую другую.

Я – Мастер Облаков, то есть тот, кто придаёт им определённую форму. Конечно, далеко не все облака, что видны на небосводе, сделаны мною. Такая работа была бы под силу только Творцу, а у него дел и без этого хватает. Ваяние и зодчество из гор водяного пара Он великодушно доверил таким, как я. Для меня облака, разбросанные по небу, – то же самое, что глыбы необработанного камня для скульптора: лишь одна из тысячи превращается в скульптуру, более-менее совершенную. Вы, наверное, подумали, что высекать статуи из неподатливого камня труднее, чем менять форму облаков? Ошибаетесь! На самом деле, работа скульптора – в сотни раз легче моей. Во-первых, наши творения несоизмеримы по масштабам. Даже самый грандиозный каменный колосс, когда-либо изваянный на Земле, в сравнении с облаком среднего размера выглядит миниатюрной статуэткой. Во-вторых – инструменты: орудовать молотком и железным резцом куда проще, чем управлять потоками ветра, меняющего форму облачных гор. Да и увидеть результат своего труда мне непросто, ведь гору не окинешь взглядом, если работаешь вплотную к ней, а стоит отступить на большое расстояние – теряется сила воздействия на материал. Чаще всего приходится лепить облако буквально вслепую, и тогда получается что-то похожее на абстрактные творения художника-авангардиста: без совершенной формы, без интересного содержания и, по большому счёту, без смысла. По счастью, как и все, кто живёт и работает в Небесных Сферах, я не теряю связи с обитателями Земли. Между прочим, большая их часть об этом даже не догадывается, но для меня это абсолютно неважно. Достаточно, чтобы время от времени кто-нибудь из людей смотрел на мою работу. Глаза, обращенные в небо, я безошибочно нахожу

Владимир Кормильцев родился в 1958 году, калужанин. Закончил Московский государственный институт культуры. Занимается фотографией, журналистикой, работает телеоператором на ГТРК-Калуга. Стихи и прозу пишет со студенческих лет. Произведения публиковались в местной периодической печати, на страницах литературно-художественного журнала «Траектория творчества», в литературно-художественном альманахе «Сорок сороков», в журнале «Пишкін лес», в сборнике «Радуга мечты», в литературно-художественном альманахе «Пробуждение».

среди миллионов глаз тех, которые большую часть своей жизни заняты исключительно земными делами. Но если хоть одна или две пары глаз устремлены вверх и видят мою работу со стороны – этого достаточно. Как всякий обитатель Небесных Сфер, я могу проникать в сознание людей, но не для того, чтобы управлять их волей или читать чужие мысли. Просто умение видеть человеческими глазами свою работу и читать мысленные образы, нарисованные фантазией в их сознании, – один из обязательных профессиональных навыков любого Мастера Облаков.

Как видите, хоть моя работа и считается творческой, но результат ее зависит от множества чисто технических нюансов. Найти подходящее облако, эту бесформенную гору водяного пара – не поддела, и не четверть дела, даже не десятая его часть. Слишком многое зависит от удачи, от благоприятного стечения множества факторов, не последние из которых – метеоусловия, экологическая обстановка, солнечная активность и связанные с нею возмущения магнитного поля Земли... да мало ли что ещё! «А как же вдохновение?» – наверное, спросите вы. Ну, вдохновение вдохновением, а работать нужно каждый день. Вот и сейчас, рассказывая все это, я уже присмотрел подходящую снежно-белую облачную гору. Немного великовата, но так всегда кажется до начала обработки. И хороший воздушный поток рядом, всего в паре километров. Холодоват немного, но это даже лучше: тёплые воздушные течения иногда распыляют облачную массу, а этот – сработает чётко, как скальпель! Я пока не решил, что сделаю из облака, но – успеется. Самые лучшие идеи приходят по ходу дела, проверено!

* * *

– Юрка, а тут клёво! Никогда бы не подумала, что сразу за Кольцевой такая природа. Совсем как у нас дома!

– Ну, положим, досюда от трассы неблизко, мы больше часа пилили, да все по просёлку. Дорожка – звездац всему, как говорится, прощай подвеска.

– Дорога как дорога, я даже вздремнула чуток.

– Как ты ухитрилась? Я бы на заднем сиденье всю задницу отбил, не то чтобы заснуть...

– А подежурил бы лишние сутки, как я – тоже бы «ухитрился».

– Чего ты хватаешь эти лишние дежурства? Всех денег не заработаешь...

– «Всех денег!» Кто бы говорил! Знаешь, сколько медсестра в травме получает, если без сверхурочных? Тебе мама на карман и то больше даёт!

– Ирка, ладно, не злись! Я не в том смысле. Обидно просто, что на тебе ездят...

– Ой, надо же, какой заботливый! Не бойсь, студент, прорвемся! Ты бы о себе лучше побеспокоился. Как в эту сессию, много хвостов отрастил?

– Много, немного – все мои.

– Вот то-то. Смотри, вышибут с предпоследнего курса, и тогда – «будет тебе, бриллиантовый, дальняя дорога да солдатские хлопоты в казенном доме...»

– Накарай еще! Артистка погорелого театра...

– Да, не артистка. А поступать на театральный все равно буду. Если и в этот раз не получится – попробую ещё через год. И вообще, хватит трепаться! Ты костёр развел?

– Ну.

– Баранки гну! Ложись, пользуйся моментом!

– Опаньки! А если Гошка с Лорой придут?..

– Дурачина! Я сказала «ложись», в смысле – отдыхай. Смотри, какое небо классное! И облака... Разве такие облака в твоём задымленном мегаполисе увидишь?

– У нас много чего увидишь. Давай, двигайся.

– Эй, аккуратнее! Тебе что, двухспального покрывала мало?

– Мне – и целого мира мало! Ух, хорошо! А то облако, и вправду, впечатляет. Как атомный взрыв!

– Зубы мне не заговаривай. Лежи смирно, наппи, действительно, скоро придут. А облако – вовсе не на взрыв похоже, скорее, на дерево. Толстый ствол, густая крона... Ой, да куда ж ты лезешь, наказание моё!

* * *

Удача! Едва я начал работу, она сразу привлекла внимание там, внизу. Пока что зрителей только двое, но мне достаточно и этого. Увидев облако их глазами, я сразу понял, чего в нем не хватает, а что, наоборот, лишнее. Сейчас я направляю воздушный поток в середину. Облачная масса вскипает, как пена, и нехотя расступается в стороны. Вон те крайние комки белого надо придержать, иначе облако порвется на две половины, а мне этого совсем не нужно. Кажется, я начинаю понимать, каким его сделаю, и это придаёт уверенности. А она – вера в свои силы – такой же инструмент Мастера, как и все остальные. Сомневающийся в себе никогда не создаст ничего достойного. Но вера в себя ни в коем случае не должна превращаться в самоуверенность, такой «инструмент» может только навредить. Материал я выбрал удачно! Со стороны облако, наверное, напоминает огромный торт, украшенный горами взбитого крема... К сожалению, сейчас я не могу в этом убедиться, потому что те двое, что внизу, больше не смотрят в небо, они снова заняты друг другом. Ничего страшного, немного поработаю вслепую. Сейчас сожму его с боков, и от этого облачная масса делается чуть выше. Главное, чтобы не было неожиданных сюрпризов на небосводе...

* * *

– Гошка, чёрт безрогий! Нашёл время звонить!

– Спокойно, Юр! Что случилось?

– Да ничего не случилось! Этот козёл решил мне супер-новость сообщить: мол, местные сказали, что магазин в деревне сегодня уже не откроется. Они поехали на электричке до ближайшей станции. Путешественники хреновы! Как будто нельзя было в городе пивом затариться....

– Ну, и зачем так орать? Все же хорошо.

– Ага, надо бы лучше, да некуда. Взбрыкнула, как антилопа, на которую тигр напал. Чего смеешься?

– Юрка, ну не злись! Это меня телефон испугал. А ты, и правда, набросился на бедную девушку, как тигр. Нет! Ты – Витязь в тигровой шкуре!

– Ага, он самый... Шкуру вот только оставил сегодня дома, на вешалке: не по сезону одежка. Упс! Ты чего?..

– Ничего. Целую тебя! Ты у меня – супер-лучший! Но отдаваться тебе под первым попавшимся кустом я вовсе не собираюсь.

– Понятно.

– Ничего тебе не понятно. Не хочу, чтобы твоя мама думала: вот, приехала провинциалка в столицу, окрутила ее мальчика ради прописки-квартиры...

– Дура ты, Ирка! Я же люблю тебя! И плевать мне, что там мать про тебя думает.

– Я тоже тебя люблю, дурачок ты мой! И про маму так не говори, она у тебя хорошая. Мне кажется, мы с ней даже подружимся... когда-нибудь. У тебя, кстати, глаза мамыны. И – губы. Поцелуй меня.

– ...

– Хорошо! Как с тобой хорошо, Юрка!

* * *

Солнце сияет, на Земле сейчас, наверное, жара, зато здесь, в небесах, царит вечная прохлада. Люди не зря с давних пор восхищаются небом и не жалеют для этого самых красивых слов. «Воздушный океан», «хрустальный небосвод»... Звучит неплохо, но все это, как писал какой-то их поэт – «слова, слова, слова...» Они не выражают всей глубины, всего многообразия Небесной Сферы. Я уверен в этом, хоть и не слишком разбираюсь в человеческих языках. Для меня в этом нет необходимости, лучшее, что я могу «сказать» – говорю своими творениями. И, кстати, пора продолжить дело. Хоть моё Облако и меняется в нужном, заданном ему направлении, нельзя пускать это дело на самотек. Самое главное в работе Мастера Облаков – умение сосредоточиться. Пока замысел будущего творения только рождается в сознании – еще можно расслабиться, можно отвлекаться на разговоры, копаться в воспоминаниях. Если же чувствуешь, что дело пошло – всё лишнее в сторону! Мир вокруг меня состоит из множества вещей, но с этой минуты меня интересует только моё Облако. Все остальное – лишь постольку, поскольку может пригодиться в работе.

* * *

– Посмотри на своё «облако-дерево».

– А что?

– Да ничего. На нем «плоды» выросли.

– Ой, и правда! Здорово, Юрка! В самом деле, похоже. «Висит груша, нельзя скушать...»

– А сбоку, смотри, открытая пасть, как у дракона. Сейчас он твою грушу и схавает. Я бы, кстати, тоже перекусил.

– Проголодался? Сейчас чего-нибудь соображу... Знаешь, когда я на природе, совершенно есть не хочется.

– Лежи, отдыхай. Я сам готовлю. Огонь, железо, мясо – дело мужчины!

– Ого! У нас в программе шашлык?

– Будет и шашлык. Но первый номер программы – сосиски с хлебом. Сейчас, только чуток обжарю.

– Ой, смотри, самолёт! Такой маленький!

– Это спортивный. Сейчас начнёт фигуры высшего пилотажа отрабатывать.

– Красиво как! На фоне облаков...

* * *

Ненавижу самолёты! Согласен, что злобных чувств следует стыдиться и ни при каких обстоятельствах не давать им волю. Это всё – человеческое, слишком человеческое. Мне, Мастеру Облаков, негоже уподобляться обитателям Земли. Но самолёты все равно не люблю. А за что мне их любить? Стремительные, наглые, они всегда появляются неизвестно откуда и непонятно зачем. Вот и этот – затеял свои акробатические упражнения возле моего Облака и сразу перепутал воздушные потоки. Чувствую, что боковые формы нарушаются, из плотной кучевой массы вытягиваются жидкие серые нити, словно клочья ваты из разорванной ткани старого одеяла. Отвратительное зрелище! Что я могу сделать, чем помешать этому вандализму? Да ничем. Могу только смотреть, как разрушается на глазах недоделанное Облако. Смотреть либо собственным зрением, либо глазами тех двоих, которые только что были первыми и единственными зрителями моего творчества. А теперь с таким же интересом они готовы наблюдать и процесс разрушения моего незаконченного творения. Когда я думаю об этом, в душе рождается почти человеческое чувство. Обида? Сожаление? Не знаю, как его назвать, мелкие переживания обитателей Земли мне мало знакомы: в конце концов, я Мастер Облаков, я живу и творю в Небесных Сферах. Но, видимо, слишком уж часто смотрел я на свою работу человеческими глазами, и это не прошло бесследно. Уже давно стал замечать, что, создавая облако, я порой думаю: а как оно будет выглядеть с Земли? Казалось бы, какое мне дело до тех, кто внизу, до тех, чьи глаза всегда служили мне лишь подспорьем в работе, не более! Я всегда считал, что форму будущего творения придумываю сам, и только сам! Так откуда же это странное подозрение, что автором моих произведений являюсь не я один? Нет, надо что-то делать с этими мыслями! Иначе можно совсем одичать и – очеловечиться...

* * *

– Улетел... А как он классно чертил в воздухе! Я как-то видела фотку в интернете: самолет в небе, а за ним – белый дымный шлейф, и он складывается в сердечко. Прикольно!

– Фотошоп это, ежу понятно. В интернете тебе на небе что угодно нарисуют: хоть сердечко, хоть «I love you», как на твоей майке.

– Наверное... Смотри, а облако наше совсем развалилось. Сейчас и не скажешь, на что оно похоже...

– Я лучше за костром посмотрю. Сосиски чуть не сгорели. Блин! Опять Гошка звонит...

* * *

Теперь уже ясно, что сегодня я работал впустую. Облако, которое было задумано, как новый шедевр, как одно из лучших моих произведений – безнадежно испорчено. То, что не успел сделать круживший в небе самолёт, довершил атмосферный фронт, нахлынувший с юго-востока и нарушивший формы всех облачных масс в этой части небосвода. Больше мне здесь делать нечего. Остатки облака я комкаю и рву в клочья, раскидываю в стороны. Беспольный брак! Воистину, чтобы жить и творить в Небесных Сферах этой Земли, нужно иметь ангельское терпение! А я, как уже говорил, далеко не ангел...

* * *

– Все, Ирка, собираемся! Гошка место нашёл, получше этого: речка, лес, рядом деревенька – три двора. Ночевать будем на сеновале. Он уже с какой-то бабкой насчёт баньки договорился.

– Ого! Какая у твоего приятеля деловая хватка...

– А то! Хорошо, что здесь палатку ставить не начали. А ехать туда всего ничего, через полчаса будем на месте. Выходные проведем на «пять с плюсом»! Эй, Ирка, ты чего?

– А чего?

– Да лицо такое, как будто не рада.

– А, не бери в голову. Поехали, «отличник» мой!

... Хлопнули автомобильные двери, заурчал мотор, и ярко-красная «Лада» покатила прочь. На поляне с примятой травой остались угли костра, залитого остатками минералки. Жидкий дымок поднимался в небо, где клочья разорванных облаков через несколько минут сложились в пятно, похожее на сердечко. А под ним полупрозрачные облачные нити, прежде чем раствориться навсегда в голубом небе, образовали неразборчивые буквы, которые, если приглядеться, складывались в надпись «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».

В л а д и м и р О б у х о в

ЛИШЬ КРАСКИ НА ХОЛСТЕ

* * *

Теряю очертания, как облако – теку.
Вливаюсь в расстояния,
В Оку, в века, в строку.
Теряюсь в бесконечности
Небес, морей и луж,
В холодной строгой нежности
Давно угасших душ,
То более, то менее
Тоскуя. Вместе с тем
Сам становлюсь мгновением,
Эпохой, бытием.

* * *

Бьются оземь щекастые яблоки.
Донага раздевается сад.
Крон короны, все менее яркие,
Обращаются в листопад,
Обращаются в морок, в кружение
То ли золота, то ли сна –
Что-то вроде стихосложения
Происходит в проеме окна.
Кто-то вроде соседа умершего
Топочится в соседнем саду,
Тряпки старые перевешивая,
Топоча, бормоча на ходу...

* * *

Счастья корень – соучастие
В жизни. Если по уму
Счастье – даже поиск счастья,
Даже подступы к нему.
Если, правда, жизнь – большая:
От земли и до небес.
Если нет у жизни края

Владимир Обухов – искусствовед, художник, писатель. Выпускник отделения истории искусства МГУ. Автор искусствоведческих книг и альбомов, поэтических сборников. Член Союза художников России и Союза российских писателей, вице-президент Академии аналитического искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

И конца нет. Наконец,
Если верим в полной мере
В благость бед и вред побед.
Если верим... Просто – верим.
Если мы идем – на свет.

* * *

Листы черновые с листвою
Смешались. Кружится листва.
И вылетают на волю,
Меняя обличья, слова.
Так тень восстает великаном –
И пальцами целит в зенит.
Так, вспыхнув, над океаном
Крылатая рыба летит.

* * *

Ну что за работа! – твори чудеса,
Прохаживайся по водам...
А, кончив работу, – домой, в небеса,
Ничуть не спеша, пешим ходом.
Конечно, шучу я. Не так уж проста
Работа любого святого.
Тут жизнь перечеркнута тенью Креста –
И к мукам, и к счастью готова.
А я? Многогрешен. И ныне грешу.
Я время варю, как варенье.
Стихотворения я пишу.
Я занят стихов твореньем.
Как просто все это! Влетает в стих
Даль – и прорастает стихами.
Не надо стараться придумывать их.
Они возникают сами,
Сверкая, как луч из-за облаков,
То радость, то горе даруя.
«Ну что за работа – писанье стишков!» –
Порой сам себе говорю я.

* * *

Не старше вы стали, а старше.
Очи ярче горят – в ночи.
Поднимают заздравные чаши
Поседелые бородачи.

Пьют за здравие нового века
И за здравие тел и душ.
И вино страшно-красного цвета
Льют, как в бочки, в массивы туп.
Блеск от лампочки голой.
И пляски
Тени легкой, как смех на устах.
И сверкают раздумчиво краски
На картонках и на холстах.
Мало вас. Нет уж многих. Клубится
Темь: тень тени. И, как в кино,
Вдруг во тьме возникают лица,
Если долго глядеть в окно.

* * *

Мы всего лишь краски на холсте.
Холст дрожит. И ходят смерчем кисти,
Смешивая белизну костей
С жженой костью ям, с лазурью истин,
С охрой поля, с кобальтом Оки...
Все смешалось. Дом, такой далекий,
И лесные дали так близки!
И слились навек ручьи и строки.
Только неба нету на холсте.
Вот и чудится мне: снова, снова
Чьи-то очи блещут в высоте
Недовольно, яростно, сурово.

М а р и н а У л ы б ы ш е в а

МОЁ СИНЕЕ СЧАСТЬЕ

Про платье в горошек

Шила мне мать на машинке ножной платье в горошек.
Я же кроила и в чане варила джинсы из корда.
Жизнь моя – грошик, сухарик ржаной, крепкий орешек –
строила мне то – воздушный дворец, то – козью морду.

“Ма-му” и “ра-му” писала, и драму любви – под диктовку.
Друг мой был дик, как за домом пустырь... и атеистом.
Юные ленинцы строились в ряд, кричали речёвку.
Я, как всегда, обреталась в хвосте: не выдалась ростом.

Мать говорила, зубри бухучёт: дебет и кредит.
Я же кораблик пускала в ручье, марала бумагу.
Как на мой счёт злопыхали золовки: – Девочка бредит!
Брежу и грежу! О, дайте мне срочно медаль за отвагу!

Эту прекрасную, страшную сказку не люблю, не слушай.
Как было странно куда-то трястись в казённом вагоне.
Панцирь сдирая, улиткой душа выползала наружу.
Эй, в догонялки! Догонишь меня? Нет, не догонишь.

Кубарем мчалось, носило обновки из ближней старьёвки,
Кашки-ромашки тащило домой, жучков подбирало
Детство моё, непосредство моё, любопытство моё.
Не умирай, говорила я небу – не умирало.

Мир мой кроил неумелый портной: криво и косо.
Сальдо и бульдо пора подводить, брутто и нетто.
Мать на погосте лежит. На фото – русые косы.
Платье в горошек лежит в сундуке. Раз и надето.

Марина Улыбышева – поэт, журналист. Корреспондент программы «Родной образ» на телерадио-компании «Ника ТВ». Лауреат литературных премий им. М. Цветаевой, им. В. Берестова, им. Л. Леонова, им. И. и П. Киреевских, и в рамках Международной премии М. Волошина в номинации «Лучшая поэтическая книга 2014 г.» специальной премии «За сохранение традиций русской поэзии». Награждена Патриархом Всея Руси Алексием II благодарственной грамотой и медалью Сергия Радонежского II степени и государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

* * *

Как пили вино, под вино пели песни свои,
Бокалы звенели, стаканчики дробно стучали...
Она на него посмотрела глазами любви.
И он на неё посмотрел, но – глазами печали.

Как тёмен был взгляд, горек чай, ночь, как сажа, черна.
Несладко шилось, зато целось протяжно и сладко.
И пела, звенела, гудела, дрожала струна,
Как мёд на губах, тихо таяла ночь без остатка.

И ночь просочилась меж пальцев и канула прочь.
В прихожей друзья обнимались, прощались, кричали...
И жизнь бесконечной казалась, как чёрная ночь.
И можно, казалось, прожить без любви и печали.

Летнее

Тараканы исчезли, и мухи исчезли, и пчёлы.
И комарик пислявый жалейкой не стонет над ухом.
Но пока ещё кашкою пахнет, цветут роднолы.
Ох, наскочит земля на небесную ось – говорили старухи!

Кто же будет теперь прочищать хоботок и подкрылки,
Кто же будет теперь потирать свои чёрные лапки,
Вязнуть в сладком варенье и ползать в зелёной бутылке,
Иероглифом маяя ходить по альбомной закладке?

Говорили – ужо вам, ужо! Вот бабахнет, промчится!
Говорили, что ягодки будут, а это – цветочки!
Как же хлопотно, тяжело... Что ж будет теперь, что случится?
О, как быстро наш мир докатился до ручки, до точки.

Но пока ещё кашкою пахнет, и вьётся горошек.
В тонком чайничке прееет смородиновый листочек.
Как же сладок наш пир с тихим звоном серебряных ложек!
Как же знаков не хочется – ни препинаний, ни точек.

Тараканы исчезли, и пчёлы исчезли, и мухи.
Вот и я исчезаю в цветенье полуденной тению.
Ясно вижу вполглаза, отчетливо слышу вполуха,
Сонно перетекая в иное совсем измеренье.

* * *

Мальчик с княжеским именем умер седым стариком
Где-то в южном селенье, где жил он, конечно, у моря,
И в тельняшке ходил, и по гальке ходил босиком.
И, наверно, хлебнул полной чашей и счастья, и горя.

Ах, как эта тельняшка сидела на теле литом!
Ах, как в этом селенье глицинии цвели и левкои!
Вот и всё, что могу я сказать вам о мальчике том...
А, быть может, придумать... Ведь можно придумать такое.

Как он прыгал с причала и плыл в золотистую даль,
Как жемчужное море за плечи его обнимало...
Старика я не знала. И мальчика помню едва ль.
Его не было в жизни моей. А теперь вот не стало.

Моё счастье

Аппетит приходит во время еды.
Лишний вес уходит во время ходьбы.
Жнец с серп Ильнем приходит во время страды.

А оно не приходит вовсе.
Моё синее счастье с жар-птичьим крылом.
Оно где-то пирует за белым столом,
На чужом на пиру, на пиру веселом,
Да ночует в лугах сенокосных.

И подносят ему на подносе вино,
Молодое вино, зеленое вино.
И пьяным сидят трезвые гости.

Не имеет здоровый нужды во враче.
Мои мысли бурлят, как вода в ключе.
Как приходит не вовремя время Че.
А ему заколо́дило что ли?

Моё счастье... Оно только мне и дано.
Никому в целом мире не нужно оно.
Без меня – несуразность, несчастье одно!
Сор-трава, перекати-поле!

За циклоном приходит антициклон.
Я хожу и слушаю гул времён.
Царь, царевич, сапожник... Кто б ни был он,
Мне не писан его закон.

Взбиты облака, как сметанный крем.
А земля летит, набирает крен.
И туман, как шлейф, волочётся...

Так в эпоху лучников и трирем
вдруг родятся не вовремя Ромул и Рем.
Но младенцев не бросит волчица.

Мчится время, стучится... И мне ль не знать,
Как волчицей бывает нежная мать,
и как матерью нежной – волчица.

Как на братской крови всё тучнеет Рим.
Не треух на воре, это мы – горим!
МММ приходит, Гольфстрим, экстрим...

А оно не приходит вовсе.
Моё счастье хмелеет в чужом пиру.
Иль осинкой дрожит во сыром бору.
Машет синим платочком на стылом ветру.
Или просто лежит на погосте.

На погосте, на круче, где воздух колюч...
И лежит над ним камень бел-горюч,
Бел-горюч, как слеза горяча.

* * *

Мой школьный учитель труда не умел говорить.
Зато он умел заготовку, как стерву, пилить.
Напильник визжал, голосил одуревший металл...
Класс выл и ходил на ушах. А учитель молчал.
Как бывший вояка умел он упасть и отжаться.
А вот говорить не умел. Лишь умел выражаться.

Мой школьный учитель безделья вещал как Гомер
В искусстве болтливом сей дока не знал полумер.
Прикладывал к образу образ, пленялся натурой,
Кудрявилась мысль, юморок завивался, ветвилась фактура.
Наука его мне казалась сладка, как халва:
И хлеба важнее, и зрелищ – бывали слова.

Мой третий учитель – он знаки чертил на песке,
Ходил он по водам и смерчи держал он в руке.
Он словом умел исцелить и сразить наповал,
Поэтому, видно, как я ни молила, молчал.
Но, звука не выронив, спрашивал первых двух строже.
И эти уроки мне стали двух первых дороже.

* * *

В мире всё случается так, как надо.
В мире всё случается так, как должно.
Отчего ж в предчувствии листопада
На душе – тревожно?

Так на стылых ветрах дрожит берёзка.
Так на стылых ветрах дрожит осинка.
И травинке хочется от морозца –
Под холстинку.

Ах, букашка малая – ротозейка,
Слыша грай вороний в прорехах сада,
Не жалея себя, не ищи лазейку:
В мире всё случается так, как надо.

Наталья Никулина

В ОКРУЖЕНИИ АНГЕЛОВ

* * *

Хрустеть сухариком
Из котелка Дивеевского старца
Представляя
Осторожный хруст гравия
Под сапогами чекиста
Прятавшего на чердаке Исаакия
От красного террора
Мощи Серафима Саровского.

Вечная память!
Шепнуть про себя.

сетчатка

1 .

Лица наплывают на дома
Буквы наплывают на лица
Слова превращаются в свет.

сетчатка.

2 .

Сетчатка такая тонкая
Что сквозь неё видно окно за моей головой
И дерево растущее до неба.
Офтальмолог удивляется
Хрусталик настолько прозрачный
Что видно дно озера
В котором она в детстве чуть не утонула
Тонуть в глазах
Так банально думаю я.

Наталья Никулина – поэт, журналист, участница ежегодных российских фестивалей верлибра, лауреат международных литературных журналов «Дети Ра» и «ФутурумАРТ». Серебряный медалист Всероссийского Фестиваля Фестивалей – 2017. Член Союза писателей XXI века. Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая Юность», «Крещатик», «День и Ночь», «Журнал ПОэтов», «Арион», «Плавучий мост», на сайте православного журнала «Фома» и «45-я параллель». Редактор Всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» Калужской области. Живёт в Обнинске.

3 .

Я иду на голос
Мир не в фокусе
Но фокус в том что
География пространства
Переместилась в сердце.
Мерцающее сияние колеблет основу
Моих школьных знаний о появлении мира
Вспоминаю – в Библии тоже
Всё было просто:
Вначале было Слово...

4 .

Оказывается
Асфальт очень неровный
А кубисты и импрессионисты были правы
Расплывчатые геометрические формы
И пятна цвета и света
То и дело проплывают мимо меня.
Самое большое и светлое – это ты
Оно закрывает от меня все остальные
Неужели любовь настолько слепа?

5 .

Почва колеблется под ногами
Всюду хляби небесные
И слова.
Слово твёрже алмаза
И свет светофора
Превращается в крест дороги
Сегодня я пойду направо
Сегодня воскресенье
Там Ты.

* * *

В окружении ангелов
Душа моя
Как открытое окно.
Насквозь видна.
До самой вечности.

Вячеслав Некрасов

ЛЮБОВЬ МОЯ, ЦВЕТ ЗЕЛЁНЫЙ...

Маленькая повесть, написанная только для одного читателя

Знаешь, душа моя соткана (или связана на спицах) из длинных и таких неярких нитей русской провинции. Из её белого воздуха, её звуков... Я бы очень хотел, чтобы слова мои, как золотые пчёлы, плавали в воздухе вокруг тебя, освещая лицо твоё и плечи. И немного смешили.

В твоих глазах

Смех, золото и ветер
Ф. Г. Лорка «На ушко девушке»

Ты смеялась. Говорила, что я совсем не то вижу в твоих глазах, что на этом, например, снимке нет никакой любви во взгляде, а просто игра. Называла глупышкой. “Как же ты можешь меня любить, если ты совсем меня не понимаешь?..”

Да, понимаю, здесь, может быть, нет любви к человеку с фотоаппаратом... Это другая любовь, которую ты и сама не осознаешь. Доверие и любовь к миру вообще... к неведомому тебе Богу... к одному человеку, казалось бы, давно забытому, но не забытому ни капельки... Радость (и грусть), что он где-то есть, существует. Я ясно вижу это все в твоих глазах. И счастье бабьего лета, и замирание перед обстающей тебя тайной мира, и предчувствие, что тайна эта прекрасна...

Может быть, я знаю тебя лучше, чем ты сама?

Моя Ирина

Любовь – я забыл её.
Ф. Г. Лорка «Ночная песня андалузских моряков»

Чрезмерно стройная женщина с нарисованными бровями сказала мне как-то:

– Я поняла – ты никого никогда не любил! Может быть, только свою Ирину.

Она была абсолютно права... А жизнь я испортил и ей и Ирине... Разница в том, что Ирина может мне простить и это. Как и я ей. Я знаю. Знаю, хотя не видел ее почти 30 лет... Она всегда мне все прощала.

Вячеслав Некрасов родился в 1957 году в городе Омске. Закончил ВГИК. Член Союза художников. Работы находятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской Галерее. С начала 90-х жил в Петербурге, здесь и начал писать стихи. Автор поэтического сборника «Фарфоровая дорожка» и нескольких книг прозы. В 2017 году за повесть «Любовь моя, цвет зелёный» номинировался на премию «Писатель года». С 2016 года живёт в Калуге.

Первая строфа

Забытое мной найди –
Отыщешь сердце моё.

Ф. Г. Лорка «Ночная песня андалузских моряков»

Когда-то, очень давно, я написал одно наивное стихотворение о любви и вот теперь, спустя много лет, говорю в телефонную трубку:

– Знаешь, было одно стихотворение о нашем с тобой расставании, послушай... Только я забыл первую строфу! Никак не могу вспомнить... – и слышу в трубке твой голос:

– Я знаю начало...

И ты начинаешь читать... Ты одна в целом мире знаешь эти четыре строчки...

Создан, сплетён, составлен...

Весь золотой тот город...

Ф. Г. Лорка «Небылица о доне Педро и его коне»

Я всегда любил с тобой встречаться в этом городе. Кажется, в детстве я видел его во сне... Белые храмы 18-го века, улочки под уклон к реке, особняки, овраги, аллен... Руководил этим строительством – многие века – таинственный, великий Архитектор, который – это ясно – думал и обо мне... А воздух этот создан, сплетен, составлен невидимым древним и чудесным Врачом для меня. И ты рождена здесь именно для меня... Какой был необыкновенный план о нас у Господа!

Эти слова

– Ты слышишь меня?.. А ведь я никому за всю жизнь не сказал слова – «любимая»... Не сказал: «Я тебя люблю». Не мог и всё.

– Я тоже... никому не говорила...

Первое лето

Издалека доносились звуки весёлого марша. В парке играл военный оркестр.

Памела Трэверс «Мэри Поппинс»

Наша институтская практика продолжалась два месяца – июнь и июль, а состояла вот в чём – мы приезжаем в какой-нибудь старинный городок, гуляем по его паркам и улочкам, изучаем окрестности, рисуем и пишем с натуры, вступаем в контакты разного рода с коренным населением, пьём парное молоко, спорим об искусстве и переплываем речки...

Первая практика, конечно же, самая прекрасная. Позже, услышав церковные слова – «благорастворение возДухов», я понял, что это как раз про то время. Жили мы, можно сказать, над рекой, в небольшом, пустовавшем летом, особняке. На другую сторону ходил паром. Там, в деревне мы с друзьями иногда ночевали в сарае для сена. Пускал дядя Ваня. Осталось ощущение света, не солнечного, а какого-то другого – радостного и ровного, пронизывающего абсолютно всё... Всего тебя и всю жизнь. И будущую тоже...

Первый день

Павлу Ильичеву

- ... Пошли!
- Куда? – спросил Винни-Пух.
- Куда-нибудь, – сказал Кристофер Робин.
А. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все».

Вечерами мы с моим приятелем Папшей иногда выходили на прогулку, чтобы ближе познакомиться с местными девушками. Причём был уговор – сегодня ты выбираешь, а завтра я – девушки тоже обычно гуляли парами... В тот день, как выяснилось, ты сдала экзамен по математике за десятый класс и вы с подругой решили пойти погулять, пофотографироваться... На календаре было 18-е июня. На этот раз выбирал я.

Зачастил слепой дождик, и все мы оказались под общим навесом. Не помню – кто сказал первое слово, и какое оно было. Потом шли по старинному, густо-зелёному парку, присаживались на скамейки и разговаривали, хотя договориться не удавалось.

Уже готовясь расстаться, я сказал:

– А ведь ты совсем ещё ребёнок...

Ты повернула лицо:

– А что, другие бы сразу с вами пошли?

– Ну, может не сразу, но...

– Но завтра я не могу!

– Давай послезавтра?

Говорите, говорите...

– Да, да, я люблю тебя, – услышал он.

– Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно.

А. де Сент Экзюпери «Маленький принц».

Осень шла с лимонною звездой...

Ф. Г. Лорка «Люди шли»

Деревня под Петербургом. Я иду по улочке и говорю с тобой по телефону... Вокруг – тёмная ночь, тёмные деревья, тёмные силуэты – людей, собак, кошек. Филинов. Ближнего леса. Облака подсвечены снизу тусклым золотом. Огромные берёзы – как огромные серые парусники, проплывают мимо...

Я говорю и говорю... Обрушиваю на тебя водопады слов. Это через столько-то лет! Сам не знаю – откуда они взялись. Как будто прорвалось что-то в груди. Время от времени только спрашиваю тебя: «Ты понимаешь?» Ты говоришь оттуда-то издалека: «Понимаю...» Я увлекаюсь, почти кричу (собаки за калитками ворчат). Меня и самого, кажется, удивляет то, что я говорю. И снова... – «Ты понимаешь?» – «Понимаю...».

И так каждый день по часу, а то и по полтора. Тебе странно – люди за полжизни столько не говорят, сколько мы с тобой за эти четыре месяца!.. Потом уже, у себя дома, ты поставишь мне песню Дольского:

Говорите, говорите, — я молчу.
Много доброго и злого
Мне приносит ваше слово,
Только кажется мне снова,
Что я дорого за это заплачу...

Пока...

Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
С. А. Есенин

Идем по городу. Снова, после стольких лет... Все волнует как прежде. Волнует необыкновенно...

— Это воздух так приятно пахнет или твои духи?
Ты улыбаешься:
— Мои духи.
Беру тебя под локоть:
— Ёкает сердце?
— Пока ёкает!
— Пока?
— Ну, я же не знаю — что будет потом! И ты не можешь знать — что будет. Я могу ведь говорить только о том, что сейчас происходит. Вот поэтому я и говорю — пока!
Так ты всегда морочила мне голову.

Люблю, наверно...

Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом.
А. де Сент Экзюпери «Маленький принц»

— Ты ведь был моей первой любовью...
— Ну, что за арифметика? Первая, вторая, десятая... Она может быть только одна. Говори — ты любишь меня?
— Люблю... наверно...
— Любишь или нет?
— Люблю!.. Наверно.

Поцелуй

Ах, под оливой
Была я счастливой!
Ф. Г. Лорка «Две девушки»

Тогда тебе было 17 лет, а на том берегу реки стояли два небольших стога... “Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной певуньей в стогу ночевал...” — эта песня звучала в голове, и я представлял твое лицо на фоне золотого сена... Ты вот удивляешься теперь, но не было у меня радикальных намерений. Кроме того, было часов семь вечера. Лето, светло... Люди могут пройти.

Ты почему-то не хотела идти через мост. А мост этот очень большой...

– Нет-нет, я туда не пойду!

Я обнимаю за талию:

– Да мы вот до этого столба дойдем – и обратно.

– Ну все, дальше я не пойду.

– Хорошо. Давай только до того вот столба дойдем, посмотрим что там – и обратно.

Так мы перешли мост... Но стогов не было! Кто-то убрал их накануне... Пришлось идти по какой-то неведомой дорожке. Ты была в светлом, приталенном плаще. Удивительно красивая! Я обнял тебя за талию, притянул к себе и... поцеловал... Это был твой первый поцелуй, да и я, правду сказать, ничего не умел... Очнулся от сигналов какой-то машины за спиной. Мы стояли на середине дороги. Ты потом сказала, что водитель долго ждал, прежде чем просигнализировать. Деликатный какой!

Обратно мы шли быстрее и говорили тише. Ты давала мне понять, чтобы я не думал о себе слишком много. Но как-то не очень верилось твоим словам. Я шил воздух лета. Я был счастлив...

Часть июня и весь июль

Кузнечики вечером

Баюкают клевер.

Ф. Г. Лорка «Китайская песня в Европе»

Воздух густой, воздух теплый. Зелень листвы в самой силе. Хлорофилл – или как там его? – максимальный, если я правильно выражаюсь. Зеленый сок течет, как зеленый огонь. Воздух обнимает руки, лицо... В груди, выше сердца, странное ощущение – тающее, ноющее. Это ты идешь мне навстречу...

Платье светлое, чуть выше колен. Вокруг тебя я ясно вижу свечение – неяркое охристое свечение – как будто светятся и горят на солнце частички инопланетной пыли... Пахнет землей, нагретой зеленью, влагой серых облаков. Кроны буйные, роскошные, тяжелые. Темно зеленые... Жизнь впереди, и она прекрасна.

Тактика любви

Кролик и Пятачок сидели возле парадной двери Винни-Пуха и слушали, что говорит Кролик.

А. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»

Я постоянно слышал разговоры старших моих приятелей, лет на 5-10 старше меня, и, судя по всему, ужасно опытных. ЖЕНЩИНА – это была одна из любимых тем их разговоров. Меня заинтересовал один прием... Внезапная холодность. Мне было 18 лет. Я решил углубить твои чувства...

И вот мы встретились. День серебряный, влажный. Я пытаюсь быть сдержанным:

– Знаешь, я сегодня не могу. Ты извини, у нас сегодня волейбол. Давай встретимся завтра, хорошо? Ты сможешь? Ну все, пока? Ладно? До завтра!

Помню тебя немного растерянной.

И вот – завтра... Ты почти сразу начинаешь говорить – много, сбивчиво. А смысла такой, что нам необходимо расстаться, что... Много, много чего говорила. Дословно помню лишь

одну фразу – «я часто шутила над мальчиками, которым я нравлюсь, иногда просто издевалась над ними... И я боюсь. Боюсь, что мне когда-нибудь отомстят».

Я же ничего не мог понять. Я был совершенно обескуражен. Одно было ясно – мы больше не увидимся. Я еще не понимал, что я люблю тебя...

* * *

Что я тогда чувствовал? Не знаю... Прошло несколько дней, может быть неделя. И вот, кричит кто-то из ребят:

– Славик, Славик! К тебе девушка пришла!

– Где она?

– Во дворе!.. Только что здесь была.

Выскочил за ворота, бегу, окликаю – не она... Знакомое лицо... Это твоя подруга Ирина.

– Ирина?..

– Да. Слава, ты знаешь... Иринка очень переживает, говорит: «Я не то хотела сказать! Я не так хотела сказать!» А я же ее подруга... Она не в курсе, что я сюда, к тебе, пошла. Ты ей не говори! Но как быть я не знаю...

– А давай скажем, что ты случайно меня в городе увидела. И я предложил ей встретиться... послезавтра (а сам хотел прямо сейчас) – ну... в 7 часов.

– Она не любит поздно...

Я обнаглел:

– А я не люблю рано.

Вид у меня был независимый (возможно), но в душе я пел, летал и свистал соловьем... Слава Богу, я не потерял тебя!.. Не потерял...

А любовную тактику старших товарищей с той поры я оставил совершенно. Может быть зря.

Наравне с троллейбусом

... твоя походка позовёт меня, точно музыка...

А. де Сент Экзюпери «Маленький принц».

Послезавтра у нас был день рождения преподавателя живописи, и я рисовал стенгазету-подарок от нас, студентов. Рисовал город и нас всех. Вокруг стояли несколько ребят, и все мы умирали со смеху. Стонали. Газета получалась. Я вдруг спросил у кого-то:

– А сколько времени?

– Без пятнадцати семь.

– Что?! Убегаю! Меня девушка ждет!

Удерживали, возмущались – ты с ума сошёл? Должна быть одна рука! Девушка у него!.. Но я рванул, как северный олень. Выскакиваю на улицу – а мой троллейбус, чуть пригнув большую голову и длинные стальные рога, проходит мимо. За рулём приличная женщина лет сорока. Пробежал пол-остановки наравне с ним и сел в него же на следующей...

– Здравствуйте! – задыхаюсь. – Спасибо за все!

И все-таки опоздал минут на 15... Вот и ты. Прогуливаешься... В песочно-кофейного цвета платье. Попеняла мне чуть-чуть. Я извинялся... Опять это неяркое сияние!.. Аллеи...

А там уже ждут — липы, каштаны, дубы, тополя. Густые, роскошные кроны... Я трогаю их руками... Ты смущаешься, очень мягко отстраняешься — хочешь, чтобы я больше говорил...

День рождения профессора праздновали на том берегу реки допоздна. Художники в те времена иначе не могли. Радостно лечу, как молодой, наивный, позитивно настроенный филин, над сумрачными холмами со стаканом в руке (велели захватить!) навстречу диловатому празднеству. Художники иначе не могли...

А ты пошла к оранжевой настольной лампе и тетрадкам. К печенью и сладкому чаю. Десятиклассница.

Мгновение

Когда я сижу у окна троллейбуса и еду через город, через лето — через время! — я иногда, кажется, вижу тебя. Аллея. Золотоволосая девушка в лёгком платье. Обернулась... Нет, не ты... И всё-таки... Одно мгновение я видел тебя.

Уже взрослые люди

Евгению Винницкому

Как-то вечером мы с одним моим приятелем решили попробовать покурить. Всё-таки взрослые люди. Закурили прямо в комнате, где два наших старших товарища уже спали. Это были спортсмены, они очень недовольно ворочались во сне. Бессильно бормотали. Издавали жалобные звуки. Что-то вроде — «Э-э... Э-э...». Потом один из них вдруг сказал:

— Эй, ребята!.. — и снова уснул.

А двое уже взрослых людей учились пускать дым колечками...

Летали бы семена растений...

— Мать, ну что мы не разберёмся, что ли? Два мужских мозга!

Протоиерей Василий Ермаков

Если бы у меня в своё время был ум, я бы, наверное, мог прийти к твоему отцу поговорить. Рассказать, что я люблю тебя не меньше, чем он. И даже больше. Может, он бы меня и понял. И мы пошли бы на дачу. Взяли бутылку чего-нибудь плодово-ягодного. Стояла бы погода, летали бы семена растений, вётелы бы шевелили своими верхушками, а я бы ему рассказывал про свою любовь... Кто знает, может, я бы ему понравился.

Недавно мы с тобой перебирали малину с дачи, и ты сказала:

— Знаешь, никто из мужчин не стал бы мне помогать перебирать малину. Кроме моего отца.

Никаких проблем!

Ты смотришь на пламя заката,
И глаза твои заблестели...

Ф. Г. Лорка «Стафый ящер»

Вспоминаю то время... Наш преподаватель живописи, профессор, был очень невысокий и очень (очень!) энергичный человек лет семидесяти. Он старался и нас заразить своим

темпераментом, привить нам страсть к пленэру (т. е. к работе на открытом воздухе), к живописи а ля прима (с первого раза, однослойной). Внушал нам идеи о высоком предназначении художника. Мы и сами, конечно, это понимали отчасти, но нельзя всё-таки забывать, что мы были балбесы.

Тёплый, тёмный, томный, романтическо-ароматический вечер... Мы, трое юных студентов, возвращаемся из кинотеатра. Смотрели в таком составе французскую комедию «Никаких проблем». Дурь, конечно! Но смешно. У ворот стоит наш профессор и, похоже, как раз в возвышенном настроении. Он пронизательно смотрит на нас, густые черные брови всклокочены...

— Где были, анархисты? Архаровцы...

— В кино, — стесняемся мы.

На лице профессора нарисовалась мысль — а что же могут смотреть эти обалдуи?.. Он достал из кармана сигарету, чиркнул зажигалкой... Глядит исподлобья сквозь свой запутанный седоватый чуб, улыбается странно.

— И что за фильм?

— «Никаких проблем». Французский.

Новый принципиальный взгляд...

— И ЧТО — НИКАКИХ ПРОБЛЕМ?.. — все помолчали несколько мгновений, потом профессор отвернулся и энергично ушел в темноту.

В советские годы вообще было принято так испытующе мудро глядеть сквозь дым сигареты... Меня это всегда раздражало — что это значит? Что он хочет понять? Я художник — вот и смотри на мои работы. Зачем в душу-то пытаться проникнуть? Какая кому разница — какой я человек?

Очень скоро я понял, что в художнике как раз главное — какой он человек...

Профессор и Федя

...Ван Дейка, этого элегичного меланхолика...

П. П. Гнедич «Всемирная история искусств»

Заразить нас энергией не очень получалось, все оставались самими собой... И даже очень. Вот, был у нас на курсе маленький татарин Федя. Милый, застенчивый. Талантливый. Большого меланхолика я не встречал. Просыпался он часа в четыре пополудни и не спеша шел полдничать в молочное кафе «Чебурашка», где кормили, надо признаться, отвратительно. Так иногда умели кормить в то время.

Однажды Федя приблизился ко мне заговорщически:

— Слушай, тут вчера профессор позвал меня к себе в комнату — показать работы. Ну ты знаешь, как он работает... Спрашивает: «Ну что скажешь?» А что я скажу? Я так прищурился, посмотрел... и рукой показываю: «...Э-э... Вот это место ничего так... неплохо так взято...» — Федя очень сдержанно и долго смеется... — Так, знаешь, показываю ему: «...Вот здесь неплохо так... неплохо...».

Молодой Гёте

Мужчины во фраках
Уходят на север.

Ф. Г. Лорка «Китайская песня в Европе»

Второй преподаватель (по рисунку) был много моложе. Его любили. Высокий, благородный, крупный. Необыкновенно образованный. Молодой Гёте! Или Шелли. Ворот рубашки расстёгнут – под ним характерный для романтиков шейный платок. Жесты широкые – мысли парадоксальные...

На первый взгляд меланхолик, но, заговаривая о высоком, он увлекался более, чем профессор! Трудно представить, но это так. Он странно жестикулировал, похохатывал, резко оглядывался... а на лице в этот момент играла улыбка... Кто-то мог и испугаться.

Вообще же, в обычное время, он говорил почти спокойно, иногда отрывисто посмеиваясь.

– Если на консервной банке написать «Толик»... вот, видишь, я пишу – «То-ли-ю»... надпись будет загибаться, а буквы зрительно уменьшаться... Это и есть перспектива! Ты понимаешь, Толик?

Я хотел познакомить тебя с ним. Чтобы он рассказал тебе обо мне что-нибудь...

Ребята семидесятой широты

Ведь мы ребята, да-да!
Семидесятой широты!..
(песня семидесятых годов)

А где, кстати, проходит эта широта? Возможно, по той самой деревне, где мы как-то вечером устроили пикник и где собрались на танцы. Это было ещё ДО ТЕБЯ. А танцы эти выглядели так – под фонарём, на одном из тусклых холмов танцевали несколько пар, а за ними в полумраке стояла тёмная толпа – вспыхивали огненные сигареты, мотоциклы ворочались и светили фарам...

Я люблю ребят этой широты – простые русские лица, золотые волосы. Когда убегаешь от них, об этом, правда, не думаешь... От первого удара колом по голове я потерял равновесие, но тут же вскочил и понял, что лучше покинуть это народное увеселение. Покинуть целеустремлённо. Никаких жизненных интересов там не было – значит и воевать не за что. Лежала густая, серая роса, а местность была неровная, и я падал через каждые два шага. В это время меня успевали задеть – то ногой, то пряжкой солдатского ремня. Над головой пролетал уже знакомый мне кол. Их было человек восемь.

Когда я забежал в наш сарайчик, то сразу не мог остановиться и какое-то время бегал в темноте по двум моим старшим товарищам и одному ровеснику, объясняя им ситуацию вкратце (они были в спальных мешках). Отовсюду слышались крики. Потом раздался выстрел, и люди снаружи сразу исчезли.словно ветром сдуло. Стрельнул спросонья добрый человек – хозяин сеного сарая дядя Ваня. Всё, хлопцы, танцы закончились! Пора по домам!

Я вышел на двор подышать перед сном, ощущать лицо и голову... Воротник куртки был порезан – пряжкой ремня... Внутри сарая ругались, укладываясь на ночь, неромантичные люди. Это было ещё ДО ТЕБЯ.

Золотая аллея

Любовь моя, цвет зелёный.
Зелёного ветра всплески.

Ф. Г. Лорка «Самнамбулический романс»

Почему-то фотографии не передают твоей красоты. Ты прекрасней любой из них в тысячу раз. И сейчас, через столько лет! Фотографирую тебя на белом мосту, на фоне парка и оврага. Ранняя весна, закат... Мы идём в Золотую Аллею – когда-то любимое наше, заветное место. Два ряда старых лип и чёрные чугунные скамейки...

– Знаешь, когда приезжают гости и я вожу их по городу, всегда показываю им Золотую Аллею. Говорю: «Вот под этой липой меня когда-то, 30 лет назад, целовали. Это была моя первая любовь»... Помнишь эту липу?

Мы проходим аллею и вот – последнее дерево. На выходе. Как раз посередине... Мимо не пройти. Кто его посадил? Для нас специально.

Об одном прощании

... чтобы в глухом поречье
век не искать нам встречи.

Ф. Г. Лорка «Поэма о соли»

Долго я не мог приехать в твой город. ВГИК, пятый курс. Какой-то тёмный смерч закрутил меня по-настоящему – не вырваться, хотя ты и писала, что нам очень нужно поговорить. Всё было как нарочно – и письма твои, где ты назначала встречу, опаздывали. И много, много всего...

Я не смог сообщить о своем приезде заранее. Пришлось идти к тебе домой. В первый раз. Дом двухэтажный, с деревянными лестницами... Краем глаза вижу интерьер, зелёную дорожку на полу и родителей. Смотрю в твоё лицо... и говорю о том, что вот, я приехал, давай встретимся, буду ждать тебя через два часа в Сквере Мира, хорошо? Попрощался и вышел.

Ты пришла. Навсегда запомнил я этот твой белый платочек-паутинку и твоё лицо. Март был снежным... Наш с тобой город – голубым и фиолетовым. Редкие розовые дымки... Но это всё я потом увидел – с какой-то горы, с железнодорожной насыпи, а сейчас... только твоё лицо... Но как же больно мне!..

– Мы подали заявление. Нет, уже ничего поделать нельзя... Я тебе писала – надо поговорить, а теперь уже поздно. Я плачу, не обращай внимания... Вон и мама тоже плачет! Она же всё понимает... Она не могла отпустить меня одну... Прости... Нет, нет, уже поздно! Я же тебе говорю – поздно. Поздно!.. Не надо! Пожалуйста, не надо. Прости...

Возле моего плеча появилась невысокая плотная женщина.

– Ну всё, прощайтесь. Пора.

Я отступаю, глядя на тебя сквозь крупные снежинки:

– Прощай...

Эта книга пропахла твоим табаком...

Разбираем альбомы по живописи. Ты ведь за свою жизнь была почти во всех музеях Европы. В отличие от меня. Вот Брейгель «мужички». Я его когда-то зачем-то тебе подарил.

Видимо, это было тогда у меня самое ценное. Разворачиваем книгу...

– Помнишь, я тебе писала ещё, – она просто пропахла вся табаком! А после уже я услышала песню Долиной. Я её потом часто слушала...

Эта книга пропахла твоим табаком,

И таким о тебе говорит языком...

Не жалей ни о чём, дорогая...

«Деликато»

Но и любовь – мелодия...

А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери».

Слышал я, что итальянские преподаватели бельканто запрещали начинающим ученикам форсировать звук. Сила голоса со временем придет, но если сейчас начать форсировать, то может исчезнуть очень важное – то, что называется – «деликато»!..

Наши этюды и рисунки того времени были трогательны, внимательны, благоговейны... Наш педагог по композиции говорил – не надо думать, что вы только когда-то потом начнёте создавать что-то настоящее. Может так оказаться, что то, что вы делаете сейчас, и будет самое лучшее. Или, во всяком случае, очень-очень ценное... Берегите ваши работы!

Я смотрю сейчас на какой-нибудь простой карандашный рисунок с той первой практики и чувствую его особую тонкость и чистоту. «Деликато»! Он как-то по особенному на меня влияет, он мне даёт очень-очень многое – по сравнению с поздними, более, казалось бы, мастерскими вещами. Как будто я рисовал серебряным карандашом. Какая-то особая мелодия... Как первая любовь.

Прости...

Медлила река, звенел ручей...

Ф. Г. Лорка «Люди шли»

Летают стрекозы, неспешно шевелятся ивы... Ты говоришь, глядя в сторону:

– Когда мама уже умирала, она сказала мне: «Прости, доченька! Может, мы сделали тебя несчастной...»

Я рассматриваю твой затылок, светлые пряди волос, голубые дали... Профиль твой – розово-золотой на вечернем солнце...

– Это она о чём?

– О тебе... О том, что они же вмешались тогда в мою жизнь. А я не могла послушаться.

Женщина из Аргентины

В этом-то и вопрос, – сказал кролик.

А. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»

У меня есть друг, когда я с ним встречаюсь, мне всегда почему-то кажется, что я попал на курорт... В маленький городок, где живут легко и беззаботно. Ходят по бульварам, смотрят на нежные закаты. И все в каких-то тонких шёлковых рубашках... (Мужчины, разумеется).

Этот друг мой не на шутку увлёкся фотографией, но на его художественных (чёрно-белых) снимках я с удивлением увидел... большие мотки ржавой колючей проволоки, фрагменты странных заводских механизмов, разбитые рамы, сапоги, брошенные в грязи и тому подобное...

И вот – выставка. Стильные пожилые дамы. Щебетанье. Фуршет... Я отвлёк автора на минуту и начал было ему говорить – осторожно, разумеется, – о том, что художник создаёт образы, из которых всё-таки мы в итоге и состоим – наш внутренний мир. А вот, например, англичане в эпоху революций состояли из английских сказок и это, как считают, спасло их от всеобщего европейского безумия... Тут к нам присоединился один московский интеллектual – в круглых роговых очках и бороде, усы по-настоящему изящно подкручены. Шевелюра – львиная, с красивой проседью. Понятно было, что он действительно, как говорил один юноша, – «глубоко сидящий».

Поначалу он мягко, но твёрдо возражал, причём как... Я говорю:

– Вот, например, Перов...

Он:

– Василий Григорьевич Перов... Да... Но дело в том, что...

Я волнуясь:

– Или взять Саврасова...

Он:

– Алексей Кондратьевич Саврасов действительно... Но нельзя забывать о том, что...

Такой гнилую конину жрать не будет. Так, кажется, у Бугакова. (Как, кстати, его имя-отчество? Михаил Афанасьевич!) В общем, я почувствовал, что немножечко теряюсь на этой территории и закончил по-другому:

– Мне кажется, что фотография, как и вообще произведение искусства, должна быть такой... Вот, допустим, у вас есть первая любовь. И она живёт теперь, допустим, в Аргентине... Вы присылаете ей фотографию. А она, эта женщина, – одна. Личная жизнь не удалась и так далее...

И вот, ваша фотография должна быть такой, чтобы она просыпалась утром, взгляд её падал на фото, и она сразу понимала, что жизнь – это чудо... Что Господь бесконечно милосерден, и он любит её... Что и сама она удивительная! Каждый глаз её – прекрасная планета... Агато-зелёная... Что в неё до сих пор влюблён один человек. И будет влюблён всегда. И жизнь её совсем не напрасна. Она имеет смысл глубокий! И всё ещё будет очень хорошо. Очень-очень хорошо...

И так должно быть каждый раз, когда она смотрит на вашу фотографию. И утром и на закате и под луной... И когда с кем-то, и когда одна.

Мой собеседник наклонил было свою серьёзную голову, но вдруг улыбнулся:

– А вы знаете, пожалуй, я соглашусь... Пожалуй, я соглашусь...

Дмитрий Кузнецов

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

1.

Ночь за окнами колдует,
Снег кружится на лету,
Вьюга воет, ветер дует
В ледяную темноту.

Полумрак стущает краски,
На огне трещат дрова,
Как у Андерсена в сказке
Накануне Рождества.

Но не сказочник лукавый
Из неведомой страны
Нас обманет пышной славой
Благородной старины.

И не снежная парица
В блеске северного льда
К нам заглянет и умчится
Вновь неведомо куда.

Нет, теперь для нас иное
Открывается во мгле,
Где лохматой пеленою
Кружит вьюга по земле,

А над крышами квартала,
Невесомо и чиста,
С высоты глядит устало
Безымянная звезда.
И не выразить словами,
Чем душа озарена
В эту полночь рядом с вами
У замерзшего окна.

Дмитрий Кузнецов родился в 1967 году, окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1993 г.), работал тележурналистом, пресс-секретарём. Автор стихотворных книг «Русская рулетка», «Белый марш», детской книги «Колобок и два жирафа в Стране пиратов». Лауреат областной премии Союза журналистов им. В. Кирюхина, литературной премии им. М. Цветаевой.

2.

Старая сказка
Не станет иной,
В стуже не плавится золото.
Снежная маска,
Плащ ледяной,
Иглы стальные холода.

Детская шалость,
Мерцанье глаз,
Первой звезды рождение.
Только казалось,
Я вижу Вас, –
Вихрем ушло видение.

Скрылось, исчезло
Вместе со мной,
Вместе с душой застуженной.
Тенью от жезла
Над снежной волной
Стало вдруг жизни кружево.

Будут мне сниться
Века подряд
С холодом угасания
Звёздные блицы,
Недвижный взгляд,
Мраморных губ касание.

3.

Свирепый норд-вест над унылым берегом
Прорежет ночную тишь,
И маленький город засыплет снегом
До шпилей, мансард и крыш.

Там флюгер скрипит, покоряясь выюге,
Там скована льдом вода,
Там девочка Герда грустит о друге,
Потерянном навсегда.

И я бы хотел ей сказать так много
О трудной любви, о нём...
Я знаю, куда поведёт дорога,
Я знаю, что будет днём.

Я тоже порою в мечтах летаю
По странам и городам,
Я странную муку порой читаю
В глазах у серьёзных дам.
Но северный ветер кружится в поле,
Взвивается у крыльца,
И Герда не знает о взрослой боли,
О верности до конца.

Прижалась она у оконной рамы,
Укуталась в мягкий плед,
Не быть ей в личине серьёзной дамы,
Не выйти из детских лет.

Лежит непрочитанной жизни книга,
А в сумерках за стеной
Арктический ветер сонатой Грига
Поёт о любви земной.

4.

О, эта дымка грусти нежной
На тонком девичьем лице
В чертогах Королевы Снежной,
В ледовом сумрачном дворце!
О, этот зов, чудесной силой
Влекущий за ночной звездой
К снегам Финляндии унылой,
К ветрам Лапландии седой!
И эта сказочная верность,
Всё не дающая упасть
В печали тёмную безмерность,
В унынья гибельную пасть...
Когда затеют пляску тролли,
Когда расколется луна,
Когда в сверкающем камзоле
Из мрака выйдет сатана,
Когда Земля перевернётся
В потоке огненной волны, –
Вдруг небывалый Свет прольётся
С необозримой вышины,
И там, где ярость режет бритвой,
Где от безумия темно,
Простою детскою молитвой
Вмиг будет зло сокрушено.

Ю л и я Г о р б а ч е в с к а я

ЧУДО ЗА ЧУДОМ

* * *

Время снова похоже на маму. Устало
Входит в дом, ставит на пол тяжёлые сумки.
Нынче холодно, мокро, урюмо местами,
Остается лишь прятать озябшие руки,
Выносить эту жизнь и разрозненный мусор,
Говорить пустяки в телефонную трубку,
А в кармане опять одиноко и пусто
И холодные пальцы особенно хрупки.
Мне бы домик на дереве, тихий и странный,
Чтоб забраться в него по занозам в ладонях...
Мама снова похожа на время. Листаю
Свой изъеденный молью блокнот телефонный.
Но пока осторожность вчерашнего жеста
Сдержит руку мою от удара наотмашь,
В дом заходят устало хорошие вести,
Заставляя забыть о неласковом прошлом

* * *

А дом сгорел, и больше нет причин
Искать маршрут от двери до калитки,
И призрак молока на грязной плитке
С годами стал почти неразличим.

Ну, где же ты, бесславный Одиссей?
Твои пути отбыты и открыты,
Вросло в причал разбитое корыто,
И ждут в портах, невиданных досель.

Но ты вернуться не сочти за труд,
Пусть даже врос в других шальной душою.
Оставив спать в постели зло большое,
За малым злом я выйду поутру,

Юлия Горбачевская родилась в 1978 году в Белоруссии, в городе Пинске. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Стихи публиковались в калужских изданиях, «Литературной газете», журналах «Студенческий меридиан» и «Тверской бульвар». Автор поэтического сборника «Вне списка кораблей». Более четверти века живёт в Калужской области. Работает библиотекарем.

На свой ответ найду простой вопрос:
Я выжгу все, от крышки и до днища,
Чтоб новый дом на жарком пепелище
К моменту возвращения подрос.

* * *

Мне нравится, когда ты — тишина,
Когда тебя не видно и не слышно,
И бабушка, взгрустнув, сидит под вишней,
Дыханием твоим осенена.
И кошка воровато пробежит,
Касанием твоим взъерошив шёрстку,
Мне нравится, когда с тобою просто,
Когда нам ничего не надлежит.
Когда наш долг отчизне невелик,
И ты — лишь фотография в газете,
И риска нет тебя случайно встретить,
А в люди выходить — я на мели.
Но если вдруг от плотности твоей
Пространство заскрипит, сминая балки,
И дед однажды не придёт с рыбалки,
И для мечты не хватит снов и дней,
И для меня отчетности не счесть,
И для других, и для чужих... И кстати,
В любом разрезе и в любом формате,
Мне нравится, когда ты просто есть.

* * *

На улице столько открытий,
На улице чудо за чудом:
Дождя острозубые нити,
Сердитые серые люди,
Маршрутки с голодною пастью,
Рабочие в праздничных робах,
И серое небо как пластырь —
На раны душевные чтобы.
Приветы от радиостанций,
Бродячие голуби мира,
Милльоны терзаний, фрустраций,
Осенняя вялая лира,
Потертая шляпа из фетра,
Побитая жизнью собака,
И я, унесённая ветром
Подальше от мусорных баков

* * *

Мы мчались вперёд, мы стремились к победе,
Но жизнь рассудила легко и коварно.
Пока я мечтала о белом медведе,
Планета два раза сменила полярность.
Закончились три неплохих сериала,
Четыре знаконца спустились к Аиду,
Чтоб зонтик, забытый в метро Монреаля,
В смоленской деревне случайно увидеть.
Витрины полны производственным браком,
В брак надо вступить – только вот не проспать бы,
И пятая лапа для каждой собаки
Дастся теперь совершенно бесплатно.
Шестой бутерброд получился сверх меры,
Седьмого, восьмого – сплошные напасти,
И девять весёлых парней из Амбера
Опять не смогли поделить своё царство.
И пасынки первопрестольной нирваны
Десятую заповедь вспомнили снова.
У жизни всегда грандиозные планы.
А мне бы медведя. Большого и злого.

М и х а и л Т Ы Р И Н

ОТПУСК ЗА ХРАБРОСТЬ

Федор стоял на крыльце и глядел на изгиб выходящей из-за холмов дороги. Слабый ветерок не спасал от жары, лишь слегка шевелил седые, однако же еще густые и жесткие волосы. Прищуренные глаза внимательно следили из-под ладони за маленькой точкой, бегущей вдали по серой извилистой полоске и оставляющей за собой длинный пыльный хвост.

– Марьяна, ну давай же скорей, едут ведь! – крикнул Федор, не поворачиваясь.

– Да бегу уже! – на крыльце дома, завязывая на ходу платок, появилась Марьяна – немолодая уже, но статная, гибкая и по-своему привлекательная женщина. – Борщ с огня снимала.

– Борщ... – Федор невольным движением оправил пиджак, стряхнул со штанины прибитую ветром соломинку.

Небольшой зеленый автобус с яркой военной эмблемой на боку остановился напротив калитки. С коротким шипением открылась дверь, потом закрылась. И автобус, поднатужившись, тронулся дальше, переваливаясь на неровной колее.

А на дороге остался совсем молодой парнишка в черно-сером солдатском комбинезоне, с небольшим рюкзачком на плече. Был он худой и какой-то блеклый на первый взгляд. Лишь яркой искоркой горела единственная медаль на его груди.

Он медленно, словно опасаясь чего-то, подошел.

– Добрый день... Здесь живут Марьяна Денисовна и... Федор... Федор Иванович?

В руке он мял какую-то бумажку.

Федор чуть улыбнулся.

– Да ладно уж, какие мы тебе Федор-Ивановичи... Вот мамка твоя. А я – батя. Так и называй. Ну проходи, проходи, – Федор распахнул калитку. – Здравствуй, сынок, заждались тебя.

Паренек не двинулся с места. Лишь быстро переводил смущенный взгляд с одного родителя на другого.

– Да что ты застенялся-то! – Федор взял парня за рукав и буквально затащил во двор. Крепко обнял его, затем то же сделала и Марьяна.

– Меня Ахмедом зовут, – спохватился солдат.

– Да уж помним! – коротко рассмеялся Федор. – Давай мне вещи, проходи в дом, обедать будем.

На самом крыльце Ахмед вдруг остановился.

– Пахнет у вас тут как... Травой, речкой...

– Будет тебе и трава, и речка – все будет. Ты проходи, сынок.

Михаил Тырин родился в 1970 году. Окончил филологический факультет Калужского педагогического института имени К.Э. Циолковского (1992). Работал журналистом, несколько лет служил в органах внутренних дел: сотрудник пресс-центра Калужского Управления внутренних дел, сотрудник пресс-центра Федерального командования в Чечне (1995). Дебютировал в 1996 году рассказом «Малые возможности». Автор многих фантастических романов, повестей, рассказов. Лауреат «Роскона», «Серебряная стрела», «Аэлита» и других премий.

* * *

В доме было тихо, лишь какая-то взбесившаяся муха яростно стучалась о стекло. Ахмед скромно и аккуратно ел борщ, стараясь не греметь ложкой. Не столько ел, сколько делал вид, настороженно стреляя взглядом из-под лба. Наконец, оставил тарелку.

– Вкусно очень. Спасибо.

– Эй, сынок, так дело не пойдет, – покачал головой Федор.

Поднялся, достал из буфета бутылку и три небольших рюмочки.

– Вот так... Тебе, я гляжу, терапия нужна. А то совсем как не родной.

– Нет, нам не разрешали! – испугался Ахмед.

– А я – разрешаю! Я – батя твой, понял? И главное меня сейчас никого нет, вот так! Мать давай свои котлеты, или что там у тебя...

Марьяна поспешила к плите.

Федор оказался прав – «терапия» подействовала. У Ахмеда и щеки порозовели, и взгляд стал не такой колюче-испуганный.

Было видно: мало-помалу солдатик осваивается в родительском доме.

– Ну, ты хоть расскажи, сынок, как ты там? Как служишь? Вот, гляжу, и орден у тебя.

– Да какой там орден, медаль просто, – смутился Ахмед.

– Просто или не просто, а медали тоже за так не раздают. Ты расскажи, что прошел. Нам же с мамкой тоже знать надо.

– Да что там... у меня всего один бой и был, – Ахмед простодушно развел руками. – Только успели из самолета выскочить, приказ – на позиции. Три километра бегом в зимних комплектах. Дошли до точки, все мокрые, сопли на лету замерзают. Вдохнуть не успели – тут и накрыло. Три десятка ребят с ледника сразу в море смело. Меня командир – за шкирку в расщелину оттащил, посадил за пулемет, сектор показал. Говорит, стреляй. Я и стрелял. Два часа стрелял, пока панцеры не подошли. Вот и все, вот и весь мой подвиг.

Федор покачал головой, сведя брови. Протяжно вздохнул.

– Это кто ж вас так не пожалел? Небось, с норвежских линкоров прилетело?

– Нет, норвежцы сейчас в Баренцевом море застряли, им не до нас, там индусы их жмут. Говорят, нас сверху ударили, с орбитальной батарен. Украинцы, кажется.

Ахмед помолчал, глядя в пустоту.

– Там вообще сейчас ничего не поймешь. Все перемешалось.

– Ну, мы тут тоже мало чего понимаем, – пожал плечами Федор. – Ты, сынок, за свою землю стоишь – вот это понимай. Остальное – пыль. Все эти японцы, арабы, болгары – они за деньги дерутся. Арктическая нефть, алмазы, золото... А за тобой сейчас твоя земля, твои люди, мы с мамкой твоей. Значит, и правда на твоей стороне.

Он помолчал, покачивая головой.

– Слышь, а белорусы-то как? С нами еще?

– С нами, – кивнул с улыбкой Ахмед. – В наших УБК специальности получают, потом в наших же частях служат. И сражаются хорошо. Отлично даже.

– Да отстань ты от него со своей политикой, а? – всплеснула руками Марьяна.

Скрипнув дверью шкафа, она достала стопку вещей и положила на диван.

– Ты переоденься, сынок, тут все чистое. Небось, устал от казенного белья. А лучше вздремни с дороги, я постелю сейчас.

– Это верно, – Федор хлопнул ладонями по столу. – Отдохни часа три, а я пока удочки налажу, наживку заготовлю. К вечеру на реку пойдем. Ты такой рыбалки нигде не увидишь, хоть всю землю обойдешь.

– Опять он за свое, – покачала головой Марьяна. – Сын на ногах едва стоит, а ему все рыбалка.

– Да я б и тебя взял, чтоб понимала, что к чему. Но ты ж, старая, всю плотву своим ворчаньем распугаешь.

Ахмед взял в руки мягкую домашнюю рубашку, осмотрел, помял пальцами. Незаметно принялся, ловя тонкий аромат мыла.

Вдруг помрачнел.

– Вы меня простите, – сказал он. – Я вам подарков никаких купить не успел. С аэродрома – сразу сюда...

– Да какие подарки! Ты – самый главный для нас подарок. Да, мать?

* * *

Рыбалка и в самом деле была волшебная. Вода стояла тихая, сонная, будто ее утигоном прогладили. Лишь у берегов иногда раздавался мягкий плеск. Сквозь кроны деревьев сыпало сотнями лучиков уходящее солнце.

Ахмед сидел, неловко держа удочку и улыбаясь. Даже во сне он не ощущал такого ласкового и чарующего покоя. словно сама жизнь из тайных запасов вручила ему самый сладкий и волнующий свой кусок, непознанный и неисчерпаемый.

– Бать, а вы не сердились с мамой, что я раньше не приезжал?

– Ну, что ты...

– Да нет, понимаю же, надо было отпрашиваться, отпуск заслуживать. Если б я только знал...

– Ты эти мысли брось, – строго сказал Федор. – Какие тебе еще поездки? У тебя учеба, служба. Мы все понимаем. Жизнь сейчас такая, куда от нее денешься? Мы бы к тебе приехали, но сам порядки знаешь...

– Вас бы не пустили, там запрещено, – вздохнул Ахмед. – Знаешь, батя, мне через полгода можно рапорт насчет аттестации на командира роты подавать. Офицерам же можно до трех раз в год отпуск брать. Я тогда сразу к вам, да?

– Конечно! И подавай свой рапорт. Будешь командиром – нам с матерью больше гордости за тебя.

– Я и так уже командир, взводный. Но я пока сержант, так что приезжать часто не могу.

– Кстати, тебе сколько лет-то, командир? Шестнадцать есть уже?

– Через месяц пятнадцать будет... – почему-то смутился Ахмед. И вдруг встрепенулся: – Ой, что это?! Батя, что это такое?

– Так клюет же у тебя, чудак! Тащи давай! Дергай, говорю!

Ахмед изо всех сил рванул удочку – и воздух взметнулась леска с пустым крючком.

– Эх... – с досадой крикнул Федор. – Перетянул. Хорошая, видать, рыбешка была, да сорвалась. Легче надо. Репнительно, но плавно. А ну, посиди тихо, погляди, как я...

Сидеть пришлось недолго. Поплавки у Федора вдруг задрожали, закрутились и упруго ушли в чистую воду, оставив мелкие круги.

– Есть! – торжествующе объявил Федор, когда резвая золотистая рыбка забилась на прибрежной траве.

Ахмед взял ее в руки, рассмотрел со всех сторон.

– Карась, – пояснил отец. – Мелкий, для еды мало пригодный, но кошке сгодится.

– Так вы их едите?

– А что ж с ними делать? – Федор рассмеялся. – Из хорошего карпа или судака – знаешь, какую жарянку можно забапать? А вот окуней не люблю, костлявые они.

– Сохранить бы ее, на память, – Ахмед продолжал разглядывать карасика. – Да только как?

– На память, говоришь... Будет тебе память, – Федор порылся в сумке и отыскал небольшую золотистую блесну. Отделал острый тройной крючок, а блестящую металлическую рыбку протянул Ахмеду. – Вот тебе целый памятник!

– Годится! – образовался тот.

– Ну, давай, теперь сам. Садись вот, наживай, закидывай. Рыбалка – дело тонкое, это тебе не из пулемета стрелять. Батька научит, ты, главное, не тушуйся.

* * *

Утром Ахмед стоял перед зеркалом и угрюмо себя рассматривал то слева, то справа.

– Пац, мам, а обязательно нам на эту ярмарку ехать?

Федор с Марьяной переглянулись, незаметно улыбнувшись.

– Ну, что ты как деревянный, а? – Марьяна укоризненно покачала головой. – Неудобно тебе, что ли?

Ахмед провел руками по нарядному пиджаку из силикатной шерсти, подергал брюки, поправил кепку.

– Удобно, мам... Только... не знаю, как сказать. Я будто артист какой-то или доктор. Мне неловко. Я не привык.

– А ты привыкай! Да ты сегодня там самый главный красавчик будешь! Все так одеваются, только не у всех такие сыновья-герои!

– Не знаю...

– Я знаю, – веско ответил Федор. – Хватит уже о казарме вспоминать. Приехал к людям – так будь, как люди. Ну, не в гимнастерке же своей пойдешь? Чай тут не война.

Ахмед помолчал, хмуро разглядывая себя исподлобья.

– А зачем нам вообще на эту ярмарку ехать? Я б лучше с вами посидел.

– Ну, конечно! – всплеснул руками Федор. – Ну, посиди. Весь свой отпуск просидишь. Ты хоть за двор выйди, жизнь-то посмотри! Что вспоминать будешь – как в избе сидел?

– Сынок, там весело будет, – присоединилась Марьяна. – Ты даже уезжать не захочешь, вот вспомнишь ты мои слова.

– Ну, хватит слов, – Федор решительно поднялся. – Я пойду, машину подгоню. Через пять минут жду обоих.

На пороге он остановился.

– Сын, ты орден-то приколи!

– У меня медаль.

– Вот медаль и приколи.

* * *

А на ярмарке и вправду было весело.

Толпы разношерстного люда ходили вдоль рядов под цветными гирляндами; везде были музыканты, клоуны; на каждом шагу продавалось что-то вкусное и необычное; то и дело взгляд натывался на фокусника или уличного гимнаста – глаза разбегались от желания увидеть все.

– Сынок, улыбайся! – Марьяна сжала ладонь Ахмеда. – Тебе улыбаются – и ты улыбайся. Здесь все тебе рады.

– Да, мам...

– Хочешь еще пастилы или мороженого?

– Давай. А можно вон то, желтое? Что это?

– Взбитый крем из кукурузы, вкусный. Сейчас возьмем на всех, да?

Над площадью вдруг взорвался пенный фейерверк. Пухлые цветные облака заполнили небо, а потом начали оседать, разваливаясь на кусочки. И люди ловили их, смеялись, кидались друг в друга...

– Как хорошо у вас... – вырвалось у Ахмеда.

– Ну, хорошо или не хорошо... – Федор вдруг убрал с лица улыбку. – Бывает и хорошо – стараются же люди, чтобы как-то жить. Но ты должен знать, сынок. Это лишь потому, что ты и твои друзья – там, на посту. Вы – на страже. Поэтому еще как-то живем, развлекаемся даже. Вот будет победа, тогда всем будет так. Только вы не подведите, сыночки наши. Приезжайте с победой, а уж мы вас так встретим...

Он вдруг приостановился, заметив что-то сбоку.

– О! – Федор потер ладоши. – А вот это – по-нашему!

В конце ряда стоял лазерный тир. На большом экране проектор рисовал лес, где из-за деревьев каждую секунду выскакивали с визгом какие-то гадкие звери, похожие на лохматых, пиннастых лягушек.

Толстые неуклюжие фермеры пытались попасть в них из световых винтовок, громко хохоча, если удавалось сразить цель. Но им было трудно – «лягушки» скакали резво, а неприличные к оружию руки шевелились куда медленнее.

– А ну, давай-ка, сынок... – Федор хитро подмигнул. – Покажи этим пельменям, как стрелять надо. Ты же умеешь?

– Умею. А зачем?

– Да просто так. Пусть поучатся, глядя на тебя. Меньше спеси будет.

Ахмед неуверенно подошел к барьеру, искоса поглядывая на других стрелков. С некоторым недоумением покрутил в руках легонькую пластиковую «винтовку». Встал, расставив ноги и даже не опираясь локтями на стол.

– Стреляй! – Федор возбужденно ударил кулаком о ладонь.

Щелк-щелк-щелк...

Через несколько секунд на экране не было ни одной живой «лягушки».

– О-о, ну, это талант... – развел руками щекастый начальник тира.

– Что «талант», дядь, – с досадой проговорил Ахмед. – Ты сделай побыстрее свое кино, а? Ну, это ж детский сад у тебя.

– Ну... хочешь – сделаю, как скажешь, – начальник тира насмешливо прищурился. –

Пятьдесят попаданий за три минуты – получишь приз.

Картинка на экране закрутилась по-новому. Теперь «лягушки» выскакивали резко, словно пузырьки в газировке, и тут же прятались.

Ахмед не спешил и не нервничал.

Щелк-щелк-щелк... Винтовка работала, словно часы-ходики – размеренно и спокойно. «Лягушки» так же размеренно превращались в черную пыль.

– Ну... – начальник тира был полностью обескуражен. – Ну, это... не знаю...

Ахмед вдруг отвел глаза от прицела, заметив краем глаза какое-то тревожное движение рядом с собой.

– Ну, что ты, красавица... да не вырывайся, я ж ласковый...

Какой-то жирный лохматый фермер хватал его мать и пытался прижать к себе.

– Отстань, дурак! – педила сквозь зубы Марьяна, тщетно пытаясь разжать пальцы нагло-го борова. – Уйди, не время сейчас! Я не одна!

– Ну, сегодня не одна – завтра одна. Тоже мне проблема, – жирный фермер хихикал, обнажая свои неровные желтые зубы.

Ни секунды не раздумывая, Ахмед с размаху обрушил приклад лазерного ружья в лицо мерзавца.

Пластиковая игрушка рассыпалась, не причинив фермеру никакого вреда, кроме испуга.

– Ах ты щенок! – фермер сжал кулаки.

Ахмед быстро, как учили, встал в подпружиненную стойку, поставил руки в защиту – а затем бросился вперед.

Фермер закрылся было своими пухлыми ладошками, но против быстрого тренированного солдата он был ничто. И поэтому через секунду он уже лежал на мостовой, скорчившись и поджав ноги.

– Марьяна, уводи его! – закричал Федор.

– Мам, он тебя трогал! – пытался объяснить Ахмед, пока Марьяна тащила его от тира – туда, где толпа разделяла разгоряченного бойца от уже поверженного мерзавца. – Он тебе больно делал!

Федор подал руку побитому фермеру.

– Вставай, браток... давай-давай, не кочевряжься.

– Что это за гаденыш был?!

– Ты давай потише, ладно. Ну, прости. Это сынок наш. Не бесись...

– Какой, к чертям, сынок? Ты пьяный, что ли?

– Говорю же тебе! Мы с военной базы, с реабилитации. Сынок наш.

– Сынок... Я вот сейчас полицию позову.

– Да ни к чему это, браток. Полиция ничего не скажет. Ты не злись. Говорю же – сынок. С военной базы. Ну?

– Что «ну»?

– Ну, с реабилитации мы. Он же солдатик, с войны только что. В боях был. Вон, орден у него, видал?

– Солдат?

Толстый фермер тут же успокоился.

– Ну, ясно теперь. Ну, раз такое дело... – он поднял глаза на Федора и погрозил пальцем. – Но кружку пива за отбитый нос ты мне должен!

– Да хоть три, родной! Только не шуми, ладно?

...Марьяна крепко держала Ахмеда за руку. Он уже никуда не рвался, но чувствовалось, как напряжено и беспокойно все его тело.

– Сынок, ты не волнуйся. Ну, бывают люди – дурные, пьяные...

– Гад он! Гад!

Появился Федор.

– И что, готовы дальше? – воскликнул он с нарочитой бодростью. – Пошли на карусели. Летающие лодки на магнитной подушке видели?

– Подождите! – донеслось откуда-то из толпы.

Прибежал тот самый щекастый начальник тира. Руки его держали огромного плюшевого кота.

– Конечно, норматив не совсем выполнен... – проговорил он, задышавшись. – Не до конца. Но такому стрелку мне приза не жаль! Держи, парень!

Ахмед взял кота, растерянно посмотрев на отца. Федор кивнул ему и усмехнулся. Ахмед замер на секунду.

– Мам... пусть это будет мой подарок, – он протянул кота Марьяне. – Не купил, так хоть заработал. Ладно?

– Ты еще спрашиваешь? – улыбнулась в ответ Марьяна. – Да это самый лучший на свете подарок!

* * *

С самого начала, с той первой минуты, когда зеленый автобус остановился у дороги – шесть дней отпуска казались целой жизнью. Но они вдруг закончились – коварно и внезапно, как тропинка перед пропастью.

Ахмед молча переодевался из домашнего в свой черно-серый солдатский комбинезон. Он и сам был весь серый. Укладывал рюкзак, затягивал ремни на ботинках.

– Сынок, ты, главное, помни – мы о тебе думаем, – произнес Федор. – Мы за тебя молимся.

– Да, пап...

– Не лезь сам никуда, – заговорила Марьяна. – Убьют тебя – никому никакого прока. Не надо геройства. Жив будь. Для нас живи, ладно?

– Ладно, мам...

Федор и Марьяна растерянно переглянулись.

– Ну, что сказать... – Федор одернул рубашку. – Будь молодцом. О нас вспоминай. Главное – вернись. Главное, живым вернись...

– Да, пап...

Все было натужно и неловко. Правильных слов для этого дня, видимо, не придумали.

– Ты, сынок, только друзьям про нас поменьше говори. Ну мало ли... у тебя папка с мамкой есть, а у другого, может, и нету... Зачем эти кружева разводить?

– Да знаю я. Подписку же давал.

– Сынок, слышишь? – Марьяна подошла к Ахмеду, глядя ему в глаза.

– Что, мам?

– Ты же опять на север? Вот возьми... Носки тебе связала. Пригодятся.

Ахмед взял носки и вдруг рассмеялся.

– Что? – заволновалась Марьяна. – Не понравились?

– Да нет... Вот эта зеленая каемочка... Нам перед базировкой на складе джемперы выдавали. Точно такая же каемочка – зеленая, с квадратиками.

– Ну, каемочки всякие бывают, – поспешно вмешался Федор. – А тут тебе не склад, это мать тебе сделала – с заботой. Так что, вот...

– Да я знаю, пап...

За калиткой просигналил зеленый автобус с военной эмблемой.

– Ну... Давайте-ка обнимемся и посидим на дорожку.

* * *

– Федь, а когда следующий заезд будет? – крикнула из спальни Марьяна, расчесывая свои красивые длинные волосы.

– По плану будет, первого числа, а что? – удивленно отозвался Федор, оторвавшись от бритья.

– Хочу в Будапешт на карнавал поглядеть, пока аэропорты открыты.

– Карнавал... Не о том думаешь! Лучше бы списки посмотрела. Сейчас, между прочим, второгодки поедут. Вот привезут тебе «сыночка», который тебя помнит – а ты и ляпнешь что-нибудь. Или имя перепутаешь или про невесту спросишь.

– Вот ты начальник, ты и проверяй, – Марьяна брызнула из флакона на ватный тампон и в очередной раз протерла лицо. Сейчас – в другой одежде и без специального макияжа – она вовсе не казалась немолодой. Совсем даже наоборот.

– Федь, а там мой триммер не валяется?

– Сама ищи, надоела... – Федор потрогал волосы. Смытую седину ему было немного жаль, она придавала его облику дополнительную серьезность.

Марьяна зашуршала пакетами и коробками. Потом отчетливо донеслось: «О, господи, ну опять...»

– Ну, что там у тебя?

– А ты сам посмотри!

Федор зашел в спальню и взял из рук Марьяны свернутую пополам бумагу. Развернул.

«Папа и мама, я вас очень люблю!», – было написано неровным, почти детским почерком.

Ниже был пририсован десантный пистолетной карабин, переименованный с розой.

Федор фыркнул, свернул бумагу вдвое, потом вчетверо.

– И что?

– Да ничего! – всплеснула руками Марьяна. – Не понимаю я этого. До сих пор не понимаю. Да, конечно, солдату нужно отдохнуть, мягко поспать, вкусно поесть. Поговорить задушевно с простыми людьми – тоже хорошо. Ну, пусть даже на рыбалку сходить. Это понятно. Но зачем все эти «мама», «папа»? Что это за театр, для чего эти нафталиновые нежности. Вот скажи, зачем?

– Слушай, это не твоего ума дело. Это без тебя умные люди посчитали и решили. Так лучше. А ты работай. А не нравится – не работай. Вот и весь вопрос.

– Нет, мне бы все нравилось... Но так нельзя! Какая я ему, к чертям, «мама»? Зачем это? Что вот он сейчас думает – что я жду его? Что люблю? Да ему жить осталось от силы пара месяцев!

– Ты рот закрой, «любимая супруга», ладно? В кадровом управлении таких речистых не очень жалуют. Вали на свой карнавал.

Федор резким движением смял бумажку и бросил на пол.

– Кстати, поедешь получать разрешение на вылет, зайди в ОМТО. Скажи, что доиграются они с этими «мамиными носочками» с резервных складов. Совсем ополоумели, спиванное военное тряпье предлагают за мамино рукоделье выдавать. Скажешь им, мы в этот раз еле выкрутились.

* * *

Четырехвинтовой десятитонный коптер, огибая сопки, шел на предельно малой высоте. Столь малой, что взбитые воздушным потоком льдинки стучали ему в брюхо.

Все сорок бойцов, сидящих в десантном отсеке, молчали. Не было ни шуточек, ни дежурных фраз, ни даже вздохов.

Молчал и Ахмед. Пальцы выстукивали дробь на бронестекле тактического шлема, лежащего до поры на коленях. Другая рука грела штурмовой карабин.

Уже чувствовалась сквозь обшивку дрожь от разрывов тропосферных бомб, и было слышно, несмотря на шум винтов, как впереди визжат реактивные снаряды.

Но Ахмед думал не о том, что впереди. Он вспоминал мамку с папкой, а еще запах травы и речки, и вкус домашнего борща...

И было почему-то совсем не страшно.

– Готовность номер три, заходим на посадку, – прохрипел бортовой динамик.

– Взвод, готовься! – тут же, почти на автомате, прокричал Ахмед в унисон с другими сержантами. – Проверить боезапас, оружие, медпакеты!

– Готовность номер два, садимся!

– Взвод, отстегнуть ремни!

Ахмед вытянул из-под бронекостюма маленькую золотистую рыбку на цепочке. Коснулся ее губами и спрятал обратно.

– Полная готовность, люки открыты!

– Взвод, за мной по одному!..

«Мама, папа, мне теперь ничего не страшно. Я за вас в любой ад пойду. Вы только меня ждите и любите».

В неровном свете химснарядов бойцы выкатывались из пузатого брюха коптера и тонули в злой метели, стремясь тут же найти камень, щель или хоть малую ямку, чтоб закрепить себя и спрятаться от рассекающих тьму следов трассирующих пуль.

– Не застывать! Вперед, вперед... За свою землю! За отцов с матерями! Вперед...

КЛИЕНТ СОЗРЕЛ

Полина вошла в прозрачную кабину лифта, взволнованно дыша, пряча торжествующую улыбку и не глядя по сторонам. От волнения она даже толком не успела понять, когда в закрывающиеся двери успела проскочить еще одна женщина – немолодая, но ухоженная,

с хорошей стрижкой. Сработал мелодичный сигнал, лифт, плавно ускоряясь, пошел вниз.

– Вижу, у вас сегодня хороший день, – сказала вдруг незнакомка.

– Что? – Полина удивленно подняла глаза.

Женщина улыбнулась и взглядом указала на полупрозрачную папку с трудовым контрактом, которую Полина все еще прижимала к груди.

– Я тут больше десяти лет отработала в кадровой службе, – дружелюбно пояснила женщина. – Новичков сразу вижу. Тем более, у вас «пакет рекрута» в руках. Все понятно. Мои поздравления!

– Да, – немного смутилась Полина. И поспешно убрала папку в сумку. – Спасибо.

– Могу даже сказать, что у вас должность не ниже пятой категории. Заметила по маркировке. Угадала?

Вопросы от незнакомого человека казались неожиданными, но спутница выглядела столь дружелюбной, обаятельной, что Полина была даже рада этому разговору. Ей и самой хотелось сейчас поделиться с кем-то радостью.

– Так и есть, – улыбнулась она. – Старший специалист по сопровождению интернациональных контрактов.

– О, это точно удача! Требования, рекомендации... Не меньше двадцати претендентов на место? Такой должностью нужно дорожить.

– Это уж точно, – вздохнула Полина. – В мои тридцать пять лет не так просто попасть на такую работу. И двое детей... А претендентов было даже побольше, если честно.

Лифт остановился.

– Позвольте дать совет, – проговорила незнакомка. – Здесь довольно свободное отношение к дресс-коду, но определенный стиль все же приветствуется...

– Да, я заметила, – кивнула Полина. – Уже думаю обновить содержимое шкафов.

– Видимо, вам уже выплатили аванс, так что загляните в «Вайлери Стайл», тут неподалеку. Они подберут то, что надо. И еще – держите это, – женщина вытащила из сумочки пластиковую карточку. – Дисконтная карта. Я пользовалась ей лет пять, вы получите хорошую скидку.

– Но...

– Не волнуйтесь и не стесняйтесь! Мне уже без нужды, я зашла просто пенсионный сертификат продлить. А вам еще пригодится, – она вдруг закапляла, прижала платок к лицу. – Извините. Только покажите приват-код, я переведу карту на ваше имя... Всего доброго вам.

* * *

– Диспетчер? Ну, в целом, все подтвердилось. Она подписала долгосрочный контракт. Пятая категория или больше. Без испытательного срока. Можем смело выводить ее на премиум-класс. Я направила ее по маршруту, встречайте.

– Спасибо, принято.

– Она в хорошем подогретом состоянии, не теряйте времени.

– Работаем.

* * *

Двери торгового центра были словно воротами в иной мир. Здесь были другие звуки, другие запахи и воздух, другое настроение. И даже казалось, что это место населяют особые су-

щества, а не просто люди. В последние месяцы Полина редко бывала в таких местах. Но сейчас она чувствовала себя равной среди равных здесь. И ей это очень нравилось.

Нашла нужный отдел. Испытала приступ неловкости, показывая чужую карточку. Но девушка-продавец по имени Элла вдруг словно расцвела.

– К нам часто заходят из вашей компании. Я примерно знаю, что вам нужно. Сейчас кое-что покажу...

И действительно, продавщица знала, что нужно. Не прошло и получаса, как Полина уверенно выбрала два элегантных деловых костюма, шесть потрясающих блузок, а еще – новые туфли. И все очень недорого – дисконтная карта творила чудеса.

– Возьмете с собой или оформить доставку? – спросила Элла. – Курьер или почтовый дрон? Вам еще полагается бесплатный сертификат на такси.

– Пожалуй, доставка, – решила Полина. – Я еще собиралась в салон на стрижку...

Сзади вдруг послышался какой-то шум, встревоженные возгласы. Элла с испуганными глазами, прижала ладони к лицу, глядя за спину Полины.

Полина обернулась. В проходе между витринами лежал человек. Немолодой, хорошо одетый. Его ноги дергались. Рядом валялся раскрывшийся кейс и бумаги. Вокруг суетились посетители, некоторые вытаскивали телефоны, но никто толком не знал, что делать.

– Господи... – обронила Элла.

– Что происходит? – испугалась Полина. – Ему плохо? Нужно вызвать врачей...

Она не успела договорить, как откуда-то взялись двое парамедиков в светло-сиреневых костюмах. Разложили свои чемоданчики, склонились над больным...

– Эти новые болезни... – проговорила Элла. – Они так часто появляются, что не успеваешь прививаться. Иногда просто страшно становится. За себя, за детей...

Человек пошевелился, сел. Затем парамедики помогли ему встать, придерживая за руки. Кто-то собрал разбросанные бумаги в кейс. Через минуту человек уже стоял сам.

– Ну, слава богу, – вздохнула Элла. – Возьмите сертификат на такси. А покупки мы сегодня вам доставим.

– Спасибо!

– Не благодарите. Кстати, хоть и не положено, вот вам еще от меня... Вы собирались к мастеру, так что примите скидочный талон в салон красоты. И приходите к нам еще!

– Кросс-маркетинг? – привычно усмехнулась Полина.

– Сразу видно хорошего специалиста, – кивнула Элла.

* * *

– Диспетчер! Комбинация прошла идеально. Клиент созревает.

– Отлично, принято.

– Ведите дальше. Я дала ей точку нашего маршрута, и она села в нашу машину. Но мне показалось, она поедет в другое место. У нее свой парикмахер. Свяжитесь с логистикой. Главное, не потеряйте.

– Спасибо, действуем.

* * *

Водитель – седой армянин с удивительно добрыми глазами – мельком взглянул на сертификат и улынулся.

– Добро пожаловать. И пристегнитесь, ехать будем быстро, хоть и бесплатно.

– Только осторожно, – попросила Полина.

– Не волнуйтесь. Я двадцать пять лет за рулем.

Действительно, машина шла в потоке быстро. Порой даже опасно, как казалось взволнованной Полине.

– Что с вами? – спросил вдруг таксист. – На вас лица нет. Надеюсь, ничего не случилось?

– Нет-нет, у меня все хорошо... – вздохнула Полина.

– Но?... Я же вижу.

– Понимаете... только что на моих глазах упал человек. Еще не старый, здоровый и... такой солидный. Ему просто стало плохо.

– И что же с ним случилось? – помрачнел таксист. – Он жив? Его увезли?

– Знаете, нет, не увезли. Парамедики успели вовремя. Он даже сам встал на ноги. Но мне стало не по себе...

– Если быстро встал – значит, страховка хорошая. Значит, серьезный человек. Сумел позаботиться. У вас-то есть страховка?

– Да, есть. По трудовому контракту, как у всех.

– Ха-ха! По трудовой страховке вам только бесплатный градусник дадут, вы уж простите, девушка. И упекут в госпиталь на пару недель – бока отлеживать.

– Что вы имеете в виду?

Таксист усмехнулся.

– Сейчас такое время, что нельзя болеть. Ни дня нельзя. Чуть заболел на три дня – а на твоём месте уже другой. Желающих-то много.

– А что я ещё могу? – развела руками Полина.

– Есть же экспресс-страховки. Вас быстро ставят на ноги, а потом тихонько долечивают. Зато вы остаетесь в рабочем состоянии. Начальство довольно. У меня такая. Хоть и недешево, зато без работы не останусь.

– Да, я знаю... – нахмурилась Полина. – Дорого, но... Сейчас столько новых болячек, что только расслабься – и...

– Верно, верно... а у меня ещё детишек трое на пее. Вылечу из графика – кто их будет кормить? Кто школу оплачивать?

Полине вдруг стало страшно. Вспомнила Варьку и Сашу. За последний год пришлось влезть в образовательный кредит, чтобы они могли ходить в нормальную школу.

– Вот и приехали! – весело сказал таксист. – Всего вам хорошего. И берегите себя!

* * *

– Диспетчер, у меня все прошло по сценарию. Но она сошла с нашего маршрута. Высадил возле салона «Локон Афродиты».

– У нас там никого нет. Время идет. Что делаем? Аналитическая группа, слушаем вас.

– А тут и слушать нечего. Заключаем краткосрочный договор на трансляцию через их видео-панели. На два-три часа.

– Что показываем? Как обычно, «Молчание обреченных»?

– Нет, не стоит перекармливать ее этой больничной кашей. Давим на детей. У нас еще действует лицензия на «Макс и Майя» – это и запустим.

– Спасибо, работаем.

* * *

Все было как-то не так. Струйки теплой воды, ловкие и мягкие руки мастера, удобное кресло – все это уже не вызывало такого приятного расслабления, как раньше. Полина чувствовала странную дрожь в груди.

Работал телевизор, там показывали старый фильм «Макс и Майя». Полина слушала и вспоминала любимую с детства историю про мальчика, который продавал свои игрушки, чтобы помочь больной сестре. Она помнила и финальную сцену, где он раскладывает маленьких плюшевых медвежат, котят и щенков на ее могиле. Сколько раз пришлось плакать на этом месте.

Все было не так.

Наконец, мастер отложил инструменты, снял с нее накидку, поднес к затылку зеркало.

– Идеально. Настоящая бизнес-леди.

– Спасибо, – Полина достала смартфон. – Сколько с меня?

* * *

– Диспетчер, я ее веду из салона. Она точно созревает. Предлагаю радикально надавить. Выпускайте бабку.

– Запрещенный прием?

– Хе-хе... Зато эффективный.

– Ну, хорошо, действуем.

* * *

Полина медленно шла по пешеходному переулку, тайком смотрела на парочки, устроившиеся на скамейках, любовалась аккуратно подстриженными деревьями, улыбалась уличным аниматорам. Даже положила пару монет в шляпу гитариста.

– Постой!

Перед ней была женщина в цветастой цыганской юбке. Глаза белые, слепые. На груди – бейджик с муниципальным разрешением на коммерческие уличные акции.

– Извините, мне ничего не нужно, – нахмурилась Полина.

– Мне тоже ничего не нужно, – ответила гадалка. – Денег с тебя не возьму. Чую, что ты мать. Что любишь своих детей.

– Люблю, и что?

– Ничего. Прими от меня зарок добра и любви. Не оставляй их ни на секунду. Не думай ни о чем, кроме них. Все воздается, если не терять главное. Прости, что обратилась. Иди своим путем.

– Вам-то какое дело? – Полина отвернулась и ускорила шаг.

* * *

– Диспетчер, она созрела. Я сделал снимок на тепловизор, пусть спецы в лаборатории проверят по-быстрому. Но, по-моему, самое время. Теплокарта с пятнами на лице идеальная. Ей сейчас можно даже слона продать.

– Принято. Мобильный офис уже в пути.

– И запустите толкового промоутера. Не агрессивного. Она любит добрых и душевных. Не перестарайтесь...

* * *

– Здравствуйте! – человек старомодном белом халате был немолод. Вокруг глаз расходились морщинки-лучики. Один из тех редких людей, кто всю жизнь улыбался другим.

– Здравствуйте, – осторожно ответила Полина.

– Зайдите к нам, – человек указал на фургон с малиновым крестом на борту. – Мы ничего не просим, ничего не хотим. Но, возможно, что-то посоветуем.

– А я зайду!

Внутри оказался столик, компьютер, небольшое, но удобное кресло для посетителя.

– Я хотела бы купить медицинскую страховку, – сказала Полина.

– Прекрасно, – ответил менеджер. – Обычную рабочую, премиум, люкс?

– Рабочая у меня есть. Премиум.

– На себя или на родственника?

– На себя. И на детей. Шесть и восемь лет. Это возможно?

– Конечно. На детей льготная страховка с большой скидкой. Одну минуту...

Из принтера вылетел листок с договором. Полина увидела сумму и побледнела.

– Да, это недешево, – вздохнул менеджер. – Но это – премиум. Сами понимаете... И, конечно, при наличии трудового контракта мы можем все оформить в кредит. Условия я вам покажу.

– Не нужно. Я согласна.

* * *

– Диспетчер! Открываем шампанское. Мы ее сделали!

– Подробности?

– Она не только купила страховку, но и влезла в кредит. Мы в шоколаде!

– Йоу! За один день управились. Всем участникам – премиальные сверх комиссионных. Но не расслабляйтесь. У нас еще дел выше крыши!

– Малость расслабимся – и снова работаем.

* * *

– Спокойной ночи, мои хорошие!

Полина закрыла дверь детской, прошла на кухню. Налила чаю, открыла банковский терминал. Взяла бумагу, карандаш. Начала считать.

«Поездки на море теперь придется отложить. И новый аэро-байк для Саши не в этом году... Продукты придется заказывать не в «Лаунч-маркете», а в дурацком «Крисби». Ну, ничего... Ничего! Главное, у нас все будет хорошо...»

Игорь Красовский

МИНУС НА МИНУС

* * *

Случилось, минус на минус дал плюс.
Сместились стрелки на главных часах.
Мне улыбнулся Советский Союз.
Июнь. Наши дни. Средняя полоса.
Ребенок в общественном транспорте. Пусть
Будет девочка с бантом большим-большим.
Ей не сидится на месте. Смеюсь,
Над тем, как она дедушку тормозит
Утомлённого дачей, а дед – еврей...
Нет, молдаванин... Татарин? Нет.
Похоже на то, что в нём разных кровей
Намешпано столько за семьдесят лет...
Он скоро умрёт, но не в этот день,
Рядом внука крутится – не при ней,
Слишком спокойно, светло и лень,
И найдётся еще подходящих дней,
И кондуктор сегодня расслаблен, рад,
Как на солнце мороженое поплыл.
Стараюсь запомнить кондуктора,
Ставлю крестик, завязываю узлы.
В этом мареве зыбком недОбытия.
Мелькают, теряются позади
Остановки, одна из них даже моя.
Или нет? Я не стал выходить.

Пейзажная

На встрече с подростками в лагере,
В центре лесного массива,
Озадачила девочка в розовом –
Пишу ли я о природе?

Игорь Красовский – поэт, член Союза российских писателей, выпускник Московского литературного института им. А. М. Горького, актёр-кукловод, организатор музыкально-поэтического марафона !ПОСЛУШАЙТЕ!, лауреат калужской областной премии им. М. Цветаевой, участник 8 и 10 Форумов молодых писателей в Липках, автор книг «Пьесы», «Условно», «КаШа», «Вопрос времени». Публиковался в сборниках и альманахах: «Изыскная словесность» (СПб), «Зерно», «Синие мосты», «Сорок сороков» (Калуга), «Траектория Творчества» (Таруса), «Истоки» (Москва).

Растерялся,
Ушел от ответа,
Попятился некрасиво,
Про себя вспоминая: «Писал или нет?
Писал или нет?
Да, вроде...»
Перебираю, о чем творил по ночам,
Что часто являл на свет:
Любовная,
Философская – через силу, но еженедельно,
А пейзажной
(природы, как бы, кущ её, чащ, рощ)
Нет.
Из корпуса выбежал в сосны.
Сосны почти корабельные
Шатают густыми кронами.
Голова закружилась.
Вдох.
Ровно дышать пытаюсь.
И с выдохом, скверным крайне,
Замечаю.
Что бы вы думали?
Мох! На пенёке мох!
Как в учебнике по биологии, в параграфе «Мхи и лишайники».
Дальше листать готовлюсь,
Замер весь от-и-до.
Вижу и слышу явно, как, листвою прошлогодней шурша,
Вереницей стройной,
Цепочкой,
Непоседливой чередой
Муравьи красно-бурого цвета по важным делам спешат.
Казалось бы, что мне за дело
До их муравьиных дел,
Их муравьиных судеб и их муравьиных правд?
Долго об этом думал,
Обветривался, твердел,
Малоприметной выпуклостью вписываясь в ландшафт.

Знакомство в VK

“Аватарка зачётная! В точку попал?
Сорвалась? Упс... Несложно исправить.
Кто такой? Предположим, я твой идеал.

Так точней. Как делишки, красавица?
Давай встретимся в KFC – деньги есть.
Эй, не смейся! На фото помятый я?
Бог с ним. Не спорю, но просьба учесть
Разрешение аппарата,
На который снимали... Меняем кантекст,
Я действительно волный художник,
Бродяга, фрелансир, и мне этот секс
Ни к че... Что? В перспективе, возможен.
В ближайшей. Оп, подловила меня..
Намбы с Вами общаться не стоило бы.
Просто я себя знаю... Ой, всё!.. Извиняй...
Ничего, я провык... Да, растроила,
Я раним... Не всегда.. Я всигда не раним.
Фомурлирую ... Поял нигодин.
Яхотле быть незверженно толко твоим,
Епритятно, что свыходит.”
Он полночи писал в сизоносом бреду
(Зная, что переписка не сложится),
Ахинею, рениксу и белиберду
И вставлял кругложелтые рожицы.

Как будто

Всё выучил. Всё знаешь. Неприлично
Давно живешь, в любую непогоду
Вбирая день обманчиво обычный,
Как губка из-под раковины воду,
Сжимаясь с мягким хлюпающим звуком,
Как будто нажитое шаг за шагом прячешь.
Сравнения выдумывать от скуки –
Душевное расстройство, не иначе.
Иначе – смерть. Условная. «Как будто».
При ней все признаки, описанные в книжках:
Темно и холодно, недвижно, неуютно,
Не тянет к людям, когда лучше разглядишь их.
Невзрачны внешности. Грузны, тяжеловесны
Отёки век – болезненное сходство.
Его отметил автор неизвестный
Широкой публике. Юродствуй, не юродствуй –
Ты есть, но есть «как будто», иллюзорно,
В одной из типовых многоэтажек,
Где кровь густеет жижей помидорной
И лучик света мимо окон мажет.

В ответ

Только вернулась в город после умопомрачительной поездки в Уплитсхе и во Мпхету....

И.Т.

Чтобы ты так надолго не сдила
Без меня... одна...больше...вообще!
Подходящее выбрав созвездие,
Пожелал и еще ключевых вещей
Сверх того. Лишь бы в небе не заволокло
Эту россыпь звёзд, подростковую сыпь.
Я набил романтическим барахлом
Чемодан и отправил тебе посыл-
Кой. Там обнаружишь на самом дне
Молью траченный шерстяной носок.
Ты когда-то пару связала мне,
Но «напарника» я обнаружить не смог....
У меня не только с носками беда —
Есть проблема с поиском половин.
Кстати, лыжу твою я убрал на чердак
До приезда. Сажу в полутьме один.

Виктор Чернявский

КАК ОСЕННИЙ ВОЗДУХ

* * *

Как правильно выбрать сельдь? —
Она должна вам запеть,
Крикнуть в лицо из рассола:
«Я прибыла послом к вам,
Прямо из Белого моря,
Пряного я посла, —
На плавбазе была расфасована,
Фасовщицей тетей Любой,
Отстоявшей двенадцать часов...»
А вы в глаза ей смотрите,
Чтобы ясными они были,
Чистыми, как осенний воздух,
Бока чтобы были полными,
Таковыми же, как у Любы,
Чтобы красными были жабры,
Как глаза у арабов
После песчаной бури —
Значит, вас не надули,
Смело домой несите,
Чистой водой промойте,
На полдня замочите
В холодной воде из-под крана,
Разделайте, распотрошите,
Кусочки сложите в банку,
Добавьте немного горчицы,
Лимонного сока щедро,
Сахара чайную ложку,
Для аромата — цедры,
Залейте подсолнечным маслом
И слегка размешайте,
А соли больше не надо:
Люба уже постаралась...
Ешьте себе на здоровье,
С маслом и чёрным хлебом,

Виктор Чернявский родился в Луганской области, в Калуге живёт с 1988 года. По образованию химик-технолог. Стихи пишет недавно. В 2018 году вышла первая книга «Радуга в октябре».

Если хотите с водкой –
Нарежьте колечками лук,
И водка чтоб ледяная,
Как вода в декабре в Белом море...

* * *

Сине-зелёное море,
Распростерлись на небе чайки,
Яхта под парусами...
Красно-белые, полосатые,
Паруса натянуты ветрами –
Трепещут, вперёд рвутся,
Маленькие трапеции –
Евклидовыми геометриями,
Терзаемыми чувствами...
Волны о берег трутся,
Белеет маяк на скалах,
Домик под красной крышей,
Тучек на небе мало –
Нет никаких излишеств...
Зелёное, волнами – море,
Галочки в небе – чайки...
Ложку из мельхиора
Нужно купить – и чайник,
Новый, из нержавеющей –
К моей старой китайской чашке,
С маленьким стёртым сколом...

* * *

Я стаптывал серый асфальт...
В этом скрывалась фальшь.
Изнашивались башмаки
В старом городе у реки –
Это была полуправда.
В городе-космонавте
С небольшим притяжением –
Взлетевшим воображением
В невесомости парил –
Матерились внизу старожилы
Подо мною, кружившимся,
Кричали: «Спускайся, паря,
Завтра идти на работу,
Это тебе не Витебск,

Звать-то тебя как?» – «Витя-я-я!..»
Что ж, работа – это святое –
Обозрев все широты,
Долетевши до новостроек,
Спускался на грешную землю –
Маленький, странный демон,
Который вконец оборзел...

Бессонница

Сосны под ногти иголки совали,
Пытали ели колючим лапником.
Показалась мне ипplikатором хвоя.
Разные мысли кололи,
Иные – длинными-длинными спицами,
Жалили больно расплывчатым роем.
Не спится.
Ночь мучительно колесовала
Картинами Иеронима.
Ускользали мои слова.
Пролетали мимо.

* * *

Мне снился корабль из керамики...
Маленький, тонул и тонул,
По законам гидродинамики
Опускался к зелёному дну,
На холодные серые камни.

Две руки его поднимали,
Этот несчастный кораблик...
Покраснели они и иззябли
В холодной воде декабрьской...
И пошёл он под белым парусом
В поисках сладкой паприки,
Огибая плывущие грабли...

Проснувшись и истолковав,
Что я и был тем корабликом
Из самой свободной републики –
По белым рукам тосковал
И мысленно их целовал –
При стечении паблики...

Г а л и н а У Ш А К О В А

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Никакой возраст покоя не дает! Каждый свой характер показывает! Молодость страдает от любви, старость мучается воспоминаниями. Который раз перебираю старые письма и все удивляюсь: как много – и не так давно! – люди писали друг другу. Когда коротко, когда со всеми подробностями. Эпистолярный жанр был популярен. Совсем как во времена Пушкина. Или Пришвина.

А сейчас что? Бездушная электронная почта! Где шуршание бумаги, где запах детства и мамы, аромат ландышевых духов любимой, табака «Золотое руно», которым набивал свою трубку из каштана мой друг Арсений? А какие красивые открытки вкладывались в конверты! Цветы засушенные. И поцелуи. Да-да, поцелуи. Милые тебе уста ставили на листок свой отпечаток губной помадой. И разве почтовый ящик пустовал тогда так, как нынче! Сегодня вот посмотрел – одни бесплатные газеты, забитые рекламой, да счета. Скучно ныне быть обыкновенным синим почтовым ящиком!

Да, так вот, письма. Например, это. Что за почерк? Чей? Буквы, как запутанная в узелки шерстяная нитка, тянутся то по строчкам, то наискось через весь тетрадный лист, тесня друг друга. И с лупой не прочтешь, что писал некий автор! Сплошные выкрутасы, а не почерк! Нет, на такое способны только женщины! И все же – от кого письмо? Почему не помню его? Верчу листок так и эдак в поисках места, где начинаются приветы, переходящие плавно в «Целую крепко. Пиши». Кажется, нашел. Приветов нет, но есть нечто вроде подписи. Растянутыми, пьяными, убегающими вниз буквами: КАПИтолИнА ВасИльевна.

Капитолина Васильевна! Тетя Капа! Наша тетя Капа! Да это одно из ее последних писем! Целых три тетрадных листа! Не думал, что оно сохранилось... Неразборчивые, прыгающие по линейкам, слова. Оборванные фразы. Что это не почерк, а болезнь, я понял только со второго письма. Ни одного из ее посланий я так и не смог полностью расшифровать. Читая их матери, которой, собственно, они и адресовались, в самых непонятных местах на ходу придумывал, сочинял текущую тетпокапину жизнь, не забывая и про приветы. Мама так и не догадалась, что подруга ее человеческим языком уже почти не владела.

Я подсчитывал тогда, сколько же лет тете Капе. Раз маме восемьдесят, а Капа старше ее лет на десять-двенадцать, то значит... Да, в такие годы трудно быть каллиграфом! И все же молодец, тетя Капа! Что с того, что почерк неразборчивый, она-то знала, о чем пишет! Я проникся уважением к старушке, но маме своего мнения не высказал. У них всю жизнь такие сложные, такие особые отношения!

Когда я был ребенком, а мама молодой красивой женщиной с пышными волосами и улыбкой, как у Любови Орловой, жили мы с ней и отцом в небольшом городке в Западной Украине, не сильно тронутым оттремевшей войной. Отец мой не успел вволю пополь-

Галина Ушакова родилась в Новосибирске. Окончила физический факультет МГУ. Многие годы работала научным сотрудником, потом журналистом, библиотекарем в Обнинске. Стихи, проза, произведения для детей публиковались в местной прессе. Автор нескольких книг. Член Союза российских писателей.

зоваться мирной жизнью, чему причиной стало застарелое ранение в голову. Умер он в один год со Сталиным, когда был я в первом классе. Дальше мать растила меня одна.

Жилищем нашим, как водилось в те времена, была обычная коммунальная квартира. Получилась она из одной большой комнаты, разделенной деревянной перегородкой на два отсека. В одном жили мы, в другом – тетя Капа, Капитолина Васильевна, как звали ее все. По сравнению с молодой, тоненькой, как девочка, мамой, соседка казалась мне очень старой: она была крупной, солидной женщиной, богато, но странно по моим детским понятиям, одевавшейся. Дома она ходила в длинном бархатном халате, на синем ворсе которого извивались красные цветы и плавали оранжевые рыбы, а на улицу обязательно надевала шляпку и перчатки. Шляп у нее было несколько, все с цветами и лентами и одна, помнится, даже с вуалью. Губы Капитолина Васильевна красила ярко, брови подводила густо, манеры имела не по возрасту.

«Артистка!» – говорила про нее мама, но тетя Капа не была артисткой. Она была учительницей музыки. По фортепьяно. Каждый день к ней приходили девочки и мальчики с нотными папками на шелковых шнурках. На одних нотных папках был вытеснен скрипичный ключ, на других – профиль человека с длинными волосами. Про скрипичный ключ я уже знал, а о профиле мама сказала, что «это Шопен».

Учеников у Капитолины Васильевны было много: в нашем городке считалось, что умение музицировать в жизни обязательно пригодится. Мама и меня хотела определить к тете Капе, хотя инструмента у нас не было, как и денег на его покупку. Договорилась, что та по соседской дружбе разрешит заниматься у нее. Но я воспротивился изо всех сил. Музыкальные упражнения, особенно гаммы, успели меня донять: я тихо возненавидел музыку и жалел бедных учеников тети Капы. Я отлично видел, что им совсем не хотелось заниматься, да они и сами об этом говорили, когда мы встречались во дворе. Они были скованы этой музыкой по рукам и ногам: кроме школьных уроков, им приходилось готовить и музыкальные. Я, к их зависти, жил вольной птицей, и делал после школы, что хотел.

Самыми большими увлечениями нашей дворовой команды были игра в футбол и лазанье по чужим садам. Садов в городе было великое множество. Черешня и вишня, сливы, груши, яблоки росли безо всякого ухода, каждый год был урожайным, и все лето хозяйки без конца варили компоты и варенье.

Сад был и у нас. С черешнями, двумя раскидистыми яблонями и орехом, огромным, как баобаб (я видел это дерево на иллюстрации к «Охотникам за жирафами» Майн Рида). Но одно дело сорвать яблоко с собственной яблони и совсем другое – залезть в сад на чужой территории. Это почиталось геройством. Чужой сад – всегда опасность. Сторожа и хозяева не зевали: они внезапно появлялись из-за кустов, хватали воришек и от души впаривали жгучей крапивой по голым коленкам или надирали уши так, что те становились пунцовыми. Такое возмездие нас не пугало. Оно почиталось справедливым. Страшно было тогда, когда тебя узнавали и шли жаловаться родителям. Реакция всех родителей была одной и той же: жестокая порка и запрет на суботнее кино.

Однажды, с полной пазухой зеленых яблок, был схвачен хозяином и я. Хозяйская девчонка тут же наябедничала отцу, что знает воришку: предательница училась у нашей тети Капы. Меня отпустили, но сказали, что вечером придут для разговора с матерью.

Я ждал вечера, как приговоренный казни. Время тянулось так медленно, что я несколько раз подходил к будильнику и тряс его: мне казалось, что часы наши остановились. Не то,

чтобы я боялся наказания, нет, но мне было стыдно перед матерью. Я представлял себе примерно, что скажет ей этот человек, я уже слышал немало таких слов в свой адрес, когда был застигнут взрослыми на шалости или проступке.

Наконец, мать пришла. «Ты что такой угрюмый? – спросила она, когда я, взяв из ее рук тяжелую сумку, начал вынимать покупки. – Подрался? Обидел кого-нибудь или тебя обидели?» Я помотал головой: говорить я не мог, слишком близко стояли слезы.

Мать едва успела вымыть руки, как в дверь постучали. Это был он, и он пришел не один, а вместе с этой девчонкой, своей дочерью. На стол из кошелки молча были высыпаны зеленые яблоки, которые я своровал из их сада.

– Хваток ваш сынок на чужое! – сказал гость, указывая матери на яблоки. – Вы плохо смотрите за ним, да и то сказать – безотцовщина! Сегодня он ворует яблоки, а завтра...

– Завтра он станет астрономом или полярником!

Это сказала не мать, это сказала тетя Капа, внезапно появившаяся в нашей комнатенке. Она была дома, и она все слышала.

– Подумаешь, горстка зеленых яблок! Да приходите в наш сад и рвите себе на здоровье те яблоки, мы вам ничего не скажем!

– Нужны нам ваши яблоки, они невкусные! – вмешалась в разговор взрослых девчонка, и тот час отец резко дернул ее за косу.

– Не ожидал я от вас, Капитолина Васильевна, такого отношения! Я думал, вы женщина интеллигентная, культурная, а вы...

– Так кто я, договаривайте же, Зиновий Павлович!

– Да вы все совиты, голодрань, чего вы прійшли до нашего миста, вы не господари, вы заробыты соби на життя не вмиетэ, нас, мисцевых, вважаэтэ за быдло! – неожиданно перешел на украинскую мову Зиновий Павлович. – Моя дочка билыш не вчытсья у вас!

Он схватил свою дочь за руку, они повернулись и вышли из комнаты. Зеленые яблоки на столе смотрели им вслед. Когда дверь хлопнула, одно из них покатилося со стола, я хотел подхватить его, но мать больно шлепнула меня по руке.

И сейчас для меня остается загадкой, почему тетя Капа остановила свой выбор на таких необычных для нашего городка профессиях. Про полярников передавали по радио, а вот чем занимаются астрономы, я не знал. Тогда я постеснялся ее спросить об этом, хотя вопрос несколько дней так и вертелся у меня на языке. Потом все забылось...

До этого случая отношения мамы и Капитолины Васильевны были, что называется, натянутыми. Нет, не потому, что мы жили под постоянные, назойливые звуки музыкальных упражнений учеников. Моя мама была очень терпимым и добрым человеком. Возможно, такой ее сделала профессия врача: она работала невропатологом в военном госпитале.

Неприязнь к Капе, как со временем мы стали называть соседку, была вызвана тем, что та «строила из себя даму». Я не понимал значения этих слов, и мама охотно объясняла, что именно она имеет в виду. Мама, вообще, была со мной очень откровенна: рассказывала все, что происходило на работе, делилась своими мыслями, впечатлениями, спрашивала, какого фасона платье ей больше к лицу. Даже осторожно интересовалась моим мнением по поводу ее редких кавалеров. Короче, я был и сыном, и подружкой одновременно.

«Строить из себя даму» означало: одеваться не по возрасту (такие яркие платья носят только девчонки!), слишком обильно краситься (ну вот, опять наштукатурилась, как артистка!),

летом закрываться от солнца зонтиком. В «дамский» перечень входили модные, на каждый сезон, шляпки, «свои» маникюрша, парикмахерша и портниха, духи — «только московские» и прочие «женские штучки».

Как всякая молодая женщина, мама тоже любила приодеться, выщипывала по моде брови, завивала свои волосы в локоны. Но до Капитолины Васильевны ей было далеко!

Потом, когда они сдружились так, что стали почти, нет, не как сестры, а как молодящаяся тетка и молодая племянница, неприязнь эта ушла, но не совсем. Ее отсветы я замечал на маме всю жизнь. Даже в старости, когда она, перебирая фотографии прежних лет, вспоминала о Капе.

Сблизились почти родственно мама и Капитолина Васильевна после моей скарлатины. Довольно поздно, в одиннадцать лет, я подхватил эту болезнь и болел очень тяжело. В квартире не было других детей, (а скарлатина очень заразна!), и меня разрешили оставить дома. Ходили за мной мама и Капа, которая на время отменила занятия с учениками.

Я помню, как болел. От жара мне казалось, что мое тело распухает, как опара, становится все больше и больше, заполняет кровать, комнату, и вот-вот вылезет на улицу. Жуткий страх охватывал меня, я кричал, плакал, колотил ватными руками по воздуху, уминая бесконечно растущую телесную массу. И я боялся хотя бы на минуту остаться один... Мама меняла и меняла на моем лбу мокрые салфетки, температура немного спадала, страх исчезал, а потом все начиналось сначала.

Я выздоровел, но пережитый ужас, притаившись, сидел во мне еще года два. Я стал панически бояться смерти: я боялся черного цвета и людей в черном, боялся поранить палец — вдруг будет заражение крови, и я умру, боялся своих немых рук (микробы!) и каждый раз в ванной не только мылил их мылом, но и тер мочалкой.

Скарлатина пошла на убыль буквально в один день благодаря тете Капе. Мама была на работе, и сидела со мной она. Жар усиливался, глазам было больно смотреть на свет, тело начинало пухнуть. И тут я услышал у самого уха знакомую мелодию. Это была прекрасная мелодия, я ее очень любил, именно этот вальс играла собственноручно Капа. По большим праздникам. Но то, что я слышал, игралось не на фортепьяно...

Я открыл глаза: передо мной стояла открытая деревянная шкатулка. Звук доносился из нее. Капа поправила мою подушку так, чтобы мне стало повыше, и я увидел, что в середине шкатулки кружатся в танце маленькие фарфоровые дама и кавалер. У дамы было кружевное платье и высокая прическа, кавалер был в парике и камзоле. Вместе с музыкой это было так красиво, что я забыл про свою болезнь.

— Что это, Капа?

— Это музыкальная шкатулка. «Сказки венского леса» Штрауса.

Когда завод кончался, и музыка стихала, Капа снова заводила шкатулку.

Под эту музыку я впервые съел несколько ложек куриного бульона с крошками в него белым хлебом. Под эту музыку я после еды спокойно заснул и проснулся, когда у моей постели уже сидела мама. Музыкальная шкатулка стояла рядом, на стуле, а фарфоровая пара все танцевала и танцевала вальс.

Я выздоровел, и Капа рассказала нам незатейливую историю шкатулки.

Во время войны она выступала перед бойцами с концертами в составе Киевской филармонии.

Я удивился. Я раньше думал, что на фронт выезжали только певцы и танцоры, ну там чтецы еще разные, циркачи. Но пианисты?

– Как же возили пианино, ведь оно такое тяжелое? А вдруг немцы бы бросились в атаку?

– Так и возили, на грузовике. Бывало, что нас обстреливали. Случалось, что артисты гибли. Мне повезло, у меня пострадала только правая рука – предплечье и кисть. Играть так, как я играла раньше, я теперь не могу. И она показала свою руку. И я увидел то, что не видел раньше или не замечал: пальцы и ладонь были в мелких белых гусеницах – шрамах.

– Шкатулку мне подарили бойцы стрелковой дивизии Белорусского фронта. Где они ее добыли, музейная ли это вещь, я никогда не интересовалась. Военный трофей. Кстати, на задней стенке вытеснено по-немецки имя мастера. Или бывшего владельца. – Капитолина Васильевна повернула шкатулку, и я увидел нечеткий ряд латинских букв. Ни я, ни мама немецкого не только что не знали, но даже сами немецкие буквы были для нас тогда загадочными и враждебными знаками.

Когда мне исполнилось четырнадцать, мать вышла замуж, и мы переехали к ее мужу. Тете Капе как ветерану войны власти разрешили снять перегородку. Так она стала владелицей однокомнатной квартиры. С мамой они дружили по-прежнему и встречались почти каждый день.

Я прожил в этом городке до окончания школы, затем уехал в Москву. Перед отъездом, прощаясь с тетей Капой, попросил завести музыкальную шкатулку. С тоской, почти что со слезами смотрел, как изящные кавалер и дама кружатся под звуки весеннего вальса. Тогда я не понял, что прощался не с тетей Капой, а со всей своей прежней жизнью. Осознание этого пришло намного позже.

Штраус звучал во мне всю дорогу до столицы...

История музыкальной шкатулки не кончилась с моим детством. С тетей Капой я встречался, наезжая в гости к матери и отчиму. Удивительно, но музыкантша наша не старела! Она оставалась и оставалась дамой, правда, теряя в росте и зрении. «Порода! Время таких не берет!» – с завистью говорила мама, хотя и сама поддавалась времени без особенной топливности.

В последний раз я видел Капу (она пригласила меня к себе в гости) в том же самом бархатном халате с цветами и рыбами, основательно потертом, истончившемся, но сохранившем свой экстравагантный вид. Читать Капа могла только с лупой, убиралась кое-как, поэтому мне пришлось, прежде чем сесть за угощение, основательно вымыть все тарелки и рюмки. Пили мы кагор, закусывая его моими подарками – тортом и московскими конфетами. Капа с удовольствием говорила на политические темы, критиковала украинские порядки и уверяла, что скоро племянница заберет ее в Россию. Оказывается, у нее была племянница, жившая в Тамбове!

Я спросил про музыкальную шкатулку.

– Цела, цела, – заверила Капа. – Только вот не помню, куда я ее засунула! Да что шкатулка! Я сама сыграю тебе «Сказки венского леса»!

И она сыграла! Почти слепая, со скрюченными ревматизмом пальцами, она азартно ударяла по желтым дребезжащим клавишам старого пианино, извлекая из него знакомую мелодию Штрауса.

Последние свои годы мама доживала со мной в небольшом подмосковном городке, куда я был распределен после института. Городок я сначала терпеть не мог, потом привык, смирился, а со временем и полюбил.

С тетей Капой связь у нас оборвалась. Мы не знали, где нашла пристанище ее старость – у племянницы, в доме для ветеранов? Да и жива ли она вообще, наша тетя Капа?

Однажды, это было года за два до смерти мамы, я вытащил из нашего давно не запирающегося почтового ящика конверт, весь исписанный и измызганный так, как будто он попал сюда из мусорного бака, а не из рук почтальона. Я сразу же посмотрел обратный адрес. Он ничего мне не говорил, но вот фамилия адресата! Это была тетя Капа! Письмо, посланное на мой старый, еще общежитский адрес, долго бродило по почтовым отделениям города, и вот, почти через три месяца после отправления из Тамбова, я держу его в своих руках. Слава адресному столу, слава почте!

Вожделенное письмо я вынимал из конверта в присутствии мамы. Она тот час отобрала его у меня, потребовала свои очки для чтения и, устроившись в кресле у торшера, поднесла листки к глазам. Я деликатно сел в стороне, хотя меня распырало любопытство.

Не прошло и пары минут, как мама сказала:

– Что за почерк! Курица лапой и та лучше напишет! Разобрать невозможно! Попробуй ты!

Я попробовал. Сказать, что я достиг значительного успеха, было бы неправдой. Малоопытные буквы, косые, прыгающие то вниз, то вверх слова, обрывистые строчки – нет, читать это было мукой! И все же кое-что в этой криптограмме я расшифровал. Капиголина Васильевна живет с племянницей в Тамбове, болеет, (племянница тоже), но борется с недугом (наша мужественная Капа!), почти ослепла, скучает по Украине и надеется получить от нас весточку. Еще в письме почему-то были почти бессвязные отрывки воспоминаний из Капиной военной жизни, вкрапленные по тексту то там, то тут.

Мама участвовать в ответном письме не захотела.

– Ты сам знаешь, что писать! – сказала она. – Вечно эта Капа что-то выдумает! Затеяла переписку! Зачем? Пишет какую-то дребедень, и от меня того же ждет!

И, недовольная, ушла в свою комнату.

Я с удовольствием написал большое письмо. Капа ответила. Второе письмо мало чем отличалось от первого, последнюю страницу я вообще не смог прочесть, да и вряд ли там было что-то интересное. Мать равнодушно выслушала мой авторский перевод Капиных каракуль. Бывшая соседка-подружка перестала ее интересовать.

После третьего письма пришло извещение на посылку. Боже, что же такого она могла нам прислать?

Я принес посылку.

– Чепуха там! – отрезала мать, когда я предложил ей взглянуть на содержимое, но все же осталась на кухне, где я вскрывал деревянный ящик.

Сверху лежали старые женские сапоги с воткнутой в голенище запиской: «Для Алевтины. Мне малы».

– Ей малы, а мне будут как раз! – обиделась мать. – Совсем сдурила на старости! А это что?

«Это» была пачка старых журнальных вырезок и газет, я отложил их в сторону. Потертый медицинский справочник довоенного издания протянул матери. Она брезгливо повертела книгу:

– Все ненужное нам прислала! Из ума она выжила, вот что!

– Наверное! – подумал и я, доставая со дна ящика коробку, обернутую толстым слоем газет. Больше в посылке ничего не было.

Я размотал газетную упаковку. Знакомый деревянный ящичек коричневой полировки. Позолоченные ручка и четыре гвоздика на крышке потемнели от времени. Музыкальная шкатулка!

– Только детских игрушек нам и не хватало! – ворчливо сказала мать, но внимательно выслушала «Сказки Венского леса», глядя не на танцующую фарфоровую пару, а в кухонное окно, за которым сгустились легкие сиреневые краски весенней ночи.

Музыка, удаляясь, смолкла.

– Отдай шкатулку своим внукам! – сказала мать. – Нам она ни к чему!

Я отправил Капитолине Васильевне благодарственное письмо и огромную коробку шоколадных конфет «Корсуновъ», самых лучших на мой вкус. Капа всегда любила именно московские конфеты. А через неделю заболела мать.

Она лежала в своей постели, отвернувшись к стене и тяжело дыша. Маленькая, съеженная, седая. С трудом я уговорил ее измерить температуру. Температура была высокая. Вызванная на следующий день участковая сказала, что, возможно, это воспаление легких, но вряд ли такому пожилому человеку будет хорошо в больнице. Она приплет медсестру, пусть поколет антибиотики.

Купать мать отказывалась. Уколы делать тоже. Начала быстро слабеть, заговариваться, и я испугался. Испугался своего бессилия, а не того, что она может умереть. В ее смерть почему-то я не верил. Я думал: ее жизни не будет конца! Я буду стареть, а она оставаться все той же старушкой с улыбкой, излучающей неземной свет.

Я отнес на кухню тарелку с отвергнутой (в который раз!) кашей, взял музыкальную шкатулку и присел на кровать к матери. Глаза ее были закрыты, но она почувствовала мое присутствие и слабо махнула рукой – уходи, мол! Я не ушел. Я поставил шкатулку на край постели, завел и открыл крышку. Серебристые, нежные звуки вальса поплыли по комнате. Вот они стали затихать, и я снова подкрутил завод. Через какое-то время заметил, что мать уснула. Дышала она спокойно и тихо.

Приход медсестры разбудил ее. Впервые без всяких уговоров она позволила сделать себе укол, выпила нужную таблетку и спросила супу. Каждый раз, когда я принимался ее кормить, я заводил музыкальную шкатулку. Мать не возражала. Она начала выздоравливать.

От Капитолины Васильевны ни писем, ни посылок больше не приходило. В течение года я упорно продолжал писать в Тамбов. Ответа не было. Должно быть, Харон не успел еще доставить нашей Капе мои земные послания.

До самой своей смерти мать не вспоминала о ней, а я никогда не затевал разговоров на эту тему. Музыкальная шкатулка мирно стояла на серванте, я заводил ее только тогда, когда в гости к нам привозили моих внуков.

Умерла мать неожиданно: вечером заснула, а утром не проснулась. Я ошибся: она не была бессмертна.

Александр Трунин

СВЕТ БЕРЕСТЯНОЙ

* * *

В окне глухая осень —
Тетеря из тетерь.
Темно, а только восемь,
Сидишь — и что теперь.

Откроешь чью-то повесть,
Черкнёшь в тетрадь свою,
И назубок, на совесть
Запомнишь I love you.

Заснёшь — спокойно спится,
Проснёшься ровно в пять.
Не нужно торопиться
Ни жить, ни умирать.

* * *

Всё пережить, во всём дойти
До самой подноготной сути,
Но снова, ровно без пяти,
Себя увидеть на распутье.

Родить, построить, посадить —
Всё это было, было, было.
Что нам осталось впереди
Среди всеобщего распыла...

Ремонт закончить, пыль стереть,
Помыть полы и дом проветрить.
И долго медленно стареть,
Я значит — жить, любить, и верить.

Александр Трунин родился в 1954 году в селе Кольцово Калужской области. Окончил русское отделение филологического факультета МГУ, преподавал литературу, занимался журналистикой. Автор многих публикаций в толстых журналах и трёх книг стихов. Лауреат областной литературной премии имени Марины Цветаевой. Живёт в Калуге. Председатель калужского регионального отделения Союза российских писателей.

* * *

На пустыре цветёт цикорий –
Невзрачен и голубоглаз,
Любитель вольных территорий
И не любитель громких фраз.

Он не годится для букета
И пахнет сорною травой,
А если и полезен где-то,
То только пользой корневой.

Хозяйка тишины

О.К.

Получены ответы
Задачи решены
Живёт со мной всё лето
Хозяйка тишины

Живёт со мной всю зиму
Весну и осень тож
И скуки я не иму
И в горе я не вхож

Не напрягайте слуха
Ни завтра ни сейчас
Всеслышащее Ухо
Всё ведает про нас

* * *

Когда пойдут запойные дожди,
И что ни день – всё беспробудней,
Не колготись, не майся и не жди,
Лепи стихи из глины будней.

Сойдётся всё – и небо за окном,
И ветер вперемешку с листопадом,
И старый сад, и подновлённый дом,
И день-деньской с любимой рядом.

Осеннее утро

В окно сочится свет берестяной.
Всё утро за бревенчатой стеной
Два петуха орут на всю округу.
Что им неймётся доказать друг другу...
И мы не спим, бормочем невпопад
О том, что осень, дождик, листопад,
Цветы повяли, и пожухли травы,
И ягоды чернеют на кустах.
А дома, как ни глянь, всё на местах —
Бессонницы, заботы и забавы.

О л ь г а Ш и л о в а

РАНЫШЕ ПЕРВЫХ ПТИЦ

* * *

Дела мои проще простого –
Похожи на замкнутый круг:
Пока колдовала над словом –
Все вещи отбились от рук.

Простые земные поделки
Привычны в домашнем быту:
Ну как обойтись без тарелки
И грабель в весеннем саду,

Одежды и прочих изделий,
В миру выручающих нас?
Но быть расторопней падений
Фаянсовых чашек и ваз...

Стремительней грязи и пыли...
Скопления груды белья...
Пусть там где-то примус чинили,
Но только увольте меня
Ещё от почина починок, –
И пусть продолжается пря!
Я драный терплю свой ботинок,
Как общий раздрай бытия.

И, клюквенным соком облитый,
Единственный старенький плащ.
Как весело знать над корытом:
Лишь мир стихотворчества – вящ!

* * *

Бедный мой родимый дом!
Токмо куры под окном,
Свой или соседский кот
Или редкий пешеход –

Ольга Шилова родилась 28 июня 1960 г. в г. Мещовске Калужской области. Окончила библиотечное отделение Калужского культурно-просветительного училища. Стихи пишет с раннего детства. Автор поэтических книг «Нетерпёж», «Скит» и многих подборок стихов в журналах и сборниках. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Валерия Прокошина. Член Союза российских писателей.

До того, что не стерпеть
Выглянуть и поглядеть:
Кто — откуда — в чём одет
Сей приезжий иль сосед.
Покосившийся забор —
Всем ветрам наперекор,
Маясь от доски к доске —
Всё висит на волоске.
Ох ты тонкая моя,
Стен бревенчатых броня!
Ветродырый мой ковчег!
Додышать бы в тебе век!
Плыть да плыть бы... но пока —
Не рискую — голубка
Выпускать — разведчика
Отчего крылечика.
Чуть промажет голубок,
Закосит на ин порог —
И — не пальмы веточку,
Не масличный мне листок
В клювике — а уголёк
Принесёт: повесточку.

* * *

Как тебе, душе моей девице,
Не в пример блудливому уму —
Двух миров до времени жилище,
Верность соблюсти лишь одному?
Листья облетевшие горсада,
Бусами увешанная ель —
Благо, лишь недолгая отрада,
Зыбкая земная карусель.

Благо — ни к чему не знать привычки
И не оборачиваться вспять,
В мире быть не боле певчей птички,
И себе, и Богу щебетать.
Не высокомерничая — благо
Избегать общественных затей.
Знать, как пахнет книжная бумага,
И не ведать теленовостей.

* * *

Памяти Е. Евтушенко

А кого же нам было читать?
Мы читали, понятное дело,
Евтушенко, Булата и Беллу...
Их всего было, кажется, пять...

Мы виниловый слушали рок,
И гранит без усердия грызли,
И в строках, а всё больше меж строк
обретали искомые смыслы.

Мы священные их письма
Не до дыр ли, читая, зубрили?
И кумиров своих имена
Не со страстью ли произносили?

И откуда поэты росли –
Мы – томимы лирической жаждой?
Не от, в срок нам дарованной ли –
Пятерицы – с их силой отважной?

Мы не ведали про политех,
Не рвались в стадионы и залы.
Мы – читатели библиотек –
Неформальные провинциалы.

* * *

Белая птица над полем летит,
Низко над самой землёй.
Издали видит: недрут стоит,
Надо лететь стороной –

И отлетает... а вот – зверёк
С берега в воду – нырь...
Все – врассыпную и – наутёк –
Птица ли, рыба, зверь...
Серая цапля на том берегу
Глазом косит во след...
Некогда другу, теперь врагу –
Еве прощенья нет.

Все они названы были мной
Отче, по именам.
Горе, что мир стал совсем иной,
И – жить в раздоре нам.

Горько идти по земной тропе.
Память не усыпишь:
Вот, бездыханная, на траве
Спит землеройкамышь...

* * *

Просыпаюсь раньше первых птиц,
(Где-то после трёх уже не спится),
И, ещё не разомкнув ресниц,
Жду, пока подаст в окошко птица

Знак – что через час грядёт рассвет,
И – в чуть просветлевшее оконце
Станет ясно: встанет или нет
В спутники мне на прогулку солнце.

Днесь – восстанет! Весь восток горит
Розовым и голубым так ярко!
Скоро небосвод весь озарит!
Дождалась я Твоего подарка!

* * *

Господи, тихие благослови
И одинокие будни мои.
Тихий за окнами тает закат –
Он в одиночестве тише стократ –
Но оглушительней крики ворон
И неустанный кузнечиков звон;
Ближе, родней дождевые ручьи,
Наземь падение яблок в ночи;
И не прозрачнее ли, не пестрей
Крылышки ос и стрекоз, мотылей?
Скажут: не мил одному белый свет.
Это обман – одиночества нет.
Лишь из-под зонтика выгляни – и –
Первому встречному зонт протяни:
«На, бедолага, до нитки промок!»
И – уже двое – а третий – Сам Бог.

Юрий Убогий

ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

время вокзала время вокзала время вокзала

Всегда при случае смотрю, как солнце уходит: вот прикоснулось к горизонту, вот снизу смялось чуть, вот на треть уже ушло... И напрягаться начинаешь невольно, словно уход его личное к тебе отношение имеет. Да и имеет: с ходом — уходом жизни твоей это связано как-то, пусть даже и не подумаешь об этом. Смотришь неотрывно и не двигается оно, чуть взгляд отвел — а оно уже ушло по поясу... Но все равно много еще осталось, только неотрывно надо смотреть, взглядом как бы его придерживая. И удастся, и время вместительней становится — и подышать можно глубоко, и поморгать, и даже подумать о чем-нибудь постороннем. Вот до последней капли дело дошло, а вот и последней уже искры... Все. Напряжение гаснет за солнцем вслед и сам ты на миг стал пустой и темный.

* * *

Слышал по ТВ отрывок из предсмертного письма Маркеса. Конкретному ли адресату оно было написано или «всем — всем — всем», не сказали. Суть отрывка совершенно христианская: о том, что главное и лучшее в жизни любовь. Кончается же все фразой, трижды в письме повторенной: «Не за мысли будут меня помнить». Очень странно. Как он мог даже предположить такое? И возмущался ведь самому этому предположению и отверг его решительно. Может, метафизичность, такая у него густая, стала его смущать к концу жизни, избыточность ее в ущерб художественности?

А вот Толстой, проживший примерно столько же, к концу все большее значение именно мыслям своим придавал, в дневниках и трактатах ясно это видно. И не возражал бы, может быть, чтобы его помнили именно «за мысли». Давались они ему трудней и мучительнее, чем все покоряющая художественность, вот и ценил их больше.

* * *

Любил когда-то забрести на окраину самую неприглядную, замусоренную, уродливую: заборы, склады, трубы дымящие и парящие, древние какие-то пакгаузы... Промзона. Что тут, казалось бы, любить? А вот эту самую неподдельную, натуральную наготу жизни и работы человеческой. И энергетика в таких местах какая-то особенная, до легких мурашек по коже, словно ты на некоем сквознячке бытия оказался вдруг. Знобко, зябко, но чем-то и приятно. Вот этой самой натуральности нагой.

Удивительно, что место для чтения стихов и разговора о поэзии (увидел недавно по ТВ), выбрали очень похожее на любимые мною когда-то окраинные промзоны, только под кры-

Юрий Убогий родился 19 сентября 1940 года в Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Работал врачом. Автор многих книг и публикаций в журналах. Лауреат премий «Отчий дом», имени Леонида Леонова, «Большая литературная премия России» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

шей: голые кирпичные стены с неряшливой кладкой, подмости, трапы дощатые... Решили, наверное, что высшему и нежнейшему творению души и духа человеческого, поэзии, здесь самое место для контраста и заземления. Есть тут некий резон, хоть выглядит все это и диковато. Некоторые же стихи, там прозвучавшие, никакого контраста с обстановкой и не давали, все тот же был в них нагой кирпич, железки, доски, словно тут именно они и родились.

* * *

Трудновато стало на лыжах ходить, азарта, жадности мышечной почти уже нет, заставлять – подгонять себя приходится. Но ведь и стаж лыжный какой – 70 лет! Первые мои лыжи с последней военной зимой совпали и сделаны они были из досок от бочки изогнутых. Ну, и хомутики из пеньковой веревки к ним прибиты. Ехать на них было почти невозможно, а вот пошагать-попадать сколько угодно. Даже и с восторгом – я на лыжах, как большой! И вторые лыжи, уже «фабричные», прекрасно помню, и третьи... Третьи, подаренные дядюшкой перед его уходом в армию, были сказочно хороши – военные, финские, трофейные, с дырочками на круто изогнутых концах. Ни у кого в нашем поселке таких не было и я прямо – так дрожал над ними от восторга и тревоги, что отнимут или украдут. И ведь украли из коридорчика недели через две-три. Чуть не умер от горя.

Ну, а потом вся жизнь в обнимку с лыжами прошла. Где бы ни жил, везде можно было прямо у порога дома на них стать и ехать. Помню, зрелым уже вполне человеком, бежал на лыжах самозабвенно – блаженно и пушкинские строчки из «Моцарта и Сальери» вдруг на лыжный лад переделал: «Из наслаждений жизни одна любовь прогулке лыжной уступает, но и она мелодия». И запомнил вдруг, и не раз потом повторял...

Эту зиму, надеюсь, отъезжу, а последующие? Если они вообще будут, конечно. Какая-то ведь случится первой без лыж, и это будет горько. Клади древним людям в могилы вещи, самые в обиходе нужные, вот я бы по этому примеру лыжи рядом хотел иметь. Как-то оно веселее будет.

* * *

Посмотрим на происходящее взглядом Шекспира: такой совет есть в письме Пушкина кому-то из друзей, да и самому себе, конечно. С высоты высокой, спокойно, душу не надрывая. Хороший совет, только сам он вряд ли когда ему следовал, а как бы было хорошо для благополучия житейского. Все могло по-другому пойти, но ведь великого поэта и человека тогда бы не было. Особенно по последней дуэльной истории такое видно. Не мог он иначе поступить – только стреляться. Теперь же слово «честь» пишется в словарях с добавкой «устар.» – устаревшее...

Много бед постигало Россию на ее историческом пути, и гибель Пушкина, а вслед и Лермонтова, одна из них. Не случись она, вся история громадной страны могла бы сложиться по-иному, поудачнее, чем оно получилось.

О похожем влиянии Гоголя на судьбу России, только с обратным знаком, писал Розанов. О том, что он отвинтил внутри российского корабля некий винт, после чего тот неизбежно стал тонуть и даже русско-японская война не могла быть выиграна. А винт этот – самоуважение, сильно пострадавшее от гоголевского изображения России.

* * *

Старение похоже на хроническую болезнь, которая развивается хотя и медленно, но не остановимо. По ходу «болезни» душа вырабатывает, к счастью, и лекарство, которое и облегчает, скрашивает развитие ее. Рост ценности того куса, кусочка жизни, который тебе остался и который становится все меньше. Все дорожает прямо-таки на глазах: и природа-погода, и люди, и книги, и мысли, и воспоминания, и время само. Вот этим-то и оплачиваются, покрываются потери, тяготы и горести старости, порой даже и с избытком. Прямо по пословице: нет худа без добра. Смысл пословицы уменьшительно-житейский, а существует ли худо-зло в виде чистом и непоправимом? Может, и нет. Ведь даже Люцифер, ангел падший, отец зла, может спастись, если покается, так богословы христианские считают.

* * *

«Любить и лелеять недуг бытия» — из стихотворения Баратынского «Дельвигу». Можно такое с недоумением и протестом прочитать, можно и с согласием полным. От характера читающего зависит и даже от настроения. А вообще глубоко, но и темновато... Томас Манн же определял жизнь как тепловую краску стыда материи. Тут уж совсем темно, хотя, если вдумываться упорно, то что-то все-таки брезжить начинает.

Темны и стихи Велемира Хлебникова: то ли бред, то ли набор слов случайный... Но вдруг мелькнет, как драгоценность в мусоре: «Русь, ты вся поцелуй на морозе...»

Один из журналов по теоретической физике прошлого века принципиально не печатал понятные статьи, предпочитая им непонятные, дикие, темные. И, может быть, выуживал изредка что-то драгоценное из этого мусорного потока.

* * *

«Мужайся, сердце, до конца: И нет в творении Творца! И смысла нет в мольбе!» — Тютчев. Ведь прямо и ясно, от себя лично, сказано, что автор безбожник, а все равно в глубине души этому не веришь и правильно делаешь. Не может поэт писать Боговдохновенные стихи и не быть при этом у Бога, в Боге, хотя бы во время их написания. Нечто подобное апостолом Иоанном про любовь сказано, где она поставлена выше и важнее самой глубокой и горячей веры. Любящему уже и вера не нужна, потому что он в любви, а значит, в Боге пребывает. Вот пушкинское, всем известное, о любви самой земной, а все равно божественной: «И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». На первом месте «божество» и тут стоит...

Случалось же читать стихи духовные, где про Бога сплошь говорится, но Он в них как-то и не живет. А в некоторых стихах того же поэта (Владимира Богатырева), вполне светских, Бог и не упоминается, а чувствуется несомненно: все в той же к миру и к людям любви...

* * *

«Чем ночь темней, тем родина дороже», — строчки из стихотворения Станислава Куняева. Как много за этой строчкой встает — и война, и девяностые лихие годы века прошлого, и теперешняя пора... Это все трудности — горести общенародные, но ведь и в отдельной человеческой судьбе точно так — грянула беда и жизнь, и родина вдруг подорожали. Проза-

ик Леонид Бородин написал в воспоминаниях, что ему, отбывавшему срок в лагере по 48-й статье, куняевская строчка выживать помогала...

Бед настоящих набирается, кстати, не так и много. По-народному – война, тюрьма да сума...

Пришлось прочитать почти подряд рассказ Шукшина «Алеппа Бесконвойный» и стихотворение Рубцова «Добрый Филя». Удивительно, как они похожи, Алеппа и Филя. Оба пастухи, оба молчуны, оба любят все и всех. И чувствуется, что для авторов они не просто персонажи, но некие идеалы авторские.

Тот самый «золотой век», который, по слову Достоевского, у нас в кармане, они из кармана уже достали и живут в нем. И из чего же он состоит, этот «век», для всех вожаемый? Только из любви.

Мир такой справедливый,

Даже нечего крыть...

– Филя! Что молчаливый?

– А о чем говорить?

Так стихотворение Рубцова кончается. Можно себе представить и монаха, давшего обет молчания, для которого это не испытание, а радость. Если мир Божий любишь, то незачем эту любовь словами всякими-разными портить и мутить. Молчание золото, вот и помолчи.

* * *

Хорошо помню, как в школе русскую литературную классику изучали много-много, сочинения писали про Онегина, Печорина, Кабаниху... И музыку классическую, симфоническую приходилось поневоле слушать из черной воронки репродуктора – не переключишь. Такое было «принуждение к культуре», употребляя современный речевой оборот. Из всех принуждений самое, может быть, простительное. Да что там – нужное, необходимое даже! Иначе с детективами, «дамскими» романами и эстрадно-музыкальными шоу будем мы дичать и дичать.

Когда широко отметили столетие после смерти Пушкина и ввели широкое изучение русской литературной классики в школе, философ-эмигрант Георгий Федотов написал: «Спасена Россия!» И был совершенно прав. Такой крутой культурный поворот был чудом, уберегавшим душу народа на многие десятилетия вперед. Что-то даже провиденциальное в нем было, а попросту сказать – пресвятая Богородица России помогла в очередной раз, быть может...

В последнее время поговаривают в СМИ, что учить детей писать от руки незачем, пусть печатают сразу начинают. В Финляндии, например, уже и стали делать так, вот и нам бы... Брезжит тут и продолжение – разговаривать в конце концов окажется лишним, э с э м э с к и друг другу проще посылать...

* * *

Жизнь и судьба Николая Рубцова была тяжела на редкость, но в стихах его это отразилось мало. Основное и глубинное в них – свет. Словно получил он от судьбы черный уголь и огромным, тайным душевным трудом пережог его, превратив в свет любви. К родине прежде всего. А Юрий Кузнецов, его сосед в ряду русско-советских поэтов-классиков, имел житейскую судьбу гораздо легче, но душевный, поэтический труд его был по тяжести близок

Рубцовскому. Стоял одиноко, как воин-богатырь, на границе России, пока не рухнул на этом посту.

Посмертная же их судьба как поэтов сильно разнится. Рубцова любят многие, а Кузнецова редко кто, потому что для этой любви героическую, как у него самого, натуру надо иметь, а таких людей много не бывает.

* * *

Есть у позднего Толстого дневниковая запись о том, что хорошо бы написать роман под названием «Жратва». О том, что люди думают, что они занимаются то тем, то этим, а они заняты в основном жратвой. Теперь же такой роман был бы еще злободневней: богатые страны вымирать скоро начнут от ожирения своих граждан. Да и мы в этом не совсем в стороне стоим. И на экранах, и в журналах глянцевого бесконечная еда завлекательная, а следом способы похудения...

Спросили однажды Майю Плисецкую, как она держит себя в прекрасной физической форме, и она ответила совершенно по-толстовски: «Не жрамши сижу».

* * *

Много раз приходилось бывать в мастерских художников, и всегда казалось, что они, мастерские, из лучших мест, которые вообще есть на свете. Тут и остаточный гул работы недавней, идущий годы уже и годы, тут и плоды ее, картины и скульптуры вокруг, и вещи старинные вроде прялок и самоваров, в которых времени глубин, тут и беспорядок милый, и порядок, одному художнику-хозяину ведомый. И мастерская это, и жилье, и берлога...

Недавно в мастерской у художника А. хозяин показал свою картину, которой был недоволен, а чем конкретно, сам никак не мог понять. Хорошая картина, да еще и большая, сколько труда и времени на нее было потрачено! Но какая-то «нескладеха» в ней действительно чувствовалась. Долго ее рассматривали, пока один из присутствующих не сказал, что надо бы немецкие самолеты вдали на горизонте убрать. И все согласились сразу – да, именно это! А художник обрадовался прямо-таки, словно увидел картину иной, лучшей гораздо. Словно «нескладеха» эта самая вдруг исчезла.

Тут мне и вспомнилось, как вычеркивал не раз какой-нибудь кусок, конец особенно, из рассказа, и тот из вялого, полуживого, чудом каким-то становился живым. И до сих пор не могу твердо сказать, что полезнее для уже написанной вещи – добавка удачная или удачное сокращение. Второе, пожалуй...

Тут и вспомнился научно-популярный фильм, в котором было сказано, что пустоты в природе нет, мы же пока просто не знаем, что в ней, в пустоте. В пустоте зачеркнутого текста, например...

* * *

Писать кратко или пространно дар писательский определяет, и решения умственные, рациональные мало что в этом могут изменить. А дар и для самого носителя остается тайной. Ценность же краткости или объемности лишь в конкретном проявлении видна. Нечего было бы думать о сокращении полеховского «Тихого Дона» или увеличении, «расписывании» бунинского «Солнечного удара».

Особняком тут стоит краткость Библейская, Богоданная. «Да любите друг друга». Три всего слова, изменившие мир...

* * *

Друг со студенческих еще лет уехал в Канаду, в Ванкувер, и в первом же с ним телефонном разговоре я спросил, что из окон квартиры видно? Ответил – мост через залив. Что ж, очень даже неплохо.

А спросил хоть и спонтанно, но ведь и не случайно. Есть тут нечто существенное для жизни – что за окнами твоими изо дня в день. На душу это влияет.

В первое мое окно видел я поле и небо, а в последнее вижу сад и небо: хорошо так совпало – зацелкнулось, лучшего и желать нельзя. А между этим чего только не виделось, даже останкинская башня, на фоне неба милая вполне...

Лучший же вид из окна встретился в селе Ахлебинино под Калугой, где пришлось пожить и поработать. Барский дом был там, прямо-таки врезан в высокий берег Оки и взгляду ничто не мешало видеть лишь крутой береговой склон, Оку на повороте, другой крутой берег и небо над ним. Ясно так представилось, помечталось, что хорошо бы всю жизнь смотреть на все это и не делать больше ничего...

* * *

«Горизонт событий» – понятие, термин из современной космологии. В том смысле «горизонт», что находящееся за ним нельзя увидеть, узнать в принципе. Никому и никогда.

Услышав о таком впервые, прямо-таки ужас мгновенный ощутил, словно в тюрьму вдруг попал навеки. А потом подумал утешительно, что жизнь человека, понимаемая лишь в материальном смысле, и есть безвыходная тюрьма, а дух живет, где хочет...

* * *

Воспоминания путешествиям сродни, только скорость иная и причины воспоминаний непонятны чаще всего.

... Вокзальный буфет, пирамидка каких-то плодов красивых, на яблоки немного похожих, за стеклом. Цена удивительная – всего 3 рубля. Сбегал к матушке, вернулся с трешкой в кулаке.

– Дайте вот этих... килограмм.

Большая, широкая тетка – буфетчица улыбнулась по-доброму:

– Мальчик, они за штуку так стоят.

Растерялся, но ответ свой помню дословно:

– Тогда не надо.

А вот, вскоре, вокзальный ресторан, такой огромный и такой пустой, что даже двигаться в нем было неловко и страшно.

Матушка попросила тетку, чем-то похожую на буфетчицу, принести одну порцию супа и хлеб.

– На две тарелки разлить? – спросила тетка заботливо.

– На две, на две! – обрадовалась матушка.

Суп оказался вкуснейшим, но с какими-то непонятными, горьковатыми маленькими сливками, совсем, казалось, лишними в нем...

Чудесное путешествие. И мальчик славный, и тетки, и суп с оливками. И время примерно угадывается, и я, путешественник, просто знаю – пятидесятый прошлого века год...

* * *

Анатомия на первом и втором курсе института. Труднейший для изучения и экзаменов предмет – знать устройство человеческого тела до мелких подробностей, да еще и по-латыни это называть. Самым сложным и важным считался череп, их пытались достать «на руки», чтобы не торчать в анатомичке.

Вот и сидели в укромных уголках института или даже общежития парочки. Тесно, уютно даже так сидели, склонившись, друг к другу, с книгой и черепом на коленях. Любовные парочки чаще всего, конечно. И как тут было не вспомнить, мимо проходя, шекспировского Гамлета с черепом любимого шута Йорика в руках и знаменитый монолог: «Бедный Йорик...»

Сам я так не сидел, но понять пытался: чувствуют ли они, парочки эти, некую двусмысленность, трюкомичность даже такой ситуации? А теперь уверенно почти думаю: нет. Дело было заняты, грели друг друга коленями и плечами, вот и все... Вдобавок и целоваться можно было, книгу и череп отложив...

* * *

Любовь в «узком» смысле есть самоотдача и самообретение одновременно. В реальности такое лишь мелькает туманно и разорвано, а если это в определенности конечной представить? Тогда совместный уход на самой высоте, накале любви нужен, чтобы не портить ее неизбежно снижением и ущербом. Уход до встречи в мире ином, которую представить невозможно. Можно лишь верить, что она произойдет...

* * *

Когда попадаете по ТВ что-нибудь про Эфиопию, всегда это с особенным интересом смотришь: один из гонимых корней Пушкина тут. И не такой уж дальний, если он сам о себе написал: «Потомок негров безобразный...»

Смотришь на эфиопов, и начинает казаться, что некоторые лица и впрямь что-то пушкинское в себе имеют. Главная же площадь Адис-Абебы стадион напоминает по количеству бегающих по ней кругами, тренирующихся людей. Оно и понятно: стайеры – мировая слава Эфиопии. И Пушкин этому был близок, проходя десятки километров от Петербурга до Царского села. Может, и бегал бы, да не принято тогда это было.

Удивительна и главная еда эфиопов, самая, может быть, простая в мире: листья пальм, испеченные на углях. И тут Пушкин вспоминается, больше всего любивший испеченный картофель: проще некуда для его социального положения.

В географическом атласе отмечено, что Эфиопия беднейшая по доходам на душу населения, страна мира. Даже огорчился на миг за Пушкина, прочитав такое, а потом подумал, что он и этому был не чужд. Вещи в конце жизни в ломбард закладывал, а это уж крайняя нужда...

* * *

Тайна человеческого взгляда велика есть. Вход в космос человеческий, и манит он, и страшит одновременно. Если даже в глаза любимого человека смотреть, то все равно жутковато порой бывает от глубины и догадки, что она бездонна.

Поразительна смена выражения глаз, и непонятно, от чего она зависит. Не от общего же выражения лица, потому что можно увидеть злые глаза на лице улыбающемся и добрые — на злом. И чувствуешь, и веришь, что душа таинственной, божественной силой создает на прямую и выражение глаз, и его перемену.

* * *

Есть в «Войне и мире» Толстого эпизод, когда Пьер стоит перед маршалом Даву и тот решает его судьбу. Их глаза встречаются, и служебный, армейский взгляд Даву делается вдруг просто человеческим. И эта перемена спасает Пьеру жизнь.

Да и вообще в служебных, армейских, чиновничьих делах, «человеческий» взгляд нежелателен, а то и просто нетерпим, потому что условность этих дел сбивает и запутывает. Описан не раз крик офицера на солдата в 19-ом веке: «Как смотришь?!» Смысл в том, что глаза у солдата оказались не оловянно-служебные, а человеческие. Но ведь тогда и обращаться с ним надо по-человечески, что гораздо трудней и сложнее.

* * *

Не перестаю удивляться обилию птиц на нашей окраине, ни в поле, ни в лесу никогда такого не видывал. А причина проста — граница между городом и вольной природой у нас тут проходит.

Самое это богатое во всех смыслах место — граница. Не только для птиц, но и для людей тоже. И живут они охотнее и гуще всего на границах суши и воды, леса и степи, гор и равнин. Даже в окрестностях вулканов действующих — на границе коры земной и лавы огненной. И в науке богатство зон пограничных заметно, чаще всего открытия совершаются именно в их пределах.

Пограничье между верой и неверием тоже большие возможности дает. Проходя его, человек многое может сделать как бы попутно, в литературе и искусстве особенно.

* * *

К работе подталкивают, понуждают две причины, переплетенные тесно и прихотливо. Первая и вполне негативная — тоска, которая непременно наваливается без работы. Ни места себе не найдешь, ни заняться чем-нибудь посторонним толком не можешь. Плохо и плохо. И опять плохо... И знаешь при этом, что хорошо станет, только если работать начнешь и она пойдет, работа. А замысла, затравки живой у тебя нет, если же придумывать начнешь, то придумки эти такой мертвячиной окажутся, что станет еще хуже. Длится эта полоса тоскливая и длится, и кажется уже, что не будет ей конца. Но он приходит-таки в виде точки некоей живой и теплой, неведь откуда взявшейся. То человек там мелькнет, то событие житейское, а то и просто белое на веревке под сильным ветром... Вот это и есть начало, выход из тоски. Дальше уже вторая причина для работы идет, вполне позитивная: желание написать про только что мелькнувшее, острое до мурашек по коже. Потом картинки воображе-

ния пойдут, сбегаящиеся, как на магнит, а там и фраза первая, вторая... А дальше и совсем хорошо тебе станет, если «точка» оказалась истинно живой, не обманной. Временами текст как под диктовку пишется, а кто диктует, не знаешь, да и знать не надо...

Когда же начинается просматриваться конец работы, то первое, слабенькое пока совсем, беспокойство возникает: вот напишется эта вещь-вещица, а дальше что? Опять тоска зеленая? Нет уж, надо что-то заготовить наперед, подстраховаться...

Вот и идут такие циклы, то короче, то длиннее, всю, в сущности, жизнь, и ты к ним прикован, как к галерному веслу. То плохо тебе, то хорошо, то опять плохо. И не бросить все это никак...

На белье под ветром долго смотрел, не мог оторваться. Особенно простыни зачаровывали: вытягивались параллельно земле, а потом и к небу разворачивались круто. Этим, конечно, и зачаровывали, судьбу человека напоминая: потреплетса, помается он на ветру времени, подержится в меру сил, да и улетит.

Известные многим строчки Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», — и к прозе отнести можно. И там из мелочей-пустяков нечто важное вдруг вырастает. Ромеднос Прекрасная из «Ста лет одиночества» Маркеса, вознесшаяся на небо на перкалевых простынях; девочка, взбирающаяся на дерево в измазанных сзади землей штанишках и сыгравшая важную роль в замысле «Шума и ярости» Фолкнера; «породистые» завитки волос на затылке дочери Пушкина, увиденные Толстым и помогшие ему образ Анны Карениной представить.

Да и вообще «сора» для художника, писателя, композитора, может быть, и нет, как нет для химика «нечистых» веществ. Есть лишь «детали» мира до самых мелких, и каждую можно в работе использовать.

Видел как-то небольшую картину: зеленая трава на фоне голубого неба, а в центре окур, написанный сильно и едко. Впечатляет картина, а что в ней? Окур, сор? В бытовом смысле, конечно, а в художественном — герой главный, резко отрицательный...

* * *

Лет пять назад, в жестокий криз гипертонический, захватил с собой в больницу «Евгения Онегина». Начал читать, когда в суть текста не был способен толком вникнуть, но хорошо помню наслаждение почти физическое: строфы взлетают, летят, и ты летишь вместе с ними.

А на днях перечитал «Онегина» в очередной раз и сразу вслед лекцию Валентина Непомнящего «Евгений Онегин» как «проблемный роман». Про роман, что и говорить, но ведь и лекция совершенно чудесная в своей простоте и глубине! Дай Бог Валентину Семеновичу пожить и поработать подольше. Великий пушкинист, и будет ли ему на этом ответственнейшем национальном посту смена?

Пушкин создавал образ Татьяны, как некий идеал девушки-женщины, да так в тексте и сказано: «Татьяны милый идеал». А что было бы, если бы она пошла за Онегиным? Крушение идеала и национальная катастрофа. Россия стала бы чуть другой, хуже. И великие стихи и песни о любви и верности во время войны не были бы, возможно, написаны, и не выиграна, быть может, даже и сама война...

Есть ли в нашей литературе мужской идеальный образ? Разве что Григорий Мелехов из «Тихого Дона» к этому приближается, при всех его грехах.

* * *

Две фразы, каждая по-своему, изменившие мир: «Заповедь новую даю вам – да любите друг друга». И «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». В одну сторону обе направлены, к устройению счастья людей, только способы оказались разные. В первом случае свободный выбор, а во втором – принуждение, вплоть до уничтожения сопротивляющихся.

И как точно, глубоко, исчерпывающе прямо-таки, сказано: «призрак». В одном этом слове все последующее видится: попытки воплотить «призрак» упорнейшие, а в конечном счете, бесплодные. И страшные неизбежно.

* * *

Попалась как-то запись в дневнике немецкого офицера-врача о том, что среди наших, угоняемых в Германию, девушек, подавляющее большинство девственниц. Запись сделана с удивлением и даже с тревогой за конечный результат войны. Странная на первый взгляд тревога, но потом вдруг и понятная. Ждут девушки возвращения своих парней-женихов да, глядишь, и дождутся с победой.

Вот тут и вспомнишь «нет» Татьяны Онегину и подумаешь, что женская верность силу народа укрепляет и в мирную пору и в войну.

* * *

Путь христианина и, особенно, монаха, – борьба с гордыней, со страстями, с суетностью житейской и многим, многим еще. Если она успешна, то человек все чаще и все дольше осознает себя перед Богом и с Богом. Нечто похожее дает человеку старость. Сама по себе: гаснут страсти, смиряется неизбежно гордыня, отодвигаются заботы мирские...

И оказывается старик, даже и невольно, перед Богом. Или, если он атеист, перед исчезновением полным. Говорят, что на фронте атеистов не бывает, но, может быть, их не бывает и в глубокой старости? Смертные ведь в обоих случаях рубежи. Вся жизнь человека к Богу путь, а в старости путь этот все определеннее, все прямее и короче и потому приход к цели все неизбежней. Какой ты ни будь атеист, а перед смертью Бога вспомнишь, попросишь помочь и поддержать...

* * *

Перед отправлением автобуса в Смоленск пошел с внуком и его женой погулять – постоять на железнодорожном мосту. Было два таких у меня в Курске и Воронеже: особенное совершенно место. Высота, рельсы внизу блестят, как перепутанные струны, огоньки красные, зеленые, синие и вагоны, вагоны...

И постройки станционные грубые, тяжелые, старинные. Хорошее место, о путях-дорогах говорит и их показывает. Вот по этим рельсам блестящим полмира с пересадками объехать можно, всю Евроазию, по крайней мере.

Взгляд обновляется высотой, и так приятно видеть среди станционного железа домик аккуратнейший, игрушечный прямо-таки и две зеленых, высоких свечи можжевельных по его сторонам. Что-то южное в этом есть, курортное...

У начала пригородной платформы памятник паровозу: серия О.В., «овечка» маневровая. И надпись на памятнике хорошая, запомнившаяся: «Труд твой тяжел, путь твой славен».

Много пришлось помяться на железнодорожных наших путях сообщения, но даже эта вспоминается тепло, нежно почти. Было в ней что-то нужное, необходимое для души, как витамины для тела. Эти пути, эти рельсы к земле нашей огромной словно бы пришивали нас накрепко...

А вон громадные окна ресторана вокзального светятся, с которым, уж конечно, многое связано. А перед ними перрон, с которого сын шесть лет в Смоленск ездил и хорошо об этом написал в книге «Дороги».

Гуляем-стоим мы на мосту как-то странновато. Внук с женой Соней меня сторонятся, а я их. Но ведь и понятно: они больше вперед смотрят, а я назад. У каждого свое.

На автобусной остановке большинство молодых и одеты они, на мой взгляд, не по погоде: слишком легко. На одной девице уж совсем что-то непонятное, то ли пальто тонкое, то ли платье толстое. Внешней среды они, похоже, меньше опасаются, чем мы когда-то...

* * *

Приходилось писать и на самой плохой, и на самой лучшей по качеству бумаге: плотной, блестящей, с синеватым отливом. И вот эта, лучшая, оказывалась самой неприятной, отталкивающей, прямо-таки чуждой, вот именно. Нечто похожее и с жильем бывает. Если дом огромный, роскошный, то ведь и он воспринимается как чуждый, и никак ему твоим, родным не стать. Будешь жить, как в гостях.

Кинорежиссер Тарковский сказал в интервью по поводу недавно полученной квартиры, что она, конечно, прекрасная, но ему ее никогда не полюбить. А любил он, судя по фильмам, бедность, скудность и затрапез. Из военного детства набор...

Случается подобное и в семье. Лежал как-то на Коктебельском пляже рядом с пожилым поэтом, и к нам молодая, крупная красавица, жена его, подходила. Он и сказал с тоскливой неприязнью: «Ну, куда мне такой дворец...»

* * *

Разница между обычным, повседневно-житейским состоянием и состоянием рабочим очень велика и трудно преодолима. Это как дверь тяжеленную, тугую, никак не поддающуюся, наконец-то открыть и шагнуть за порог. Куда? А вот туда, в рабочее состояние, вдохновением по-старинному, именуемое. Пушкин в одном случае назвал его «дрянью», а в другом «священной жертвой». Вот и присоединяйся, куда хочешь, к суждению гения или при своем «рабочем состоянии» останься.

Если удалось-таки в него, состояние это, войти сколько-то раз и написать что-то законченное и удачное, то потом, перечитывая, искренне удивляться начинаешь тому, что это именно ты написал: слишком получилось хорошо для такого остолопа...

* * *

Пушкин видел задачу поэзии в стремлении к идеалу и осуществлял это неуклонно. Сами пороки даны у него в некоем высоком, «идеальном» выражении и потому часто не вызывают у читателя обычного возмущения, протеста, брезгливости, но даже сочувствие рождает порой. Вот скупой рыцарь, который наслаждается не богатством, а лишь идеей, потенцией его; вот завистник Сальери, который к небу, к Богу самому обращается с упреком в не-

справедливости; вот развратник Дон Гуан, вдруг оказавшийся способным на истинную, самоотверженную, любовь...

Все грешники большие, но ведь не хочется ни отвернуться, ни бросить камень. Это люди, но ведь и чума, бич Господень, возводится у Пушкина в «царицу грозную» и удостоивается гимна. А значит, гимна достойно все творение Божье, все, что ни есть в нем... милое.

* * *

Зачал старинушка покряхтывать,
Зачал старинушка покашливать,
Пора старинушке под холстинушку,
Под холстинушку да в могилушку.

Толстой записал эти народные стихи в дневник и восхитился их картинностью, трогательностью и серьезностью. Но ведь есть в них еще и что-то милое и, даже странно сказать, притягательное. Прочитаешь и захочется, хотя бы на миг, и под «холстинушку», и в «могилушку».

А еще и на кладбище сельском, уютном в хорошую погоду, тоже вдруг этого захочется: и не на миг, а гораздо дольше...

* * *

Умер Валентин Распутин... Большое горе: и личное, и общее. Редчайший был человек, начиная с внешнего облика, манеры держаться и говорить, глубоко народной и глубоко интеллигентной одновременно. Если кто-нибудь его книг не читал, а видел и слышал впервые, то вполне мог подумать: вот этот скажет только правду. Он ее и говорил.

А в прозе его беспримерное соединение коренного, земного с высшим, небесным. Как пальцы рук переплетенные – не разделить.

Когда живет в одно с тобой время великий писатель, то чувствуешь, пусть и полусознательно, некую крышу над собой и над всеми. Уж он-то увидит в трудную минуту самое главное, самое нужное и подскажет, как быть. А если он уходит, то все сиротеют вдруг, независимо от возраста. Шолохов, Твардовский, Белов... Сострадальцы, печальники, защитники народные. А теперь вот и Распутин нас оставил и надо жить одним, без него. Но ведь и остался он с нами: в книгах, где и боль его за народ, и дела, и мысли. И даже мы там вписаны и существуем с ним, автором, вместе.

На церемонии прощанья было видно, что люди чувствуют сердцем огромность потери, что Валентин Григорьевич многие годы был не только великим русским писателем, но и душой, и совестью России.

* * *

Неожиданно для себя стал приносить с утренней прогулки с собакой цветы попутные. Что-то старческое есть в этом, как предчувствие скорой с ними разлуки. Можно так, как принес в кулаке, в вазу их поставить, и выглядит это приятно и естественно, словно самого поля кусочек. Но можно и перебрать цветы, сделать нечто вроде букета и, странно, некий отпечаток тебя самого в нем замечается. Тебя вообще и твоего настроения-состояния в частности.

То кривой, асимметричный букет выходит, то уравновешенный вполне. А самые лучшие, редкие букеты некую середину занимают между этими двумя крайностями: неустойчивого равновесия, готового нарушиться вот-вот. Саму жизнь, принцип ее они этим напоминают: держись, но и исчезнуть будь готов.

* * *

Сорок восемь лет прожил Толстой с женой, и все это время понять старался, какая она и почему такая, как есть? А к концу совместной жизни записал в дневнике по-народному, с поразительной, признающей тщетность своих долгих усилий, простотой: такой уж ее мать родила. Прочитаешь это да и улыбнешься невольно. Где уж нам, грешным, друг в друге разобраться, если сам Толстой не смог. Человек тайна есть, так сказано. И до конца не разгадать ее никому и никогда.

Перед уходом из дома, когда отношения с женой стали совсем уж невыносимыми, Толстой ежедневно почти ездил верхом по сырым, скользким и опасным ноябрьским дорогам. Сопровождавший его постоянно Маковицкий отмечает какую-то особенную рискованность его езды: через буераки, овраги, ручьи, почти не снижая скорость. Почему так? Может, падения с лошади и последующей смерти искал подсознательно, чтобы хоть так разрубить семейный мучительный узел, если уж развязать его не получалось? Да и сам уход был, в сущности, в смерть, и он понимал это скорей всего...

* * *

«Лишь бы не было войны» — семьдесят уже лет это главное пожелание народное. Но теперь, когда ею вновь запахло, никто за солью и спичками, вроде бы, не бежит. И потому, что людей, вполне испытанных на себе, что такое «большая война», осталось уже немного, и потому, что все понимают, что по-настоящему долгой, до острой нехватки той же соли, современная война быть не может. Чудовищная сила оружия ее резко укоротит...

* * *

«Но поражений от победы ты сам не должен отличать». Не раз в жизни вспоминалась в трудные минуты эта пастернаковская строка: и помогала. А суть в том, что крайне трудно, а то и невозможно бывает порой понять, что это у тебя произошло: поражение или победа? Ошибиться можно, имея в виду дальнюю перспективу. Победа бывает чревата поражением, а в поражении хранится иногда зерно победы. Вот и не путайся в этих туманных оценках и гни свою линию до конца. И суждения со стороны поменьше слушай.

* * *

Хорошо, удачно поставленные в вазу цветы и ветки притягивают взгляд, хочется смотреть снова и снова, словно некую тайну тянет разгадать. Что-то в них от тайны жизни самой есть: напряженное равновесие с угрозой его потери.

* * *

Существовал в советской нашей жизни 60-х, 70-х годов некий особенный уют. Где бы ты ни оказался, везде был, как дома. Народ — семья, так, примерно.

Мы с приятелем, студенты-медики, проходили практику в городе Грязи, самым Петром Великим, по легенде, так названном. Проснулись в первое там утро и ни одежонки своей, ни чемоданчиков-баульчиков не обнаружили. Остались на свете, как спали, в майках и трусах. Приодели нас быстренько – кто что принес. Мне достались грязно-белые штаны размера на три больше и синяя футболка-подергущка, куцая и тесная. Чарли-чаплинский такой получился прикид, даже мило показалось, когда это заметил.

Жили потом всю практику в недостроенной поликлинике, с кроватями, стоящими на голой щебенке. Кормились при кухне, вскрывали покойников (патанатом был в отпуске), с оплатой сразу на руки, курили махорку, читали «Феноменологию духа» Гегеля, которую мой приятель притащил из городской библиотеки. Как сейчас вижу – идет навстречу со здоровенной книгой под мышкой, словно Буратино с букварем. Да еще две наших студентки, припоздавшие, к нам вскоре присоединились. Одну из них звали Евдокия, Евдоха, если по-свойски... Съездили и в Воронеж за стипендией на крыше вагонной, и это была самая, может, приятная поездка в жизни... И много еще чего в этих Грязях было интересного, и вот именно, что домашнего, уютного. Да и само ограбление было каким-то не вполне настоящим, вроде шутки дурацкой. Тоже уютное почти... И документы нам вернули, в больницу подкинули, как водилось в ту пору. Хорошо, если водится и теперь...

* * *

«Привычка свыше нам дана, замена счастию она». От одного прочтения пушкинских этих строк, кажется, что жизнь уже чуть полегче стала. Привычка так уж знакома и мила, что, кажется, готов на нее променять счастье это туманное и все недостижимое. Она, привычка, усиливает жизненное уж если не снимает, то уменьшает резко и этим притягательна и приятна. Выбора, который всегда тяжел, не надо делать: поступай по привычке, только и всего. Одно опасно: уйдешь так глубоко в колею привычки, что можешь и не выбраться потом. Все будет привычно настолько, что жизнь может стать почти незаметной. Да, но ведь именно этим счастьем и заменяется в конечном счете: незаметностью по привычке. Бремя жизни, выбор этот самый бесконечный, если уж не снимается, то облегчается сильно. А мы и рады, так, что ли?

Не раз о близости и взаимозаменяемости счастья и привычки писали. Вот Шатобриан: «Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я искал бы его в привычке». Какая близость к Пушкину, но ведь и разница какая! У Пушкина привычка замена счастьем, а у Шатобриана счастье, может быть, в ней же, привычке, и есть.

А еще и возраст играет тут большую роль. Молодым подавай только счастье, а люди пожившие устанут от его поисков и уходят волей-неволей в привычку. И есть в этом горький привкус поражения...

* * *

«Работай и молись, и жизнь твоя пройдет незаметно», – совет какого-то католического богослова. Очень близко к написанному о привычке: в незаметности жизни, хотя и при других условиях. К этой «незаметности» еще и счастье близко стоит по известному выражению, что счастливые часов не наблюдают... Так хороша ли она, эта незаметность, или плоха? Не могу твердо ответить. И то, и другое вместе...

* * *

Прекрасный прозаик Владимир Богатырев сказал как-то, что в писательстве своем поставил точку и занят теперь лишь «молитвенным трудом». Оставил труд «низший» и перешел к «высшему» труду. Сложно такой переход понять. Ведь истинное художество угодно Богу и может потому до него доходить, как молитва. Скорей всего душа писателя не захотела больше писать-сочинять, а захотела лишь молиться. Но ведь и на эту перемену, в конечном счете, воля Божья должна быть...

* * *

Гаснущий костер перед тем, как окончательно погаснуть, вспыхивает иногда особенно ярко. И у людей творческих похожее случается, когда создают они, в старости уже, лучшие свои венцы. Толстой с «Хаджи-Муратом», Томас Манн с «Доктором Фаустом», Фет с «Вечерними огнями»... И еще и еще можно вспоминать. Вот откуда удивительное это сближение костров с людьми? От самых глубинных и общих законов и связей всего со всем, так, возможно. И любовь последнюю, позднюю можно, пожалуй, сюда же включить, которая бывает иногда сильнее всех предыдущих.

* * *

Посмотрел на буйно цветущую в саду вишню и вдруг подумал о ее корнях. Какая разница непреодолимая, кажется, но и какое единство неразрывное и цветов, и корней. Словно символ любви небесной (цветы) и любви земной (корни). Ни цветам без корней, ни корням без цветов не быть, не жить. В людской любви тоже существует и часть земная, и часть небесная, но как же мучительно и сложно они перепутаны. Не совладать с этим, не разобраться, а все-таки усилие такое делать необходимо, чтобы не спутать, по крайней мере, цветы с корнями...

* * *

Зачаровывает при долгом взгляде то, что, беспрерывно двигаясь, меняясь, в то же время остается, в самой своей сути, неизменным: бегущая вода реки, волны моря, кроны деревьев под ветром... В этом угадывается некая возможность идеала для души человеческой: и движение, и покой одновременно. Вот душа и замирает, очарованная этим идеалом.

* * *

В очередной раз попытался прочитать «Аду» Набокова и опять не смог, просмотрел только: непреодолимая мертвечина текста, литературная игра намеков, сопоставлений и цитат, вполне понятная, похоже, лишь автору... Не верится даже, что «Защиту Лужина», и «Дар», и «Лолиту» написал тот же человек. А последняя страница романа совсем уж добивает: откровенно рекламный текст, этот самый роман восхваляющий. Даже неудачей творческой «Аду» трудно назвать, скорее падением писателя и человека.

«Отвяжись, я тебя умоляю...» — начало Набоковского стихотворения, обращенного к России. Вот и подумаешь, не во время ли писания «Ады» Россия, наконец, его мольбу выполнила. И сорвался он, как с якоря, и улетел в пустоту.

* * *

Толстой, уходя из дома, в сущности, в никуда, взял-таки с собой недописанную статью. Да и как иначе? Работа – главная после Бога опора для человека, за нее и держись до конца. И тут все, любящие свое дело, равны, от великого художника до крестьянина простого. Глеб Успенский в очерке «Власть земли» вспоминает о старике, стоящем на краю могилы, который с плачущими нотами в голосе говорил, что овес у него был крестецкий, тяжелый-пре-тяжелый, и что, как примутся бабы до света жать, что огнем палят! Так говорил, как могла бы говорить и состарившаяся Сара Бернар о своей лучшей роли.

Проход «Бессмертного полка» на праздновании 70-ти летия окончания нашей Великой войны и Победы был вершиной праздника, горьким и величественным чудом, которое можно повторить, но нельзя превзойти.

Дети же войны с их воспоминаниями будут последними, кто удерживают войну в ЖИВОМ еще виде. Уйдут они, и лишь тогда война станет историей в полном ее смысле. А мне даже и записать удалось, что помню: немец на рыжей лошади, выхвативший меня из рук матушки, ствол зенитки за окном хаты...

«Бессмертный полк» же сможет проходить в нужный день, пока будет существовать Россия. Только фотографии павших будут нести не дети и внуки, а правнуки...

* * *

Город Тим крутой горою
Словно в небо уходил,
Возвышаясь над рекою,
Словно крепость Измаил.

Это первый куплет песни про родной мой Тим, в войну сложенной и поющей до сих пор. Легко догадаться, какая заваруха была при взятии этой «крепости» неоднократно. И склоны горы нашей крутой были густо покрыты шрамами окопов и воронок. И жили мы, пацаны тогдашние, среди снарядов и мин неразорвавшихся, среди патронов, тола, пороха... И калечились всем этим, и гибли. Дружок мой Толик подорвался, сидя на снаряде и ковыряясь в нем. Хоронить нечего было...

А потом, после школы, жил и учился в Воронеже, который был в войну разрушен почти, как Сталинград: линия фронта через город больше года проходила. Теперь же полвека живу на окраине Калуги, у оврага, где бомбовых воронок гораздо больше, чем на тимской нашей горе, одна на одну наезжает буквально. Склад тут рядом был большой, артиллерийский, ну и бомбили его гуще некуда...

Что ж, судьба у меня, что ли, такая была, чтобы жизнь прожить в таких местах особенных? Нет, война такая была, что доставала всех, так или иначе.

В байдарочном походе по нашей прекрасной реке Воре можно раз за разом заходить в прибрежный лес за дровами и видеть одно и то же: окопы, окопы и много колючей проволоки, то нашей, то немецкой. Присматриваешься и узнаешь: вот наша, полуистлевшая, а вот немецкая, гораздо сохранней, да еще и граненая, чтоб колючки на ней не крутились. И это больно царапает по сердцу смутной и непонятной какой-то виной...

Там же, на Воре, видел одинокую могилу – холмик, едва заметный, крест и каска проржавевшая рядом. Похоже, нашел кто-то останки солдатские случайно, да и похоронил. Хорошее место, высокое. Луг видно, реку и лес на том берегу...

* * *

Герб родного моего Тима: коса, ружье и соловей, в ряд, наискосок. Лучший из всех, какие видел. Все главное тут есть: орудие труда, важнейшее когда-то, орудие защиты и охоты, да еще и соловей, как символ поэзии природы. Пусть я пристрастен в оценке, но ведь и впрямь чудесно: ни убавить, ни прибавить.

* * *

«Не трогай того, что лежит спокойно», – такая мудрость глубокая. Относится она и к делам важнейшим, государственным, общечеловеческим даже, и к самым простым, житейским. «Легит спокойно», значит уравновешено и в самом себе и в мире окружающем. Вот и не трогай его, не нарушай равновесия, иначе эффект снежной лавины можешь получить и под ней оказаться.

Перемены в мире решительно во всем такую набирают скорость, что консервативное, сдерживающее начало должно играть все большую роль, иначе костей скоро можно не собрать. «Столкновение с будущим», – читал когда-то такую книгу, содержание которой вполне видно в заголовке. Самое же опасное в быстро растущем разрыве между громадной уже сейчас мощностью науки и техники и падающей нравственностью людской. Вот эти «ножницы» могут, в конце концов, человечество поперек и перерезать.

* * *

В давние времена услышал рассказ о том, что есть в Костромской области член Союза писателей СССР, работающий пастухом в колхозе. Даже и стишок его был прочитан: «Я, бывало, ледом-ледом, леда нету, я водой. Я, бывало, крикну: «Нюрка! Нюрки нет, и я домой». Тридцать с лишним лет прошло, но я стишок этот все помню.

Хороший стишок: и Нюрка, и ухажер ее, и автор в четырех строчках. Живет поэзия, как и дух, где хочет...

А вот четыре строчки Николая Панченко: «Была у атамана булава, а у Ивана была голова. Остался атаман без булавы, а Иван остался без головы». Ведь чудо по объему и по глубине! Или частушка, которой восхищался Твардовский: «С кем гуляла, с кем ходила, одного тебя любила». Две всего строчки и целая жизнь...

* * *

Гулял звездным вечером с другом, философом Катагощиным, и показал в небо: «Вон, планета какая-то, похоже...» Он и ответил: «Это не планета, это звездочка Божья». И не понять было, то ли в шутку так сказал, то ли всерьез? Пустяк, вроде бы, но ведь подействовало, раз в памяти застряло. Да и не пустяк. Если так мир окружающий видеть, то все в нем Божье и прекрасное потому...

* * *

Фильм франко-германский: супруги, жизнь очень долгую прожившие. Одиночество вдвоем, хвори, забота друг о друге. А потом болезнь ее тяжелейшая, смертельная, с болями нестерпимыми. Она умоляет его помочь ей умереть, и он это делает, в конце концов, подушкой. И вскоре умирает сам.

Все в фильме показано просто, прямо, с реальностью беспощадной. Тяжело очень смотреть, но помогает некий свет, идущий из самой-самой глубины. Свет любви. Фильм и называется: «Любовь». Посмотрев, подумал, что создатели фильма достойны самой большой награды – за свет любви, найденный во мраке. А потом узнал с большим удовлетворением, что они ее и получили: Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

* * *

Если остановить внимание на чем-нибудь обыденном, примелькавшемся: дереве во дворе, сарайчике дворовом, заборе, трубе котельной с дымом из нее, то это становится все интереснее, значительнее, красивей даже. И непонятно: то ли ты это, наконец-то, рассмотрел, то ли оно в тебе самом создано-возникло. Во всяком случае, время, потраченное на внимание к миру, никогда не пропадает зря. И с людьми так же. Кажется, ну, скучен человек, сер, глуп, а присмотришься: все равно интересен даже и глупостью своей. Поймешь вдруг, что она, глупость, ему жить-выживать помогает, очевидно, да и серость маскировочная тоже. Так, может, это не глупость и не серость, а нечто иное совсем, если поглубже копнуть?

Да и самое-самое примитивное поражает. Вот живет себе какая-нибудь инфузория-туфелька миллионы лет и главную задачу всего живого: род продолжить, – блестяще выполняет. А мы, «венец» эволюции, с разумом своим высоким, глядишь, сами себя и угробим...

* * *

Говорят, все люди талантливы. Может быть, в молодости и так. А потом куда-то деваются эти таланты с годами у подавляющего большинства. У кого-то затираются чепухой-бытовой, а кто-то полусознанно сам их отодвигает в сторону или даже придушивает. А потому что трудно с талантом, своей реализации требующим, по морю житейскому плыть-выплывать, утонуть можно. Вот и выбрасывают его, как лишний груз. Игра на понимание, так это я про себя называю. Очень немногим удастся выдержать бремя таланта и, тем более, хлеб насыщенный от него иметь.

Появление художественного гения масштаба Толстого или Достоевского вряд ли в настоящее время возможно. Ребенок с такими задатками родиться, разумеется, может, но развить их в полной мере ему будет не дано, обстоятельства современной жизни не позволят. Слишком быстро в ней все меняется, не течет она уже, а мелькает, как стекляшки в калейдоскопе. Набор информации, в основном негативной, огромен, засыпает прямо-таки людей с головой. Чтобы из раствора выпал кристалл, тот должен быть в покое. Если же постоянно трясти его, то кристалл никогда не выпадет. Вот и современная жизнь слишком «трясая» для того, чтобы из нее смог выпасть «кристалл» великого гения. «Растрясет» его по дороге, скорей всего.

* * *

Есть где-то у Достоевского, что ад это неспособность любить. Ну, а рай, соответственно, высшая к этому способность, и «пребывающий в любви пребывает в Боге», — по слову апостола. Такому и вера не нужна, потому что он достиг уже цели.

* * *

В любви к России, стране мучительно тяжелой, трагической, ужасной даже порой, есть некая тайна. У Блока она чуть приоткрывается: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви...». И у Бунина в беспощадной его «Деревне», все равно проступает из глубины все та же любовь.

Теперешнюю Россию любить еще трудней, чем тогдашнюю, но ведь можно, несмотря ни на что. Шествие «Бессмертного полка» такое вдруг показало. Великой жертвой, великой кровью эта любовь выкуплена и будет жить, пока жива Россия. Говорят — вспышка патриотизма. Что ж, значит, есть чему вспыхнуть. И будет вспыхивать и даже гореть, когда нужно...

* * *

Самое крупное разделение людей по складу личности: надвое. Экстраверты и интроверты, художники и мыслители, практики и мечтатели, оптимисты и пессимисты... А еще в этом двойном ряду есть люди любви и люди ненависти. Первые тяготеют к Богу, а вторые к дьяволу. Особенности того или иного времени призывают и побуждают к активному действию то первых, то вторых. Двадцатый век особенно явно призывал и побуждал людей ненависти, а люди любви защищались, пересиливая, в конце концов, с огромными жертвами и трудом. Что-то покажет век 21-й? Главная его опасность и тревога...

* * *

Случается иногда, сильно отстающее по времени, внезапное понимание своей любви или ненависти к людям конкретным, к профессии, к месту жительства... Вдруг чувствует человек: люблю! Или ненавижу! В момент разлук или встреч чаще всего такое случается. Время освобождает суть от застилающих взгляд мелочей и человек понимает внезапно: вот так! А я и не знал... Всего чаще с людьми это бывает, особенно с женщинами.

* * *

«Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом», — Пушкин написал. А ведь лучшего положения, чем он, ни один поэт в России в последующем и не имел, пожалуй. Императоры, оба, его берегли, а то и помогали. Александр за оду «Вольность» со строфой: «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу. Твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу», всего-навсего направил его служить на юг, в Кишинев, подальше от Петербурга. Не в ссылку направил, как часто пишут, а именно на службу. Николай на дружескую близость его ко многим декабристам посмотрел сквозь пальцы, за «Гавриладию» простил, получив от него личное, объяснительное письмо. На службу историографом взял с жалованьем немалым, денег ссудил на печатание «Истории Пугачева»...

Это с высшей властью дела, но ведь и зарабатывал Александр Сергеевич, как никто из поэтов потом. По золотому за «стих», стихотворную строчку, то есть, иногда получал...

На рождение же свое в России он посетовал скорей всего сгоряча, в минуту особенно горькую, которая накатила да и ушла...

* * *

В любом деле доля бремени есть. В любимом, твоём именно, его нести и терпеть не трудно, в чуждом же тяжело до невыносимости. Вот и нищи «свое» дело, не жалея времени и сил, чтобы не мучиться потом.

Есть бремя и в деле веры: «Иго Мое благо и бремя Мое легко». Бремя это для всех христиан одно-единое: жертвенная любовь.

* * *

На одной из икон «Сошествие Христа во ад» Христос поражает дьявола «копьем радости», – так обозначил иконописец. Поразительно! Самая суть, самый центр зла поражается самой сутью, самым центром добра и любви. Вот тут, может быть, и показана возможность покаяния и, в конечном счете, спасения самого дьявола, которое христианским богословием не исключается.

* * *

Включил настенную лампу, и ночная черная бабочка-бражник заметалась вокруг нее. Надо ловить, иначе спокойно не прочитаешь. Прижал, в конце концов, ее ладонью, отпустил, и она упала за спинку дивана в темноту. Легонько прижал, но пятнышко пыльцы на стене все-таки осталось. Больше бабочка не вылетела, о чем вдруг и пожалел. А на следующий день появилась: та самая, конечно. Отошла, отлежалась. Обрадовался, словно некий грех мне неожиданно простили. Тут и вспомнилось, что есть секта буддистов, члены которой дорожку перед собой подметают, чтобы какое-нибудь живое существо ненароком не раздавить...

* * *

Первый зазимок радует всегда, словно страница жизни исписанная, исчерканная, грязная перевернулась вдруг и перед тобой белая, чистая. Вот и пиши на ней что-нибудь новое совсем и очень хорошее. Только вот откуда взять его?

Или зима глубокая, долгая, тяжкая и вдруг день голубой, солнечный, нежный откуда-то выпрыгнул и чудится на миг – весна! И понимаешь тут же – нет, обманка. Так же и с самочувствием бывает. Проснешься – двадцать лет с костей! И тоже понимаешь вскоре: нет, обманка. Грустны, но ведь и хороши, и нужны обманки эти, пусть бы случались почаще...

* * *

Поэзия, поэтичность вообще в литературе, искусстве и жизни самой, есть, может быть, составляющая часть мироздания. И если убрать эту часть, то мир в чем-то существенном станет иным, хуже. Тут прямая связь с Богом Творцом, который переводится с древнегреческого как Бог – Поэт, и с Христом, который есть Бог – Слово.

* * *

«Мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин», – из Мандельштама. Читаешь и соглашаешься – да, сладко пахнет, да, белый. А в реальном керосине не найдешь ни того, ни другого. Так откуда же согласие при чтении? Тайна. Много таких тайн в поэзии и даже в прозе. Прочитаешь в «Хаджи-Мурате» Толстого про «наглые маргаритки» и примешь это вполне, а согласишься на них живых – маленькие, беленькие, скромненькие... Магия слова тут работает, когда оно оказывается творцом и началом реальности. Как и сказано в Евангелие от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

* * *

Сидят на лавочке две знакомые старушки, мирно и долго беседуют. Одна в прошлом начальница, а вторая ее подчиненная из самых незначительных. Никогда бы им так не сойтись, старость свела. Любовь же и смерть вообще всех людей уравнивает: маршала и солдата, царя и пастуха. Любовь еще и время сжимает до исчезновения почти.

«Я хочу тебя, а ты меня», – пять тысяч лет назад в Египте записка любовная написана, а как вчера...

* * *

«Посмотреть бы хоть одним глазком», – не раз слышал это общечеловеческое, уверен, желание. Трогательное, робкое: посмотреть «оттуда» «сюда». Как дети, внуки и правнуки живут, как вообще все. «Оттуда» никто никогда не вернулся, не рассказал, как «там». А вот «одним глазком», неужели нельзя будет «сюда» заглянуть? Не соглашается никак с такой невозможностью сердце и правильно делает...

* * *

У кубанских казаков, монахов, кстати, предков по отцу, было принято не ходить на людях рядом с женой. Она должна была отставать от мужа на некоторое расстояние: для того, чтобы видом пары семейной боль одиночества у вдов, на войне мужей потерявших, не беречь. Такая деликатность, о которой теперь и помыслить нельзя.

К тому же относится отчасти и смутный стыд, с которым я выходил в детстве на улицу в новых, к примеру, штанах. Нехорошо было выделяться из обычного уровня послевоенной нищеты всеобщей: теперь только это понял...

* * *

Фильм Александра Сокурова «Растрепович и Вишневецкая. Элегия жизни». По ходу фильма периодически показывается торжество по поводу золотой их свадьбы. Роскошь, лакеи в париках, белых перчатках и шитых кафтанах. За главным круглым столом в центре зала виновники торжества, Ельцин с женой, министр культуры, а остальные – короли, королевичи, принцы и принцессы всей Европы. Самый последний кадр фильма очень хорош и кое-что объясняет: лицо Вишневецкой крупно. Она хмуро, даже зло оглядывает застолье, словно не понимая толком, зачем все эти люди здесь, с ней рядом. Потом переводит взгляд в сторону и вдаль, к другим столам, и вдруг улыбается кому-то радостно и облегченно...

* * *

Большинство сотрудников хосписов уходят с такой работы довольно скоро, но некоторые остаются очень надолго. Призвание свое находят в том, чтобы помочь больным в их последние дни, часы и минуты. Тяжело это, конечно, но ведь что-то оно и дает, совершенно особенное. Присмотр и помощь людям в самом главном и таинственном, в переходе из жизни в смерть, из времени в вечность. Есть тут к чему припасть собственной душой, укрепить ее, очистить и возвысить...

* * *

Самое опасное для народа – потеря самоуважения. И это происходило в России постепенно, начиная с 90-х годов прошлого века. Лишь возвращение Крыма его, самоуважение, вернуло, хотя бы отчасти. Платить (в общем, широком смысле) приходится за это много, но тут никакая плата не велика, потому что окупится со временем сторицей.

Не менее страшна потеря самоуважения для каждого отдельного человека. А определяется его сохранность той гранью в душе, которая (в смысле уступок обстоятельствам) непереступима. Тут лучше умереть, но не отступить. У каждого эта грань своя, и уважающий себя человек всегда ее чувствует и знает, что на ней он станет насмерть. Когда-то такое называлось «пункт чести». Теперь это во внешней, социальной жизни размыто, потеряно почти и живет лишь в душе каждого отдельного человека (если живет, конечно). И людей, у которых этого чувства уже нет, становится все больше: тут одна из важнейших причин разложения и гибели стран и народов.

* * *

Для каждого, возможно, есть некая лучшая, идеальная даже, природа-погода. Для меня это родная лесостепь холмистая, река-речка, лета верхушка, сухой зной с ветерком, редкие белые облака на голубом небе... Живешь среди всего этого праздно и думаешь – вот так бы все и оставить навсегда, быть, как паучок в янтаре... И случилось похожее и длилось день за днем. Только вот не создан человек для райского такого блаженства, тяготить оно начинает исподволь, мало-помалу. И начинаешь полусознанно стремиться изменить его. Словно щепотка соли в этой сладости нужна, негатив некий, нарушение равновесия, к действию посыл. А еще и чувство тайной, глухой вины накапливается, тревожит, к перемене, пусть и к худшему, подталкивает. Ну, и сделаешь что-нибудь резкое, для самого себя неожиданное, да из райского своего состояния и выскочишь. И правильно: не по чину была честь! В трудовом поте лица обязан жить человек, а не блаженствовать в праздности...

* * *

В гениальном рассказе Андрея Платонова «Река Потудань» герой рассказа из-за духовной высоты и силы любви к своей подруге оказывается несостоятельным по отношению к ней как мужчина. А еще от двух знакомых слышал рассказы о том, что они не могли есть в присутствии своих любимых, кусок в горло не шел. Можно представить себе и монаха, который, забывая о еде за молитвой, падает в голодный обморок или даже умирает. Выходит из всего этого, что высшая степень любви к человеку или Богу мало совместима с жизнью земной и указывает путь к жизни небесной, уход в нее...

* * *

«Тоже хочу за ручку походить», – сказал когда-то бездетный приятель, встретив меня с маленьким сыном. С болью прямо-таки сказал. Руки, ручки... После лица ближе всего они к душе человеческой стоят. Взять за руку – первый самый жест любви, кто этого не помнит...

А потом, глядишь, и предлагают именно руку и сердце. Или, подтверждая верность и надежность в важном каком-нибудь деле, «ручаются» именно. И много еще есть похожего...

Лучшее же в теле человеческом, пожалуй, это изношенные, изуродованные тяжелой работой руки. Ну и лицо похожее, рабочее, старое. И глаза на нем: спокойные, потому что видели все, что дано, вообще, увидеть в жизни. Нет ничего прекраснее на свете лица, такого человеческого, глаз и рук.

* * *

Жалко хлеб. Стал есть его, как богатый: чуть-чуть, почти символически. А когда-то, да не так и давно, первая была еда...

* * *

«Не зрим ли каждый день гробов, седин дряхлеющей Вселенной». Даже не зная этих стихов, можно угадать по краткости и мощи – Державин. И какое сопоставление смелости редачайшей – Вселенная и какие-то наши гробы. До «седин Вселенной» их возвысил!

А Вселенная и впрямь «дряхлает», к тепловой смерти идет. Все материальное имеет свой конец и лишь духовное этого избегает:

«Улетит и погаснет ракета, потускнеют огней вороха, вечно светит лишь сердце поэта в целомудренной бездне стиха».

А это Заболоцкий, Державину в чем-то близкий.

* * *

Пришлось недавно увидеть наших местных художников в полном сборе. В большинстве пожилые и старые. Художники. Но лица какие у многих простецкие, рабоче-крестьянские, изношенные жизнью, трудом, а то и алкоголем. Милые такие барбосы. И самому захотелось иметь такое лицо. Да, пожалуй, и имею.

* * *

Есть некое соответствие живописной техники с той или иной писательской манерой, стилем. Один пишет как бы акварелью, другой маслом, третий пастелью... А иной, вообще, как график суровый. И с материалом скульпторов похожесть у писателей есть: то бронза, то гипс, то мрамор, то шамот... Все это мелкий, один из многих-многих, доводов к тому, что дерево искусства, художества из единого корня растет.

* * *

Всегда внутренне морщусь при виде здоровенных рваных дыр на джинсах девиц и парней. Что-то здесь оскорбительное есть для той нищеты, которая подобные дыры имеет из нужды, а не для забавы. Это как если бы сильно хромающего человека вдруг передразнивать кто-нибудь начал...

* * *

Услышал от сына фразу, где-то им вычитанную: «Ничего, умрем не хуже людей». Как хорошо! И забавно, и смешно, и мудро. Можно крупно написать и к стенке приклеить: для бодрости и утешения.

* * *

Видел прополку огромной клумбы в сквере. Четыре женщины работали и два старика. Напряженно, быстро, почти не разгибаясь. Оно и понятно – сдельщина. Но ведь еще и бодрость в работе этой нелегкой была, смех, шутки... Откуда? А от самой работы, от видимого результата ее: часть вычищенной клумбы растет на глазах, часть сорной уменьшается.

Можно оду написать простой работе, видам ее разным: все с тем же веселящим, бодрящим эффектом. В такой работе очень важно, чтобы результат – продукт – сразу виден был. А отодвигание, «отчуждение» от результата (Маркс это первый отметил), эффект интереса и радости от нее гасит вплоть до отвращения. Такой работы, без «отчуждения», становится все меньше, не престижна она, оплачивается плохо, но люди все равно, пусть и подсознательно, тоскуют по ней.

Прикинул вдруг «мою», самую милую мне «простую» работу. Любопытно вышло – скот пасти, коров особенно. Да и опыт небольшой есть – помогал когда-то пастуху-приятелю...

* * *

«Стихотворение – это поцелуй, который поэт дарит миру, но от поцелуев дети не рождаются», – Гете. Какая-то странная грусть есть в этой фразе. О чем? О том ли, что поэзия не способна реально влиять на мир вещей? Но ведь способна, если: «вначале было Слово».

* * *

Есть люди, слепые и глухие от рождения. Трудно, невозможно почти, представить, что в душах их, во тьме и беззвучии пребывающих. Дух Божий, что ж еще? Он и позволяет научиться их общаться с другими людьми, и читать, и писать. И не случайно, быть может, что именно в интернате, рядом с Троице-Сергиевой Лаврой расположенном, такого впервые в мире добились наши психологи и врачи. Чудо, явленное в святом месте.

* * *

Что нужно больше всего молодым, во взрослую жизнь вступающим? И родным и близким, и всем остальным тоже. Счастье, часть, доля. Свою долю получить, не оказаться обделенным на празднике жизни. А суть этой доли – любовь. К делу своему, к семье своей, ближним своим и дальним. Вокруг любви все создается и укрепляется, как жемчужина вокруг песчинки. А без этой песчинки, Богом дарованной, все рассыпается и теряет смысл. Сколько усилий ни прилагай, сколько ни обретай денег и власти, все разваливаться будет прямо под руками. Замысел порочен изначально и строительный раствор не держит, силы в нем нет. Той самой любви.

* * *

Есть у Ван Гога картины, на которых изображено что-нибудь самое неприглядное: то размокшая, грязнейшая осенняя дорога, небо непроглядно-серое, почти лежащее на земле; то стул дряхлый, на нем смятая бумажка со щепоткой табака... А смотришь и чувствуешь, как прекрасна и дорога, и стул, и бумажка. И стихи Пастернака вспоминаются: «О, Господи, как совершенны дела Твои», — думал больной. Кровати, и люди, и стены, ночь смерти и город ночной». Тоже набор, как и у Ван Гога, не из приятных: кровати, больницы, стены, ночь смерти... Но стихи-то прекрасные и все перечисленное тоже прекрасным, совершенным начинает представляться. Чудо истинное! А потому, что художник и поэт увидели не просто вещи земные, а именно созданные Творцом, которыми и сам Он был доволен, увидев, в конце творенья, что «это хорошо»...

* * *

Из разговора пожилых женщин у овощного ларька.

— Что ж арбуз-то не взяла? Смотри, дешевка какая!

— Не с кем его есть стало...

Вот она, та самая капля, в которой отражается жизнь.

«Отряд не заметил потери бойца...».

«Мы за ценой не постоим...».

Строчки из всем известных и очень хороших песен. И удивительно, как в них, невольно, скорей всего, для авторов, один из главных пороков большевистской идеологии сказался. Надо и «замечать», и «стоять», как бы это ни было трудно...

* * *

Подвизался недалеко от Калуги в дремучем лесу монах-отшельник Тихон (святой Тихон Калужский впоследствии). Жил в дупле дуба, питался тем, что Бог даст. Бывали у него, скорей всего, периоды резкого, временного ослабления веры, когда небеса делались вдруг опустевшими. Ужасное состояние, невыносимое почти. Как жить, как тяготу аскезы крайней терпеть? Одно, наверное, было спасение — молиться и молиться, оживления, укрепления веры упорно ожидая. И дождался, иначе б так долго в таких условиях не выдержать. Страшней всего, наверное, представлялась ему смерть в состоянии маловерия и преодолеть его было, как пустыню безводную перейти, до живой воды веры глубокой добраться...

Нечто похожее и с нами, людьми обычными, происходит время от времени в облегченной, стертой форме. И выход тут один, все тот же: молись, терпи и уповай...

* * *

Старый уже Бунин записал в дневнике, что всю жизнь сторонился цветов, опасаясь странной к ним привязанности. Непонятно, чего же тут, собственно, опасаться? От литературной работы его бы отвлекла такая привязанность, что ли? Но природу-то вообще он любил, как редкость, и несравненно ее описывал. Почему же именно перед цветами такой страх? Может, это похоже на то, как при большом и напряженном интересе к женщинам вообще, мужчина опасался бы страстно влюбиться в одну, конкретную. А это и тяжело, и мучительно, а то и смертельно опасно...

* * *

Цикличность — важнейшее в природе: и в космосе, и в литературе, и в жизни живой. Один из циклов — соединение старости с воспоминаниями детства, все большее их укрепление и рост. Образуется, замыкается круг жизни человеческой этим. А вещество, состав круга, как многомиллионный провод, и проявляется, вдруг, то одна прожилка, то другая. Так это и мелькает в памяти одно за другим: вот такая тропинка была и тогда: выпуклая, тугая; вот так луч косой, пыльный падал на пол; вот такая тоненькая девушка в белом шла когда-то навстречу... И это повторение-узнавание неизменно приятно, показывая снова и снова, что жизнь состоялась, совершилась уже. И чувствуешь нечто вроде долга выполненного, завершенность большой и долгой работы. А называется она — жизнь прожить...

* * *

Все заметнее с годами смещение к созерцательности, общее, наверное, для всех. Разве что время для этого у каждого свое наступает. Кажется, что расстояние между тобой и созерцаемым миром едва заметно, но неуклонно увеличивается, и не понять толком, то ли ты от мира отдаляешься, то ли он от тебя. Начало прощания в этом, что ж еще...

* * *

«То явь была, а, может, сон, как в дней далеком хороводе. Уже не я, а кто-то Он из хатки маленькой выходит. И по наклонному лучу, к нестрашной, в общем, перемене, невыско над землей лечу, все меньше делаясь, все мене...».

Владимира Богатырева стихи чудесные. И как хороша эта перемена: то «я», то «он». И как важна способность видеть себя со стороны. Это уже зрение духовное, за твои собственные пределы вынесенное. С таким зрением и замечаешь, что ты из этого мира начал по «наклонному лучу» переходить, улетать словно бы в мир иной. Давно еще начал, с самого даже рождения. Сказано: «Рождаемся на смерть, а умираем на живот».

* * *

Медленная ходьба в старости объясняется отчасти слабостью и хворями, но еще и желанием подсознательно рассматривать все вокруг повнимательней и поподробней. Вон, девушка на роликах, похожая чем-то на кузнечика в своих наколенниках, налокотниках и племе едет зыбко, вот-вот, кажется, упадет. Вон журавлиный клин черный на сером небе тянет медленно и упорно к горизонту: не в последний ли раз видеть такое дано? Вот и посмотришь попристальней и подольше.

* * *

Как-то представилось: катастрофа дорожная и мгновенное понимание гибели неизбежной. Какое слово мелькнет в голове в последнюю секунду? Кажется, что одно из двух: или «Господи!», или «пи...и!». Первое-то понятно, а второе, вполне возможное, откуда? От возмущения какого-то неизвестно чем?

* * *

В последние годы исчезли кошмарные сны, сопровождавшие меня десятки лет. Того напряжения жизни, которое через них разрядку находило, теперь нет — и их нет, не нужны стали. Да и энергии, для них необходимой тоже, наверное, не хватает. И странное огорчение по этому поводу — даже кошмары сниться перестали, такие за целую жизнь привычные. И в них очередная потеря, и их жаль...

А какая есть строка чудесная в старинной, широко известной песне про самоубийцу и крестьян, его тело нашедших и в поле закопавших: «Будут нивы ему хлебородные беспечальные сны навевать». Вот этого бы сейчас хотелось вместо ушедших кошмаров: беспечальных снов...

* * *

«На свете счастья нет, но есть покой и воля», — *Пушкин*.
«Я ищу свободы и покоя», — *Лермонтов*.

Не обрели первые наши поэты покоя вождельного: не дожили, может, просто. Не много хорошего старость приносит, и покой как раз в этом числе. Если старость обычно — нормальная, без особенных бед и перекосов, без зла за спиной, сознательно совершенного — придет покой, должен прийти. Уже по одному тому, что жизнь, худо-бедно, а прожита. Претерпел, вытянул тяжкую ее лямку. Что мог, сделал, а что не сделал, пожалуй, и не мог... Тут, в старости, и переоценка сделанного неизбежна. То, что представлялось важным, вдруг помельчает, а мелочи какие-нибудь подрастут. Помощь другому человеку, самая простецкая, например...

Бог сотворил человека для себя, чтобы одному не быть, — мысль, у кого-то из религиозных философов вычитанная. Что ж, душа на такое вполне отзывается с пониманием. Уж очень оно, одиночество, человеку мучительно знакомо, что даже и к Богу можно его отнести с сочувствием.

* * *

Наступила какая-то приостановка в душевной и умственной работе, не первая, конечно, в жизни, но, возможно, последняя. Кажется, что все, что был способен узнать и понять, уже знаешь и понимаешь, начинать же некий новый «виток» познания людей и мира нет уже ни времени, ни сил. А оно и опасно — начнешь, но и то, что имел, только запутаешь и испортишь. Впрочем, мы тут не вольны и все будет, как будет.

* * *

На том месте, где отступающие зимой 41-го года немцы форсировали Оку, стоял памятник — знаменитая наша «полуторка» на высоком пьедестале. А потом ее убрали, решив, наверное, что слишком уж вид у нее простецкий, не военный совсем — маленькая, хиленькая, с кабиной фанерной... Но ведь именно поэтому никак нельзя было ее убирать, чтобы видели, на какой «тяге» машинной победили мы в самой страшной войне...

У нас в Тиму, райцентре, была сразу после войны одна-единственная машина — та же «полуторка». Шоферил на ней маленький, бойкий мужичок Пантюха, густо измазанный всег-

да машинным маслом. Над ним и подшучивали, его и уважали, одновременно как-то. Говорили, например, что машина у него «на спичках ездит», — с этой именно смесью насмешки и уважения. Ездил он редко, и каждый раз это было для нас, пацанов, как праздник. Следом бежали, бензиновый выхлоп с наслаждением нюхали...

А однажды въехала, мощно гудя, на нашу улицу машина огромная, высоченная, темно-зеленая. Особенно решетки металлические перед фарами запомнились — поразили. Оказалось — «Студебекер» американский. Хорошо помню и восхищение им и самому себе неприятную, стыдноватую, какую-то, обиду.

* * *

Рассказывал старый друг, как, не так и давно, будучи в годах уже весьма серьезных, рыбачил он на северной реке Мегре. Ушел со спиннингом далеко от стоянки и вдруг огромную рыбу поймал. Пошел с ней, тяжелой, обратно, ослабел вконец, да и упал с рыбой в обнимку. Долго лежал, никак в себя прийти не мог, с силами справиться. Ну, я и пошутил: «Вот когда помирать надо было, с добычей в руках! Хорошая смерть, как в бою почти...» Посмеялся, как водится, а теперь я думаю, что, возможно, вспоминает он этот случай в тяжелые, одинокие, ночные минуты и жалеет, что случай тот возвращением на стоянку вместе с рыбой закончился. И в шутку жалеет, но чуть и всерьез. А можно и вполне серьезно пожалеть, только тут совсем уж особое состояние нужно и минута особая...

* * *

«Будьте, как дети», — заповедь Христова. Представишь такое и поразишься: как она легка, желанна для исполнения и как, одновременно, трудна и неподъемно тяжела. Попробуй исполнять ее постоянно и дурачком, юродивым тебя почтут: ноша окажется тяжелейшая. К святости это дорога, самая трудная, может быть... А если попроще посмотреть, по-житейски, поведение людей в самом близком, родственном, дружеском кругу вспомнить, то много из этой заповеди и исполняется и радость дает и облегчение. Ведь, играя с маленькими детьми, мы и сами, неизбежно, так или иначе, детьми становимся, переживая при этом самые счастливые в жизни минуты. Вяземский застал однажды Пушкина и своего маленького сына Павла, ползающими по полу на четвереньках и с хохотом плюющими друг в друга... А старый уже Толстой вспрыгнул однажды на спину зятя своего Берса, прокатиться на нем захотев... Вот всем бы такое-подобное делать почаще, так и жизнь бы легче сделалась. И Богоугодней.

* * *

«Старый, что малый», — народное наблюдение. Слабость, а то и беспомощность физическая и умственная имеется тут, конечно, в виду, но есть и иное сближение. В непосредственности, первичности, с которой воспринимают старики и дети окружающий мир и реагируют на него. А еще и воспоминания старости, которые неизбежно и все больше склоняются к детству. И последнее, что представится, мелькнет в самом уже конце, скорей всего, из детства и будет.

Но может, конечно, это «последнее» и совсем иным оказаться. Только бы хорошее было и самое поэтому простое. ...Идем втроем с любимой своей Калужки, где провели, купаясь и загорая, целый день. Через поле идем, через лес, опять через поле. Тропинка торная, жара

свалила, ветерком чуть потягивает. Первой жена идет в чудесных голубеньких шортах, за ней счастливый семилетний сын с редкой, огромной осой «сколией» в бутылке, а впереди дом, ужин семейный... Вот так бы все навсегда и оставить. Идем себе и идем...

* * *

В молодости преобладает интерес и тяга к дальнему и крупному (в широком самом смысле). Там, там, за горами и долами главное и важнейшее. А в старости больше притягивает и интересуется близкое, доступное, соразмерное человеку или меньше него. Цветок незнакомый внимательно рассмотреть, дерево, причудливо изогнутое трудностями жизни, лицо родного человека, увиденное вдруг, как впервые... И начинает представляться, что ближний мир сложнее, богаче и таинственней дальнего. Да и по науке, вроде бы, так. Что в космосе – звезды да планеты, астероиды да кометы из камня и льда... А вот в микромире сложность бесконечная. Приятно так думать, когда сам ты стар и в дальнюю даль отправиться уже не способен...

* * *

Страсти в старости теряют силу, что с позиции христианской несомненное благо. И любовь «земная» все больше «небесной» становится, именно, что христианской. Естественная такая подвижка к Богу, которая облегчает и просветляет человеческую жизнь. Подобный сдвиг к нему, только очень резкий, при крайней опасности для жизни бывает: под бомбежкой атеистов нет...

* * *

Представляется два пути к Богу. Первый – активный, напряженный поиск веры: «Царство Божие усилием обретается». А второй путь, путь открытости миру и любви к нему. К людям, прежде всего. И если такая любовь вполне достигается, то человек, даже и не думая о Боге, оказывается при Нем, и в Нем.

* * *

«Пламенное бездействие», – из восточной философии выражение. Очень интересно, на что же в таком случае энергия «пламени» идет? На творчество в личностных пределах разума, души и духа, куда ж еще?

* * *

Одиночество в старости, особенное и неизбежное, если даже жить в большой семье. Оно, как оболочка некая, невидимая, окружает человека, через нее не пройти. И недаром оно дается, и недаром оно такое. Время для того, чтобы разобраться напоследок в жизни своей, душе своей. Будет суд Божий, а пока свой собственный, посильный проводи. Да и не лукавь, на обстоятельства, на других людей грехи свои не перекладывай...

* * *

«Искать Бога, значит уже иметь его», – какая облегчающая, бодрящая душу мудрость. А если вдруг почувствуешь, что нашел, то все равно не прекращай усилия: большего понимания Его, большей близости к Нему. И вот это усилие бесконечное уже...

* * *

Христианство – религия любви. «Бог есть любовь», «Да любите друг-друга». Вот главные в этой вере слова, и я вполне чувствую, что они и только они совершенно мои. Никакие другие. Ну, а если бы пришлось в мусульманской или буддийской стране родиться и жить, как тогда? А пробиваться надо бы всеми силами к своему – к христианству, к православию. К той же любви, в конечном счете. И пробился бы, если бы Бог дал.

* * *

Ехал как-то из Феодосии. В вагон сел задолго до отхода поезда и вскоре в купе пара вошла. Обоим лет под сорок, крепенькие, толстенькие, вида простецкого и чем-то даже похожи. Оказалось, что едет только он, а она его провожает. Заботливо провожает, но видно, что не жена.

Он и бутылку коньяка на столик выставил, но пить они почему-то не стали, а вскоре и вообще ушли – на перрон, на волю.

* * *

Вернулся он, когда поезд уже шел во всю и сразу же забрался на вторую полку, отворнувшись к стене.

Вскоре слышу – вздохи тяжкие, стоны почти и, почудилось, даже скрип зубовой. Долго так продолжалось, пока сам я не прилег и не задремал. Очнулся, по-прежнему двое нас в купе и, по-прежнему, те же вздохи-стоны с верхней полки раздаются. Хотел уже спросить – не болен ли мой сосед, не нужна ли помощь?

Оказалось, что расставание с подругой так на него повалило. «Места себе не найду. Ломка», – так объяснил. Коньяк, кстати, остался стоять в целости, и пили мы с ним только чай. Ездит он из Курска в Феодосию много уже лет к подруге своей то в командировку (была такая возможность), а то и просто так на пару дней «срывается». В Курске же семья и отношения в ней вполне хорошие.

«Ломало» его до самого Курска, но к коньяку он так и не прикоснулся, хотя мне выпить предлагал. Объяснил, что от спиртного ему только хуже.

Впервые я вот так, внаугу, видел муку разрыва с любимым человеком, и зрелище оказалось весьма впечатляющим. Интересно, как она себя чувствовала? Неужели так же?

Оказалось, что у нее тоже семья, в которой все нормально. Не хотят они семьи свои рушить и так вот и живут. В грехе живут, но и камня в них не бросишь. Да и не осудишь даже, пожалуй...

* * *

Насколько крепка привязанность людей к жизни, видно в страстном желании увидеть то, что уже за ее гранью, скорей всего. Тяжело и неизлечимо больной Белинский мечтал дожить-таки до завершения первой в России железной дороги; Гете открытия Суэцкого канала нетерпеливо ожидал в старости глубокой... И мы все, лежа на смертном, может быть, одре, будем хотеть внуков-правнуков подростками увидеть, дом, только начатый, достроенным уже...

Да и по-народному похоже очень выходит: «Помирать собирайся, а жито сей». А умрешь, урожай не дождавись, другие им попользуются. Есть во всем этом даже и некая частица веры христианской...

* * *

Человек – образ и подобие Божие. И это проявляется в человеческих лицах, пусть и редко, но постоянно, надо только увидеть суметь. Тогда и поверишь вполне: да, образ и подобие... А у того, кто увидел такое, благодать возникнет в душе, как будто помолился и ответ на молитву свою получил: вот это самое выражение в человеке образа и подобия Божия. Что-то вроде встречи с Богом, пусть не прямой, а косвенный...

* * *

Время вокзала... А вот он, вокзал, и поезд уже скоро, хотя расписания точного нет: цифры размыты и можно только угадывать пытаться. Пора, во всяком случае, что-то главное из всего бывшего выделить, при нем до конца и остаться. Вот это, пожалуй: Бог есть, жизнь прекрасна и ужасна, надежда неистребима...

АНЮТИНА ОСЕНЬ

Лучшей осени, как только что минувшая, и не припомню. Все в ней было: и жара с подкладкой прохлады; и ледяные утра с белой изморозью, и вечера с влажными, со слезой словно, звездами; и серенькие деньки, смиренные настолько, что даже говорить хотелось вполголоса. А закаты случались такой мощи и красоты, что от долгого их созерцания душа уставать начинала...

И так вот она шла, осень, день за днем, неделя за неделей в наивысшей своей силе и прелесть, начиная уже и тревогу потаенную вызывать, ожидание порчи и сбоя...

Осень шла, а жена внука Соня ребенка тем временем ждала, девочку. Спокойно так ждала, тихо-радостно, умиротворенно, с улыбкой частой и едва заметной на лице. Она с мужем Димой дочку ждала, а остальные члены большой нашей семьи ждали кто племянницу, кто внука, а кто даже и правнучку...

Когда началась осень, до родов было еще месяца два и как-то очень хорошо они совместились: осень чудесная и Соня беременная. Словно искали друг-друга и нашли. Да и нашли: осень пора плодов, а что же такое младенец, как не плод человеческий...

На улице, на людях мне вдруг беременных женщин стало попадаться гораздо чаще, чем обычно. Знакомая картина: и при жене беременной так было, и при невестке тоже. Интерес потому что к такому женскому состоянию становился другим, личным и острым. Приятны они очень были, беременные женщины, животами своими, прибавкой к жизни, не явной пока... А в смысле чисто материальном гены, цепочка генов, вот ее путь-дорога: от нас с Ириной к сыну Андрею, от сына и Елены к внуку Дмитрию и Соне... И вдруг Анна-Анюта, вот она! Далековато от нас с женой до нее, но ведь хоть что-нибудь должно уцелеть и проявиться когда-то...

Гены, да, но ведь и любовь наша, которая соединила впервые, начало дала всей этой череде генов, тоже ведь осталась где-то, как звук от удара колокола: уже исчезнувший, но, чувствуется, чуть слышимый еще...

И на руках я Анюту подержал, и порассматривал внимательно. Больше всего глаза поразили, широко открытые, карие и глядящие то ли в никуда, то ли в неведомую, недоступную

нам даль. А еще и плач был у нее удивительный, напоминающий жалобную, с осенним каким-то оттенком, песню...

Несколько дней после ее рождения состояние у меня было совершенно особенным. По-тепелело вдруг все внутри и снаружи, со спины особенно. И покой небывалый снизошел, словно дело некое важнейшее и последнее совершилось в жизни...

Месяца через два после рождения Анюту крестили в ближней нашей, недавно построенной, церкви. На ее синие купола я часто поглядываю на прогулках, а то и крещусь неожиданно для самого себя.

Все прекрасно прошло: и батюшка был хорош – грузный, седой, с лицом приветливо-добрым. И Аннота при довольно-таки долгой и сложной процедуре почти не плакала, а ведь случаи очень подходящие были: и на руках ее батюшка носил, и волосы с головы срезал, и в купель окунал целых три раза.

Имени ей нового не добавили, но ведь и без того сколько в нем вариантов: от гордо-державного, Анна, до народно-простецкого: Нюра, Нюта, Нюся... И в великой литературе русской имя это одно из главных, рядом с Татьяной, Наташей, Акулиной...

Одновременно с Аннотой крестились еще двое: старик и старушка. Видать, за всю долгую жизнь так и не собрались сделать это, а откладывать стало уже и опасно: не туда в мире можно попасть, куда хочется. А, может, вера такая поздняя вдруг на них снизошла...

Стоя в церкви, вспомнил я рассказ матушки своей, как меня крестили зимой 1943 года. Жили мы «под немцами», как тогда говорилось, в маленькой деревушке километрах в десяти от райцентра нашего Тима. Вдруг слух прошел, что немцы церковь разрешили открыть и в ней бывает служба. И крестят желающих. Вот тогда матушка с подругой Клавой меня в санках в Тим, крестить повезли, по тропинке, едва в снегу пробитой. И ведь сделали дело: и батюшку нашли, и обряд совершить уговорили...

В ходе крещения вспомнилось вдруг некое совпадение: родились мы с Аннотой в один день, девятнадцатого, только она на месяц позже. Ровно ничего это не значит, а приятно стало. И тут же подумалось совсем уж дико, что, может, осень чудесная не просто так, случайно, нас посетила, а что это Аннота ее с собой принесла и всем нам подарила...

Ангельское что-то есть в детях лет до пяти, примерно, и оно влияет на нас, воспитывает, жить помогает, работать, терпеть, любить... Аннота появилась, и все мы, кровные родичи ее, стали, на мой взгляд, чуть получше, чем были, даже внешне. Подольше бы продлилось это воспитание и помощь, а иссякать начнет. Хорошо бы нового гостя в дом с полным еще запасом детской ангельской сути...

А мысль, когда-то мелькнувшая, что небывало погожую, красивую осень Аннота нам подарила, во мне так и осталась, и терять ее не хочется. Спасибо, Аннота! Жизни тебе такой же чудесной, какой осень твоя была...

Пётр Топорков

МЕДЛЕННО ПРИДЁТ ОЗАРЕНИЕ

* * *

Провозглашение добра

Я
Лежу иногда у себя в постели
И слышу гул тяжкий машин
Это техника мусороуборочная
Они,
Под покровом ночи,
Едут делать добро.
Я из-под одеяла думаю:
Да здравствует добро,
Оно совершается тайно!
Порядок – это самый дерзкий заговор
Как сказал Честертон
Бодрийяр, в свою очередь,
Книжку назвал:
Банальность зла.
О как же они банальны
Эти злые люди, и сколько прекрасного
Роится в тайне грузовика
Идущего в ночь – работать!..

Отец говорит

Если ты думаешь, что что-то ещё случится в жизни
Ты ошибаешься, всё уже случилось
Главное посмотреть повнимательнее
Место, где всё начиналось, домики, дома, горизонт
Пастбища и тоннели, бетонные балки и бурьян
Событие уже случилось, то самое произошло
А теперь, взрослея, ты пытаешься, я пытаюсь
Убедить себя, что его не было, что всё ещё будет
Печальные поезда, самолёты в лазурном небе

Пётр Топорков – поэт, переводчик, кандидат филологических наук. Руководит кафедрой русского языка как иностранного КГУ им. К.Э. Циолковского. Автор поэтических книг «Добрые селенья» (2014), «Гри» (2017). Публиковался в областной газете «Весть», альманахах «Зерно», «Синие мосты», журналах «Альтер-Нация», «Новая реальность». Член Союза российских писателей.

Понесут какой-то невиданный код,
Предупреждение или голос пламенный
Но ты знаешь, как надо быть
Приди туда, достань такую-то книгу,
Открой её на странице такой-то
И медленно придёт озарение,
Ты осядешь на землю, потекут слёзы,
И всё станет ясно, и мир засияет вновь.

Военное положение

...сладкий голос пел

Лермонтов

Ты собираешься уехать куда-нибудь
Но говорят: нельзя. и приходит мысль,
Что лес – твой союзник
Что в лесу не найдут, что в поле не остановят
Может, оно и так: может, ты доберёшься
До нужного места, и никакой комендант
Не спросит необходимой писульки
Ты идёшь тёмным, кустистым лесом
Собираешь ягоды и грибы
Постепенно вращая в землю:
И вот уже только рот
Жажда и требует, по-птенцовьи;
Лес в тебя сыплет ягоды и грибы
Птицы окучивают вокруг тебя территорию
Ты вспоминаешь строки из Лермонтова
И приходишь к пониманию того
Как важно вовремя выйти
Из круга желаний
Как важно дойти
До дуба

Местный пророк

Я устал обращаться к человеку
Обращусь-ка я в ширину
Я вырос в ширину, тут разные предметы
Приятный космос верховой
Страшное изображение московского критика с бородой
К которому я склоняюсь
И говорю: дай мне
Эстетический ориентир
Чтоб напечататься в Новом мире!...

Экой я батенька стал широкой
Чувствую некую беременность.
Я сам себе мать.
А что я ещё могу?
Кому это надо здесь?
Тут надо сначала заставить людей
Любить друг друга
Окрашивать фасады домов
Унифицировать балконы
И не какать в природу
Ездить по городу со скоростью 59 км/ч
И уважать старшее поколение
Вот задача местного пророка
И к этой цели
Мы спокойно и уверенно
Пойдём

Максим Васюнов

ОТ СТРЕКОЗЫ ДО ЛУНЫ

* * *

Сад содрогается понемногу –
Это подарок Богу,
Или на откуп луне
Ангелы высыпали на дорогу,
Их не узнали, к порогу
Вернулись, заплакались в стороне
Бабушки, дети, собаки, вороны –
Это осенние стоны.
От четырех ветров
Сад содрогается, звоны,
В белом выносят иконы
Ангелы. Русский покров.

* * *

Напиши мне как сильно – бабочка режет стекло
левым крылом, напиши мне – много воды и луны стекло
по календарю, циферблату, стакану, будет поздно...
Напиши мне как больно – прилетают чижи и молчат –
смотрят Богом, напиши мне, пока не узнал этот взгляд,
напиши, напиши, напиши, лучше поздно...

* * *

Там, где белеет снег
И саднеет пар у рта,
Там, где начало рек –
За пазухой у Христа
Выдохнешь лёд и ног
Не чуя – дождём домой
Или снегом, как Бог
...зимой.

Максим Васюнов родился в Нижнем Тагиле в 1988 году. Окончил журфак Уральского госуниверситета. С 19 лет работает на телевидении – в новостях и в документальном кино. Литературой занимается со студенчества. Автор сборника прозы «Следы ангела». Повести и стихи публиковались в толстых журналах «Урал» и «Крым». В литературных приложениях «Российской газеты» и «Московского комсомольца». Лауреат премии им. Куприна. С 2017 года живет в Калуге.

* * *

От стрекозы до луны – нить,
Рыболовная леска,
Забывая, может быть,
В ожидании плеска –
Удара волны о волну
Или о время. В отместку
Тому, кто бросил луну
В стрекозу...

* * *

Почему мы не встретились раньше
В городе, где за дымом не видно заката
И где небо – это только заплатка,
Только часть моего окна.

Почему мы не встретились в мире,
Где встречались мне ангелы в юбках
И куда на пыльных попутках
Никогда не доедет весна.

Почему мы не встретились даже
В городе векового леса,
Где не жить, если нет интереса
Стать свободнее.
Почему мы не встретились раньше
Здесь, где ломаются тени,
Где влюбляются только от лени –
В дни новогодние.

Почему мы не встретились раньше
Там, где летали в мечтании,
И в этих мечтах заранее
Я видел тебя не раз.
Почему мы не встретились позже,
В этом, верно, Его уловка,
Или ангелам стало неловко
Петь без нас?

* * *

Ногти ломаешь – покой
Даже не снится Москве.
Лягу у церкви – укрой,
Переночую в листве.

Тихо и немо, на вдох
Небо ответит дождем.

– Кто это, папа? Бог?
– Не разбуди. Идем...

* * *

Смерть обману, обману
Друга, подругу, луну,
Девочку – ей ни к чему
Прыгать во тьму,

Ад обойду, обойду –
Холодно ныне в аду.
Данте, ворота закрой,
На сегодня отбой.

Поцелуй солнца

Солнце по стеклу поцелуями
Бьется, как дождь – невпопад,
Как по осени сыпется струями
На ветру золотой листопад.
Как по осени падает ко́пнами
Белый снег, уходящий в разгул,
Так и солнце целуется с окнами,
Словно кто-то ему подмигнул.

Ольга Ключкина

КОНСПЕКТЫ ИЗ РОДДОМА

Мой дорогойсамый-самый.....

Меня спрашивают в палате: что я там всё время пишу? Нельзя позвонить, что ли? В конце концов, все сошлись на том, что я «делаю конспекты», для учёбы. Не могу же я им сказать, что всё время пишу тебе письма? Без них я тут точно не выживу. В палате я ни с кем не разговариваю, вообще ни слова.

Как же глупо получилось с этой больницей! Подумаешь, разок кольнуло. Никто даже слушать не хочет, что у меня всё в порядке. Врачиха сказала: надо всё время лежать, строгий постельный режим. Здесь даже с хорошими анализами держат неделю, а я ещё даже кровь не сдавала. Не надо нам было всё-таки «скорую» вызывать, но теперь ничего не поделаешь. Моя палата номер три на четвёртом этаже, отделение патологии беременности под самым козырьком, напротив красного пятиэтажного дома. Из моего окна видны машины скорой помощи в ряд и газетный киоск. Если ты встанешь возле киоска, я тебя сразу увижу и помашу рукой, ты ведь знаешь, как я без тебябольше жизни мой.....

Самое невыносимое время – после девяти вечера. Соседки по палате выключают свет и начинают говорить про убийства, маньяков, анекдоты, про свекровь, свах, снох – всё, что приходит в голову. Уснуть невозможно, не слушать тоже, даже под одеялом слышно. Ужас, ты бы только слышал, что они несут! Это же настоящая пытка, когда совершенно разных людей запикивают в одну палату и заставляют вместе жить. Лучше сразу застрелиться, если бы не наш ребёнок. Я в роддоме пришла в полнейшее разочарование от бабских натур. Боюсь стать такой, как они. Лето, до слёз заскучала по университету, Ленке, научной библиотеке, всему нашему. Скоро опять начнётся. Трудно поставить точку, только с тобой я могу говорить обо всём, пусть хотя бы на бумаге, но ведь ты у менядо самой смерти.....

Нет, ну как же обидно получилось! В тихий час мне принесли твою записку с соком, я бросилась к окну, а там уже нет никого. Наверное, ты долго стояла, ждал возле киоска, когда я выгляну. А передачу твою не сразу принесли, ужасно глупо. Я стояла-стояла возле окна, но даже вдалеке тебя не увидела. И все мои письма остались неотправленными, что вообще караул. Эти два дня без тебя мне показались бесконечно длинными и тёмными, словно я попала на другую планету.

Врачиха у меня – зверь. Как только я сегодня заикнулась, чтобы меня поскорее выписали, она пришла в ярость. И сразу нашла во мне кучу неправильностей, как здесь говорят – патологий. До этого всё ведь было нормально. По-моему, она из породы тёток, которых лучше не злить. Постараюсь не привлекать к себе внимания, буду лежать тихо-мирно, тогда к вы-

Ольга Ключкина – прозаик и драматург. Родилась в посёлке Приволжский Саратовской области. Окончила филологический факультет Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского. Публикуется с 2001 года. Автор романа в «Эсфирь», серии книг «Святые в истории. Жития святых в новом формате», других произведений для взрослых и детей. На сцене калужского ТЮЗа поставлена её пьеса «Беликов. Реабилитация». Живёт в Калуге.

ходным отпустят. Я целыми днями молчу, как немая. Они тут все прямо с каким-то вдохновением говорят о запорах, клизмах, анализах, икоте. В данную минуту, когда я тебе пишу, в палате бурно обсуждают, кто от чего потеет, уже два часа, наверное. Палата номер шесть, хотя на самом деле номер три. Про то, что у меня ничего не болит, врачаха даже слушать не хочет. Спасибо за игрushку! Собачка Пауль на тумбочке будет охранять меня от злых врачей и напоминать, что ты.....чудонет и никогда не будеттысячу раз

Сегодня увидела в окне ваши весёлые солнечные рожицы – и сразу легче стало. Врачиха сказала, у меня повышенный тонус и анализы не очень. Но это пустяки, здесь такое у многих. Назначили курс профилактического лечения. Видишь, как я теперь выражаюсь? Делают несколько разных уколов, ещё какой-то «электросон», плюс таблетки и велят много спать. Вокруг всё такое белое, замедленное, и так как во сне. Женщины ходят в ночных рубашках или халатах, даже без трусов. Мне интересно, чему вы там с Ленкой так смеялись? Сегодня у нас в палате сплошь разговоры про несчастные случаи в роддоме и ошибки врачей, опять почитать не удалось. По меня думают, что я ненормальная, с большим приветом, вот и пусть.

Из последних новостей: одна женщина, когда была беременная, всё время возилась с кошками и собаками. От этого у неё девочка вся в шерсти родилась. Ужас! Надо мной смеются, что если я буду целыми днями смотреть в книжку, родится ребёнок с квадратной головой. Но я-то знаю, он будет похож на тебя.....мой.....до конца жизни.....В один день.....

Слушай, а ты меня ещё не разлюбил? Тогда я точно сразу же умру. Прости, такая мусть в голове от лекарств. Сегодня весь вечер были истории про коварных подруг. И при этом все почему-то смотрели и кивали в мою сторону. Я только потом догадалась, ты же несколько раз приходил вместе с Ленкой. А она в их глазах нехорошая, потому что на улице открыто курит и одевается в рваньё как с помойки. Я так разозлилась, что ушла в коридор, сидела там до отбоя. Даже смеяться уже не хватает юмора. Так что-то стало противно, и тоска навалилась. Их послушать, так все мужчины одинаковые, слабые, но ведь ты у меня.....навсегда.....мой.....

Последние известия из палаты номер три:

1. В мединституте – сплошной разврат!
2. В роддоме есть хороший молодой врач, гинеколог, все хотят к нему попасть. Интересный мужчина, но странный, потому что жене не изменяет.
3. Одна девушка в общежитии родила ребёнка, хотела его в туалете утопить, а смыть забыла. Ребёночка спасли, и теперь они вдвоём живут в общежитии, всё у них тип-топ.

Такой вот полнейший бред, что с них возьмёшь? Иногда я впадаю в страшное озлобление, а ведь это хуже всего для здоровья, как только врачи не понимают.

Никак не могу с тобой расстаться, даже ручку трудно в сторону отложить. Держусь за ручку как за соломинку и плаыву.....пусть на листке бумагиведь я.....счастье..... Получила записку от отца, совершенно кошмарную. Родители решили взяться за меня железными когтями. Давят на то, что теперь я обязана думать не только о себе, но и о ребёнке. И мы с тобой должны, наконец, начать жить нормально, как люди. Опять это наше с тобой любимое словечко: нормально. Я уж знаю, что это такое, проходи-

ли. У нас с тобой свой мир. Совсем свой. Мы его придумали и живём, как хотим. И ребёнок будет жить в нашем мире. Скоро всё так и будет.

Когда сегодня был обход, я лежала смиренно и не возникала. Врачиха сказала: «Не очень, конечно, но лучше» и криво улыбнулась. Боюсь даже подумать, что она не отпустит меня, я тут останусь на все выходные. Отсюда ведь не сбежишь. Все мои вещи сложили в большой мешок и куда-то спрятали. Не роддом, а настоящая тюрьма: никого не впускают и не выпускают даже в фойе из-за этой эпидемии гриппа. До смерти боятся инфекций. Тётки говорят, ради такого можно и пострадать, а уж мнеи умереть в один деньмиллион раз.....

Соседка по палате, Галка, говорит, у меня серьёзная патология. Нельзя так любить мужа. Вообще никого не надо сильно любить, кроме детей, это ненормально. Она единственная в палате, с кем я переговариваюсь, мы вместе ходим в столовую. К ней под окно приходит муж-карлик с двумя дочками, и она всех вокруг чем-нибудь угощает. Ещё Галка меня за Камю всё время ругает. Возмущается, зачем я в роддом притащила книгу под названием «Чума»? Как бы всех вокруг не заразила. Другие соседки по палате тоже перешли в наступление, начинают меня потихоньку доставать. Привези мне в следующий раз «Тошноту» Сартра, пусть они все удивятся. Одну Таню в нашей палате круглосуточно рвёт, и она всё время докладывает, чем на этот раз. «Тошнота» в книжном шкафу на третьей полке в глубине стоит, с жёлтой обложкой. Но не вздумай ко мне приезжать, пока твой бронхит не пройдёт. Письма для тебя копят в тумбочке, их тебе потом сразу пачкой передадут, и ты сразу..... что ямы с тобой.....

Ленка в записке написала, какой-то у неё есть серьёзный разговор ко мне. Потом написала всякой ерунды, а сбоку приписала, для разговора на бумаге места не хватило. Ну, ты знаешь, как она умеет скрытничать. Не могу даже представить, о чём она хочет поговорить с глазу на глаз. Ты случайно не знаешь? А то ведь потом сделает вид, что забыла. Не собралась ли она из универа уходить? И ведь никому, кроме меня, ничего не скажет, она такая.

Сегодня утром соседки по палате смешно рассказывали, какие они бывают в ярости, когда их мужья разозлят. Одна бегает за мужем с половой тряпкой, другая от злости царапается, а от третьей муж на несколько часов запирается в туалете и только ещё больше выводит из себя. Они мне придумали кличку «Лев Николаевич Худой», и требуют, чтобы я про них роман написала. Мои соседки огромные как слонихи, я среди них как суслик с животом.

А врачи меня что-то совсем забросили. Делают только один укол в вену, дают какие-то витаминки, но ни за что не хотят выписывать, заставляют лежать. Вчера на обходе мелькнула слабая надежда, но врачиха меня насквозь взглядом прожгла. Хорошо, что мы с тобой умеем говорить не только по телефону, но и так, через письма, потому что иначе я.....
.....твой голосвсегда-навсегдаНастроение моё меняется в противоположность всей палате. Вчера все были в трансе, ходили сонные, жаловались на скуку. А я, наоборот, хорошо себя чувствовала. Читала много, тебе писала. Зато сегодня у нас всеобщий подъём. В палату пришла новенькая и все с самого утра говорят о мужчинах и сексе. Новенькая рассказывает о своём муже такие интимные подробности, просто уши трубочкой сворачивается. Весь тихий час обсуждали по-

стельные дела, а потом ещё и вечером. Я спряталась под одеяло, сделала вид, будто сплю, но не тут-то было. Мечтаю, чтобы твои записки стали длиннее. Я их каждый день по сто раз перечитываю, чтобы не сойти с ума. Самые грустные минуты, когда ты уходишь. Мне хочется выпасть из окна и побежать за тобой следом. Когда ты стоишь возле киоска и машешь мне рукой, у меня прямо начинается всё метаться внутри от бессилия и тоски. Знаешь, ты лучше разок махни рукой – и сразу уходи. Но мне не запрещай смотреть тебе вслед из окна..... мой.....

Чем-то Ленка сегодня пришла расстроенная. Смотрела на меня грустно-грустно. Я ей тоже про всякий больничный бред пишу, наверное, ей надоело. У неё какие-то проблемы с читательским билетом, а в универе новое постановление про задолженности. И записка от неё странная. Пишет, с гор идёт лавина, она стала немой до весны. А в конце приписка: «Я всё вру. Про всё. Это всё враки!». В общем, поток сознания. Наверное, я совсем в роддоме отупела. Вчера в палате опять подробно обсуждали тему любви. Новенькая Настя (хотя она уже не самая новенькая) вышла замуж в тридцать пять только для того, чтобы родить ребёнка. На своего мужика по телефону матом ругается, но у неё как-то смешно получается, не противно. Всякие любовные чувства и вообще сантименты считает тяжёлой болезнью, от которой не лечат. Когда по радио передают классическую музыку, тут же вскакивает и выключает, на дух не переносят. Зато у нас все друг друга чем-нибудь угощают, пробуют, и обсуждают, кто и что именно в эту минуту хотел бы съесть. И сразу же бросаются к телефонам – своим мужикам звонить, чтобы срочно принесли. Такие общительные, даже немного завидно. Но ведь ты у меня другой.....поступать во ВГИК..... умоляю, хватит болеть.....

Привет тебе, привет. Не удивляйся посылке. У нас в палате появился ритуал: все, кто уходят вниз, в родовую, что-нибудь мне оставляют на тумбочке, на счастье. Я для них вроде как юродивая, блаженная, представляешь? Дольше всех в палате, уже второй месяц. Это от той Насти матерщинницы пошло. Она, когда ночью уходила рожать, мне на тумбочке свой мармелад оставила. И за десять минут здоровую девочку легко родила, хотя анализы до последнего были – хуже не бывает. Теперь я каждый день что-нибудь у себя на тумбочке нахожу, даже из соседних палат приносят. Одна даже заплакала, когда я не хотела варенье брать. Так что не удивляйся, я тебе целый пакет всего переправила, ты ведь сладкое любишь. Я сколько никогда в жизни не съем. Или что-нибудь Ленке отдай. Она последний раз не курила возле ларька, какая-то стояла потерянная. Я так вообще забыла, что такое сигареты. Молоко пью, яблоки ем, они тут из меня другого человека лепят. Из-за малейшего отклонения в крови поднимают панику. Ты здорово написал, как выслеживал утром кошек по следам на снегу. Слушай, если Ленка потеряла читательский билет, разыщи мой и ей отдай, а то ведь скоро сессия. В читальном зале на фотографии особо не смотрят, а мы с ней немного похожи, если сильно не приглядываться. Здорово, в библиотеку. У нас только телевизор в фойе и «Давай поженимся». Мы ведь с тобой потом тоже поженимся по-настоящему, да? Мне-то всё равно, а для ребёнка так будет лучше. Я в твоих записках как будто чувствую твоё дыхание и..... наша семьяочень очень очень сильно

В моей палате опять все новенькие и кого-то до галлюцинаций напоминают. Одна (Люба) как бы олицетворение души роддома, самая рассудительная и правильная. Всё время взвешиваю

вается, всем даёт советы. Только говорит слишком много, во время тихого часа пересказывала индийский фильм. Хочет сына Павликом назвать. Вторая (Люся) – блондинка, нервная и крашенная. То сама доброта, а то вдруг начинает на всех выступать, бухтит как старая бабка. Ещё одна (Валя) почти всё время расплетает или заплетает косу. Или свои длинные волосы распустит и расчёсывает по три часа подряд. У неё бывает такое забуревшее бездумное выражение лица – даже у беременных такое редко встретишь. Врачи находят у неё какую-то серьёзную патологию, она часто плачет, и всё время норовит или на мою кровать сесть, или мою руку погладить. Верит в местные народные приметы. Четвёртая в палате я, самый долгожитель, про меня ты и так всё знаешь. Я нарочно так подробно пишу, вдруг тебе для какого-нибудь сценария пригодится? Знаешь, по телефону у тебя был какой-то чужой голос, строгий, как будто это вообще не ты. Из еды мне ничего не приноси, только если немного орешков – таких круглых, лесных, но только здесь поколоть негде, лучше дома. Но это не срочно и не обязательно. И ещё все ручки стали плохо писать, без них совсем никак. Пиши мне побольше, ладно? Ведь в твоих записках.....как же я..... не-наглядный.....

Ночью и рано утром, когда в палате тихо, все спят, снизу слышен хор младенцев. Я даже привыкла засыпать под эти звуки. Лежу и представляю, будто там уже и наш малыш. Почему-то он стал крутиться в животе как бешеный, особенно по ночам. Не понятно, чего ему не хватает? А утром снова привычные больничные звуки. Звон железных ложек в столовой, грохот лифта и тележек, на которых кого-нибудь везут в родовую. Иногда такое чувство, будто я целую жизнь провела в отделении патологии, на этой простыне с номерами, а всё прежнее мне приснилось. Но ты там сильно не привыкай жить без меня. Я, как только подумаю, что ты уже целый месяц без меня обходишься, места себе не нахожу. Кстати, мой неразборчивый почерк не от слабости, клянусь. Просто я пишу, лёжа в постели, а это ужасно неудобно. Буду присаживаться к тумбочке, чтобы тебя не волновать.

Почему-то ночью в голове сочинялась записка Ленке. Я же так и не узнала, о чём должен был быть наш серьёзный разговор. Никак не могла уснуть, в голове целый винегрет из всего. Вдруг вспомнила, как ты танцуешь, когда дурачишься. Такое делаешь смешное лицо и руками машешь как птица, а ещёи мы как будтотолько нам.....

Знаю, что сегодня ты точно не сможешь прийти за моей запиской, а всё равно пишу. Вчера вечером случилось чудо. Я лежала на кровати и зачем-то решила подойти к окну. Было примерно полвосьмого вечера. А там внизу Ленка стоит! Смотрит на окна моей палаты, а лицо под фонарём как у грустного клоуна. Оказывается, мне от неё не успели передачу принести, я раньше выглянула. Такая у нас с ней телепатическая связь. И записка в её духе, как ей невкусно одной, без меня, пить кофе. Она теперь тоже в кофе сахар кладёт и представляет, будто бы это я. Радио в палате целыми днями гудит, не даёт сосредоточиться. Ленка странно озиралась по сторонам и быстро убежала. Конечно, ты можешь завтра не приезжать, невозможно каждый день ездить туда и обратно в такую даль, отдохни хоть немного. Здесь в выходные вообще пусто, даже врачей нет. Скорей бы пришло лето, я снова буду бегать в шортах и забуду про глюкозу с новоканном. Оказывается, чтобы родить одного маленького ребёнка, надо ужас как много всего пережить. Но мнеради насна тебя.....чтобы твои глаза

и губы

Сегодня я склонна к многословию на нервной почве. Всю ночь не спала и просидела в фойе, глядела на фонари и машины. К нам в палату положили двух новеньких. Как же они душераздирающе храпят! Находиться рядом просто жутко. Булькают, клокочут, захлёбываются. Скорее бы их перевели вниз рожать. Раз уж я начала длинно писать, хочу про одну просьбу, обращённую лично и только к тебе. Конечно, я надеюсь на хорошее, но ведь во время родов всякое бывает. Сегодня в палате я рассказывала про Лизу, жену Андрея Болконского из «Войны и мира». Все так слушали, будто сами в школе не читали. В общем, это я к тому, что рождение ребёнка всегда риск, как здесь говорят – запрограммированный риск. Я прошу тебя, в случае чего, сжечь дотла все мои письма, блокноты, дневниковые записи и прочие бумажки. Оптом, ничего не разбирая и не читая. Мне уже три года назад заглядывать в свои блокноты было неловко, как-то щекотно. Не хочу, чтобы после меня осталась всякая детская дребедень. Для меня это серьёзная просьба, надеюсь, ты выполнишь. Про такой финал я редко думаю, просто бессонница навяла. Ладно, переключаюсь на повседневные нужды. Пожалуйста, переправь мне при случае сюда контрабандой (в какой-нибудь пачке из-под печенья) маленькие ножницы. Мы же тут как в дураоке.

И, пожалуйста, не подбивай никого к посещениям. Это я раньше скучала, а теперь нет. Мне все за окном кажется ненастоящими, я только расстраиваюсь. Знаешь, я достигла такого состояния, когда лежать, сидеть, стоять одинаково неудобно и тяжело. И над всеми чувствами преобладает усталость. Но ничего ведь нельзя ускорить, надо терпеть и ждать. В животе часто что-то болит, колит. Чувствую себя человеком, которому самое место в больничной палате и больше нигде. Привыкаю быть наедине с нашим малышом. Даже про дом почти не вспоминаю, хотя.....мой самый.....

Сын!!!!!!! Не обижайся, что так коротко пишу. Лежа на спине неудобно, рука устаёт, а поворачиваться пока не могу... Рост – 51 сантиметр. Оказывается, без операции никак было нельзя. Поэтому они меня так долго держали в больнице. Завтра непременно.....наш Антошкана тебя.....

Не волнуйся, я почти ничего не чувствовала. Дали какую-то маску, велели дышать, стали задавать вопросы. «Как тебя зовут?» – и всё в таком же духе. Последнее, что я помню: «А ты мужа своего любишь?» Я хотела им про тебя ответить и отключилась. Больше я ничего не помню. Всё куда-то ушло, очнулась уже в палате реанимации. Даже немного обидно. В сущности, я так и не узнала, что такое родить ребёнка, хотелось бы самой испытать. Многие в родовой громко орут. Уже завтра Антона Вячеславовича должны принести кормить, представляешь?

Теперь я всё время пишу тебе записки заранее, чтобы успеть. А то вдруг утром не будет свободного времени. Нашего Тоху приносят кормить через каждые три с половиной часа. Расписание такое: 6.00 – 9.30 – 13.00 – 16.30 – 22.00 – 23.30. Минут сорок он у меня на руках, так что я даже не смогу подойти к окошку, чтобы махнуть тебе рукой. Придётся тебе ждать или подгадывать время.

Нас в палате реанимации четыре женщины после операции. Меня называют «хорошей операционной», я быстро поправляюсь. У одной ребёнок мёртвый родился. Она была со-

вершенно здоровая, ничего не предвещало. Теперь лежит, отвернувшись от всех к стене. А у другой девочку откачали, но надежды мало, что будет здоровой, как бы вообще не ДПЦ. Представляешь, как нам с тобой повезло! Когда мне стало плохо, как раз дежурил тот хороший врач, Глебов, о котором я писала. Длинный, под потолок, внимательный, диссертацию на нас защищает. Все говорят, мой случай – настоящее чудо. Оказывается, у меня по всем показателям было ужасно, просто врачи скрывали, а мальчик родился здоровый. Все приходят на меня посмотреть, шутят, чтобы я навсегда оставалась в роддоме, как наглядное пособие. В послеродовой вообще хорошие медсёстры, и даже санитарки. Зовут не «женщины, на ужин!», а «мамочки, на ужин!» Я уже начинаю потихоньку представлять день выписки. Той медсестре, кто при выписке будет держать ребёнка на руках, принято дарить какой-нибудь подарок, цветы или духи. Станный обычай, почему не врачу? По-моему, духи противно, лучше цветы. Лечись изо всех сил, чтобы не чихнуть на Тошку, он же такой..... ты даже представить.....

Не получилось Тошу-кроху как следует сфотографировать на телефон, лучше опишу. Когда приносят, он всегда красный, зарёванный. Начинает сразу крутить головой и открывать рот. Потом жадно сосёт молоко: торопится, капляет, захлёбывается. А минут через семь успокаивается и засыпает. Надо его всё время трогать пальцем за щёку и будить, чтобы снова поел. Голова большая, круглая, а ножки попробовала через пелёнку – как игрушечные, тряпичные. Сама ни разу не слышала, как он плачет. Только морщится, кричит и глазами смешно косит. У моей соседки после еды мальчик спит, открыв рот, а наш губы поджимает, как ты. Хотя в палате все говорят, он на меня похож. Но он такой нежный, как ты, когда какое чудо

Продолжаю, пока появился перерыв. Знаешь, я теперь всё время волнуюсь за малыша. Он такой крохотный, живой. Они ведь все так: то ничего не хотят есть, то едят слишком много, то не спят, то болеют. Оказывается, летом, в жару опасно бросать детей кормить грудью. А когда кормишь, нельзя купаться в реке, можно подхватить какую-нибудь вирусную инфекцию. Я-то думала, мы с тобой будем летом на великах гонять на речку. Придётся год подождать. В роддоме я по-прежнему звезда. Я даже попросила маленькое зеркало, чтобы на себя посмотреть. Одно расстройство. Как я к тебе такая буду выписываться? И квадратность пока не проходит, хотя я всё ещё согнувшись хожу. В послеродовой любимые разговоры, кому и что муж подарит за ребёнка. Одна хочет кольцо золотое, другая шубу, а одной родственники вообще обещали машину. А ты мне что подаришь? Шучу, это же я просто так, от радости. У нас с тобой и так будет впереди сплошное счастье. Девчонки из университета недавно приходили поздравлять, помахали внизу, немного поболтали по телефону. Спрашиваю, а Ленка где? Говорят, не смогла, легла на сохранение. Вот это новость! Я ушам своим не поверила. У кого мне теперь взять конспекты за это время переписать? Ленка в своём репертуаре, сплошная загадка. Я же в роддоме целую вечность, отстала от жизни, ничего не знаю. Ты случайно не в курсе, кто он?

ЗАДАЧА С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Трамвая долго не было, а народ на остановке всё прибывал. Каждому хотелось после работы поскорее домой, да хоть под какую-нибудь крышу, спрятаться от дождя.

Фрол стоял внутри стеклянной коробки автобусной остановки, смотрел себе под ноги и никого вокруг не замечал. Но как только я решила более надёжно спрятаться от него за столбом, вдруг посмотрел в мою сторону, дёрнулся и в два прыжка оказался рядом.

– О, привет! Привет! Привет! – сказал Фрол и замолчал.

– Привет, – сказала я и тоже замолчала.

Да и о чём говорить, если мы были почти не знакомы?

В городе все звали его Фролом – то ли фамилия, то ли кличка такая, знакомый моих знакомых. Я только знала о нём, что Фрол нигде не работал, вроде бы, из каких-то идейных соображений, и жил с миру по нитке, мелко попрошайничал. А сейчас зачем-то стоял под моим зонтом, время от времени встряхивая мокрыми волосами и ударяясь головой о нашу общую тряпичную крышу. Приходилось ещё выше поднимать и без того ноющую от усталости руку.

Наконец, подошёл трамвай, и я надеялась, что Фрол затеряется в толпе. Но он был тут как тут: шумно дышал за спиной и что-то бубнил в чёрный помпон моей шапки, как в микрофон.

– А я уже месяц, как с работы уволился. Хорошо всё-таки быть свободным человеком, так ведь? Ой, купишь мне билет? – донеслось сверху.

Я купила два билета, и нас с Фролом оттеснили к окну на задней площадке.

– Хочешь, сделаю тебе за это царский подарок? – наклонился ко мне Фрол. – Ты, конечно, сама знаешь: мы можем понять мир только в зеркальном отражении. Так ведь? Бог – левша, поэтому у нас всё в жизни так. А недавно я сделал ещё более грандиозное открытие, могу с тобой поделиться. Бог – женщина, и у меня есть целая система, чтобы сейчас тебе это логически доказать...

– Не надо, – взмолилась я, посмотрев в серые, чуть навывкате глаза Фрола. Бежать было некуда, нас зажали со всех сторон.

– Почему? – искренно удивился Фрол. – Я думал, ты обрадуешься, а ты круглая...

– Дура?

Но Фрол не ответил, а нарисовал пальцем на стекле кружок и торопливо заговорил:

– Вы все, все заблуждаетесь, когда ставите себя в центр мироздания. Смотри: этот круг – ты. Ты думаешь, будто растёшь, развиваешься, становишься умнее... Так ведь? А на самом деле, смотри, что происходит...

Он начертил ещё один большой неровный круг, поверх первого.

– Ты становишься больше и тем самым только увеличиваешь границы соприкосновения с неведомым, непостижимым. Чем больше твой круг, тем она плотнее тебя обступает, бесконечность, так ведь? Человечество добровольно посадило себя в тюрьму, в клетку собственного эго.

– Но... что же делать? – пробормотала я озадаченно.

– Стань точкой. И тогда жизнь примет форму треугольника.

Теперь Фрол начертил на стекле треугольник и ткнул пальцем в нижний угол.

– Допустим, ты – вот эта точка, так ведь? Отсюда открываются два пути. Самый простой – по горизонтали, из пункта «а» в пункт «б». И лишь немногие, избранные устремляются по вертикали, вверх. Чем ближе к вершине, тем нас меньше. Верхняя точка треугольника – абсолют одиночества. Здесь Бог. Смотри: если мы продолжим эти линии, они уже никогда не пересекутся. Отсюда – выход в космос, в астрал...

– На песочные часы похоже, – сказала я, чтобы уж совсем не молчать. – И на математический знак бесконечности, мы в школе проходили.

– Как? Что ты сказала? Мне это может пригодиться. Я ведь знал, чувствовал, что не случайно тебя встретил. Мне сегодня необходимо было поговорить именно с женщиной... Куда же ты? Эй! Постой! Эй, как там тебя?..

Трамвай дёрнулся и остановился. Ура, моя остановка! Подхватив сумку, я протиснулась к выходу и мелкой горошиной выкатилась наружу.

Какая же непроглядная темень в нашем районе, хорошо, дом через дорогу. В окне на третьем этаже маячили две тёмные детские головы. Поджидают, караулят, тоже мне, икс и игрек. Наверняка, приготовили какой-нибудь сюрприз: напелли ловушек из ниток или слепили коврижку из печенья со сгущёнкой.

Громыхая, трамвай медленно поднимался в горку, унося в темноту Фрола с его задачками на стекле. А я направилась по горизонтали, через рельсы. Больше мы с Фролом ни разу не пересекались, такое тоже бывает.

ОВЧАРОЧКА

(рассказ знакомой девочки)

Всё-таки сбылась мечта моего старшего брата: купить собаку. Только Максим хотел не любую, а именно овчарку, как он говорил – овчарочку. Последние полгода от него только и слышно было: овчарочка, овчарочку, я с овчарочкой... Даже имя ей заранее придумал – Бой, то есть Мальчик.

Разговоры брата с мамой стали напоминать военные переговоры: одному скучно гулять, не хочу идти за картошкой без Боя, не выключу компьютер, я там про собак смотрю. Главным доводом мамы против «животного», как она нарочно называла овчарочку, было то, что вместе с нами в квартире жил ещё дедушка. Нельзя из-за чьей-то прихоти нарушать покой старого человека. Но незаметно мама и сама включалась в бесконечные вечерние разговоры, где лучше всего поселить Боя, чтобы он никому не мешал, в чём отличие немецких овчарок от всех других пород, почему собака друг ребёнка и всё в таком духе.

Наконец, мама сдалась, оговорив условие, что овчарочка будет жить исключительно в комнате брата, не заходя к нам, и уж тем более к дедушке. На какое-то время Максим сделался непривычно тихим и озабоченным: пересчитывал в своей копилке деньги, все время кому-то звонил по телефону, по вечерам исчезал из дома. И однажды явился домой с сумкой, в которой подвывал щенок – маленькая овчарочка.

Никогда не знала, что собаки так быстро растут! Только мы разобрались, чем Боя кормить, переволновались, встанет ли у него правое ухо, а наша овчарочка уже вымахала в огромного черного пса с зубастой пастью, тяжелым, как палка, хвостом и двумя симпатич-

ными родинками на морде. Мой брат сам варил для него похлебку из костей, потом мы перешли на сухой корм, хотя сначала мама говорила, что это слишком дорого. И, что совершенно невероятно, теперь Максим каждое утро вставал чуть свет, чтобы до школы с Боем погулять.

Мама сначала волновалась, что дедушке будет мешать лай за стеной, но он даже ничего не заметил.

Нашему дедушке было девяносто лет, почти в десять раз больше, чем мне. Он самостоятельно передвигался по дому из своей комнаты на кухню и вообще старался всё делать сам, хотя ничего не видел. Несколько лет назад дедушка потерял зрение. Но хуже всего, что он всё забыл и никого не узнавал. То вдруг требовал для серьезного разговора моего отца, который давно с нами не жил, то начинал громко звать умершую бабушку Марусю, свою Машеньку. Я стала бояться дедушку с тех самых пор, когда узнала, что он скоро умрет. Мне часто по ночам снились про него кошмары. Может быть, ещё и потому, что меня тоже называли Машей, в честь бабушки, и мне всё время казалось, как будто все меня всё время зовёт.

Иногда у дедушки и вовсе, как говорила мама, случались бзики. Нащупав руками шкаф, он начинал выбрасывать оттуда постельное бельё и свои вещи, бормоча, что должен непременно отыскать свой партийный билет, иначе его расстреляют. Или, сжав губы, отказывался от еды, лежал на кровати и говорил, что никуда с места не тронется, потому что он старый коммунист и его напрасно оклеветали. Мама говорила, у него в голове все времена перемешались.

Потом дедушка почему-то вообще перестал спать и стал по ночам бродить по квартире. Однажды я сильно перепугалась и закричала, когда среди ночи мое лицо стала ощущать чья-то ледяная ладонь. С тех пор мы стали запира́ть двери в свои комнаты, и дедушка громко шаркал по кухне и коридору, гремел кастрюлями и дверными цепочками. Мама среди ночи просыпалась и часто плакала.

Одной такой ночью наш дедушка случайно наткнулся на овчарочку. Наверное, брат забыл запереть дверь в свою комнату, и Бой занял прохладное место возле порога.

«Найда! Милая Найда наплась!» – закричал дедушка так громко, что весь дом переполошил. Он обхватил Боя за шею и попытался поднять на руки, но овчарка стала лаять, упира́ться и кусаться. На шум выбежал брат и утинул собаку в свою комнату. Мама, охая, помазала йодом дедушке руки и уложила его в постель. А дедушка был такой довольный, улыбался и твердил: «Наша Найда наплась! Ну, наконец-то! Я ведь так и знал, что Найдочка найдётся...»

Мама потом рассказала, что в детстве у них дома жила собака, маленькая дворняжка Найда. Она даже нашла фотографию, где на коленях у ещё молодого дедушки лежит белая собачка с блестящими ласковыми глазами – полная противоположность нашему Бою.

Наутро дедушка первым делом потребовал, чтобы ему привели Найду. Ни о чём другом он даже слушать не хотел, отказался от еды, и под присмотром брата в его комнату всё-таки привели нашу овчарочку. Дедушка её долго гладил по шерсти, а брат то и дело хлопал Боя по морде, когда тот пытался прикусить дедушкину руку.

С этого самого дня дедушка стал подолгу сидеть за столом, подперев ще́ки ладонями. Он начал вспоминать. Мы поняли это, когда дедушка вдруг схватил и поцеловал мамину руку, поставившую перед ним тарелку с супом, и сказал: «Спасибо, Леночка». Впервые за последний год он назвал маму по имени. В другой раз спросил у неё: «Где же твой сын,

мой внук?» – и когда к нему подвели брата, заулыбался. Ему показалось забавным, что пришлось высоко поднимать руку, чтобы погладить Максима по голове. Дедушка ещё раз оплакал смерть бабушки Маруси, капая слезами на черную спину Боя. Овчарочка уже перестала пробовать дедушкины руки на зуб, разрешала себя трепать сколько угодно и часто спала в дедушкиной комнате.

Я тоже стала меньше бояться дедушку, иногда даже сама заходила в его комнату. Однажды я увидела, как он плачет. «Ах, Машенька, – сказал он, повернув ко мне мокрое от слез лицо. – Вот и умерла наша Найдоочка. Прямо, как человек: слезла потихоньку с кресла, забилась в угол, чтобы никого не тревожить... Вот ведь горе у нас с тобой какое». Должно быть, дедушка со всей ясностью вспомнил тот день, когда умерла Найда.

Тогда я побежала в комнату брата и позвала Боя, который ждал любого повода погоняться по квартире.

«А вот и нет, ничего не умерла. Жива Найда! Голос!» – командовала я овчарочке, и Бой послушно гавкнул.

Услышав знакомый лай, на лице дедушки выразилось совершенное изумление. Он погладил Боя по уху, потом лег на кровать и надолго замолчал. Я думала, дедушка заснул, но он снова меня позвал и сказал: «Послушай, Машенька, я тебе должен одну важную вещь сказать. Все ведь только понарошку умирают – и собаки, и люди тоже. Ты мне всегда говорила, что смерти нет, зря я тебе не верил».

Конечно, он обращался к бабушке, а не ко мне, но я все равно запомнила эти его слова. Через несколько месяцев дедушка умер. Он вдруг как-то ослаб и все время лежал на кровати, свесив одну руку, чтобы трогать свою «Найду», мама кормила его с ложечки. А однажды утром дедушка просто перестал дышать.

Больше всего на свете раньше я боялась дедушкиной смерти, похорон, венков – это был самый темный ужас моего детства. Но в тот день в доме было спокойно, тихо и нестрашно. Я потом повесила у себя над столом фотографию, где молодой дедушка держит на коленях Найду и мне улыбается. А если поднять глаза от ноутбука и быстро посмотреть на стену – как будто весело подмигивает.

Юрий Холопов

С ВАМИ ЖИЗНЬ МОЯ

Жасмин

А. Киселёвой

Зацвёл жасмин...
Сквозь сумерки июня
Плывёт благоуханная волна
И в матовом свечении полнолуния
Густеет над проулками она.

А старый домик спрятался в сирени,
Уже отцветшей, с крупною листвою.
И через кисло пахнущие сени
Выходит в сад художник пожилой.

Он любит ночь, поскольку ночью тихо,
Здесь нет друзей, здесь извели собак,
От прозвища — «таинственного психа» —
Ему уж не отделаться никак.

Он думает, вдыхая воздух сочный,
О женщинах, которых он любил,
О жизни бестолковой и порочной,
О том, что меньше с каждым годом сил,

О том, что снова скоро воскресенье,
Она придет, постучит в окно...
Что в женской страсти много откровенья,
Хоть не всегда уместное оно.

Он думает без боли, без надрыва
О смерти, о непроданных холстах...
Пришла любовь. И это справедливо,
Что прежний мир весь выветрился в прах.

Юрий Холопов родился в 1957 г. Закончил Калужский пединститут им. К. Э. Циолковского. Работал в школе, областных и межрегиональных газетах, специалистом пресс-службы губернатора Калужской области. В настоящее время методист Калужского государственного института развития образования. Автор трех поэтических и семи историко-краеведческих книг. Лауреат областных, общероссийских и международных конкурсов. Член Союза российских писателей.

Ален Делон

Я точно бы чокнулся в этом совхозе,
Когда б не французское в клубе кино.
Подарки райцентра в субботу подвозят:
Завклубу – худфильмы, завмагу – вино.
Мы смотрим чужую культуру законно.
Не надо нам больше газетных сатир!
Нас фильмы с участием Алена Делона
Возносят в ужасно загадочный мир.

Он курит изящно, «Шабли» попивая,
И лупит красиво соперников всех.
Украсть миллион – его участь святая.
У многих красавиц он знает успех.

Доярки и птичницы томно и нервно
Идут на сеанс, покупая билет.
И даже бухгалтер Глафира Сергевна
Пришпилила к стенке Делона портрет.

Насилюя ночь трескотней мотоцикла,
По улицам носится Витька Борзой.
Он тоже герой детективного цикла.
Увы! У героя сегодня запой.

Два года трубил на китайской границе,
Не дал хунвейбину Амур перейти.
Вернулся в совхоз, чтобы честно трудиться.
«Ударник труда» у него на груди.

Ах, что ж вы, Глафира! Очнитесь, Глафира!
Ваш Витька готов этот клуб развалить.
Зачем вам герой параллельного мира?
Рискните в реальности тихо пожить.

Вот кончен сеанс. Не спеша, полусонно
Я выйду из клуба, на звёзды взгляну:
Там тучка ночная, как шляпа Делона,
Накрыла прозрачную в небе луну.

Старик и мальчик

Пройди весь мир, изведай все напасти,
И скажешь, не кривя ничуть душой:
Есть две природой данных ипостаси
И чистоты и мудрости людской –

Младенчество и старость человека...
Над ними редко властвует соблазн,
И в мутном токе бешеного века
Они одни спокойны среди нас.

Старик и внук идут, держась за руки.
Желтеют одуванчики вокруг,
Листва лепечет, а по всей округе
Цветет сирень, разлив свой сладкий дух.

Они не ищут над природой власти.
Её дары не рвут, не копят впрок.
Кто больше их оценит это счастье:
Глядеть на небо, слушать ветерок?..

Так неужели надо нам бороться,
Себя изведать в горестях и зле,
Чтобы по-детски радоваться солнцу
И полюбить земное на Земле?

Синий дым

Сын советских общежитий,
Двадцать лет отдавший им,
Хоть глаза мне завяжите,
Вижу: жизнь уходит в дым.

В синий, едкий, папиросный,
В самогонный, коль запой...
Слышу, как стучат колеса
И ругается конвой.

В эшелоне лет безбожных
Отопли по рельсам ввысь
Те, с которыми мне можно
Только в памяти сойтись –

Алкоголики и воры,
Бывший наш рабочий класс.
Там, в общагах, в душевых норах,
С вами жизнь моя неслась.

Разводили тары-бары,
Кто вкуснее ест и пьёт,
А тем временем гайдары
Объегорили народ.

Незаметно для Европы,
В безработице, в гульбе,
Вы спускались не в окопы
В новой классовой борьбе.

Королёк, Сашок, Чехота –
Синий дым от ваших глаз.
Ты, российская пехота,
По могилам улеглась.

Вспомню строки «Ориона»,
Отстраненно посмотрю:
Средь пустынного перрона
Гимны прежние пою.

После праздника

Отшумела деревня, затихла.
Мужики ухом наволоочки мнут.
Погуляли и выпили лихо
За победу, за «Гитлер капут!»

Все парторг обустроил красиво:
Были в клубе доклад и концерт,
И колхоз был отмечен на диво –
Красным знаменем новых побед.

За надой, урожайность пшеницы,
За строительство птичника тож...
Только что же парторгу не спится,
И кому же он стал нехорош?

Нынче он за другое ответчик.
С прибаутками и матерком
Ходит улицей Колька-разведчик
Да к парторгу, хмельной, прямымком.

Он калитку трясет и пинает,
И кричит под собачий захлёб:
– Выходи сюда, крыса штабная!
Выходи сюда, мать твою в гроб!

Мы на фронте одном воевали,
Почему же, пойдя, погляди,
У тебя – боевые медали,
У меня же – две дырки в груди!

Я не трусил в бою перед немцем
И не раз приползал с «языком»,
Но войну ты закончил гвардейцем,
Я ж закончил её штрафником.

Мы дотопали вместе до Вены,
А почёт у нас разный, поди...
Ты ж идейный, а я – беспартийный.
Объясни же, давай! Выходи!..

Но не выйдет парторг для беседы.
В тёмной горнице курит, молчит.
И давно ему праздник Победы
Той военной махрой горчит.

Участковому жалоб не будет.
Спит у печки, не слышит, жена.
Он всё помнит, он Кольку не судит:
Это так догорает война...

Павел Тришкин

СКВОЗЬ ОТТАЯВШУЮ ТИШИНУ

* * *

Холодный кофе, тёплая рука.
Хорошего, спокойного, земного!
Люби меня, мой мир, люби любого,
Пока я здесь, ещё с тобой пока,
Потом люби кого-нибудь другого.

* * *

Между красным и черным пронзительное зеро.
Я бросаю кости, и кости становятся на ребро.
Делать свой выбор отвратительно тяжело.

Но не сделать выбор невозможно никак,
Слишком много важного отброшено влопыхах,
Слишком много пустого в моих руках...

Эта пропасть всё значимей с каждым шагом,
Эта значимость заполняется только страхом,
Есть ли здесь хоть что-нибудь, кроме праха?

Только воля моя.
Только Воля Твоя.

* * *

Обрывок апреля полощется кое-как,
Мы смотрим в окно, сквозь оттаявшую тишину.
Холодное утро, уборщица на каблуках
Неловко сметает с дорожки в совок
весну.

Павел Тришкин родился в 1981 году. Окончил КГУ им. К.Э. Циолковского. Автор двух книг стихов и публикаций в различных сборниках и альманахах. Участник нескольких литературных фестивалей и Форумов молодых писателей России и зарубежья. Руководитель областной литературной студии «Вега» с 2015 года. Составитель и организатор издания молодежного литературного альманаха «Зерно». Лауреат нескольких областных и городской литературных премий. В настоящее время живет в Калуге. Член Союза российских писателей.

* * *

Я купил бы себе речной теплоход Калуга-Алексин,
капитанскую форму, трубку и огромного попугая,
но коммерческая составляющая этого проекта
не позволяет рассчитывать на инвестиции,
поэтому в понедельник утром
мне придется тащиться
в пыльный офис,
пить там дрянной кофе,
прятать в кармане кортик
и свои надежды.

* * *

Он гибнет за своё, вам нечем крыть.
Глаза весны не сохранить сухими.
Герои умирают молодыми,
А что до нас?.. мы остаемся. Жить.

Когда уже рубцов не сосчитать
От уходящих, близких, настоящих,
А скрипка первая, и та сыграла в ящик,
Тогда приходит наш черёд вставать.

И мы встаем. Мы не умеем так,
Как те, от нас ушедшие, умели.
Но больше некому, и мы выходим к цели.
И мы несём их души на руках.

Эльвира Частикова

НА ВОРОБЬИНЫХ ДОРОЖКАХ

До любви

Жизнь всё время стремится к началу
С мощной тягой своею к причалу.
Прошептать бы успеть ей «люблю»
Прежде, чем станет равной нулю.

Можно вставить бы и про обиды,
Из окошек невзрачные виды,
Протяжённостью в лето — дожди,
Но за всё — благодарность в груди!

За удары — и те! За подножки!
За коловшие спину мне крошки
С человеком, что — не по душе, -
На последнем её вираже!

Так-то: за косяки ведь — и дозы
Наказаний, безбрежные слёзы...
А чтоб — холодно, плёво — ни дня!
Ей всегда — до любви, до меня...

Эльвира Частикова родилась на Калужской земле, в бывшей усадьбе Павлищев Бор. Закончила библиотечный факультет МГИК, заведует читальным залом в центральной библиотеке Обнинска. Её стихи и проза публикуются в российской и международной периодике. Она — автор 20 книг, из которых 16 — поэтических, первый лауреат литературной премии им. М. Цветаевой (1998), член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ.

Продолжение жизни

По дороге с работы домой обожаю без спешки
Продвигаться: то меряю скверик, то делаю крюк
К Заовражью, и ставлю попутно для памяти вешки,
А равняюсь на звёзды, конечно, ведь небо мне друг.

То подсветит луна из-за туч, то фонарь неразбитый,
То ручной новогодний фонарик, подаренный мне
Человеком любимым. А в свете сторают обиды,
Что во тьме накопились и мутью осели на дне.

Свежий воздух попутно врачует своим ароматом
С целым сонмом оттенков, но хвоя в нём тон задаёт.
Всё по-русски у нас, слева ели выходят парадом,
Справа группа берёз кружева изощрённо плетёт.

Загаденье на город в лесу, что пока что сохранен,
Хоть всё чаще наскоки, порубки... Но мы голоса
Поддаём, его жители, ибо любой из нас ранен
Произволом. Я вроде гуляю, но зрю, как лиса.

То есть, чую, вникаю, себя отдаю воле Бога,
Но при том не плошаю, с надеждой на окна гляжу
Золотого тепла, понимая, даётся дорога
В продолжение жизни. Поэтому я не спешу.

У края

Солнце алое к вершине прилепилось, как вешдок.
Рассекаем на машине симпатичный городок.
Я и не подозреваю, что сидящий за рулём
Скоро-скоро, ближе к маю, сделает свой ход конём,
Жизнь мою меняя круто под рулады соловья.
Но пока – легка минута, и ещё у нас – ничья.

Павлищевский дворец

Бывший дворец насквозь
Розой ветров продут
С ворохом звёзд, стрекоз...
Воздух – его продукт.
Значит ли это – красть
(Воздух и мой пока),
Если войти и всласть
Пить по глотку века?

Старая яблоня

Старая яблоня в зимнем саду
На воробьиных дорожках
Держит пятнадцать, имейте в виду,
Яблок в застывших ладошках.
Сладких, коричневых, годных вполне
К трапезе, в доме оттаяв.
Но доставать-то охотников нет,
Всё-таки цель не простая!
Надо быть Кем-то, чтоб взять высоту, –
Брумелем, скажем, летучим...
Старая яблоня в зимнем саду
Дразнит, банальных нас, штучным.

Наталья Торбенкова

МОЛИТВА БАБЫ ДУСИ

Странное явление – память. Когда пытаешься что-нибудь нужное по делу вспомнить, закроет все свои комнатки, ящички задвинет, замочки накрепко запрёт – и наблюдает в створонке, как ты мучаешься, стараясь поймать ускользающее слово: название, фамилию, дату. И когда мозги уже от напряжения гудят, милостиво подsunет искомое, усмехаясь: вот балда, такой простой вещи вспомнить не можешь, лечи склероз! А порой тебе и вспоминать ничего не надо – спи себе или прогуливайся, давая отдых натруженным извилинам – так память распахнёт все свои двери, и на тебе! Толпятся люди, события, напоминая прошлое, заставляя размышлять и вновь чувствовать минувшее.

Сегодня ночью память привела ко мне бабушку Дусю – образ из дальнего детства. К чему бы мне вспоминать её, виденную всего несколько дней, когда было мне восемь лет?

Мама моя работала поваром в детском саду. Летом её детский сад выехал на дачу в деревню Дворцы Лев-Толстовского района, и мама взяла меня с собой. Была такая практика в советское время – забота о счастливом детстве. Старших детей отправляли в лагерь, а младших – на летние дачи, чтобы городские задохлики напитались за лето солнышком и свежим воздухом. Правда, такой выезд в мамином детсаду был единственным на моей памяти.

Разместили детишек на деревянных раскладушках-козлах в классах старой Дворцовой школы. Часть персонала находилась при детях постоянно, а часть уходила на ночлег в деревню. Нас с мамой поселили к бабе Дусе. У неё была изба на две части поделена – с другой стороны жил её сын Сашка с семьёй.

Мне, сугубо городской жительнице, многое в деревне в диковинку. Электричества в деревне не было. Вечерами баба Дуся зажигала керосиновую лампу. Школа, где жили дети, тоже освещалась такими лампами и свечами. А мама уходила на работу рано-рано, потому что нужно было топить дровами большую каменную плиту с железными кругами и дверцами, чтобы успеть приготовить завтрак для детского сада.

Мы с бабой Дусей вставали тоже рано. Бабе Дусе нужно было подоить рыжую с белыми пятнами корову Зорьку, а потом выпастить её в стадо, которое пылило по дороге на огромный луг над рекой. Меня никакие дела не заставляли вставать так рано.

– Чего взгомозилась? – незло ворчала баба Дуся. – Спи ещё! Набегаетесь, успеете...

Но как это можно спать, когда уже проснулась, я ещё не понимала. Бабушка процеживала молоко через двойную стираную марлю в трёхлитровые банки. Остаток из ведра, тоже через марлю, сливала в две фаянсовых кружки с голубым ободком, отрезала два больших ломтя ноздреватого серого хлеба. Это был наш ранний завтрак. Я не помню точно вкуса того молока и того хлеба. Молоко было густое и сладкое, а хлеб слегка прилипал к зубам.

Деревня была уже в трудах. Хлопали и скрипели двери, мычали коровы, изредка раздавалось овечьё блеянье. Не слышалось только человеческих голосов. Никто не кричал ко-

Наталья Торбенкова – калужанка, журналист, социолог, психолог. В последние годы работает литературным редактором. Весной 2017 года издала книгу рассказов «Как я синиче ноги мыла». Сейчас готовится к печати её вторая книга – заметки и рассказы об интересных случаях из профессиональной деятельности, о житейских ситуациях, об увиденном и услышанном, о людях и животных, о смешном и печальном.

му-то издали, не переговаривался через плетень, не бранил провинившихся домашних. Рано ещё, дети спят. Тишина.

А я уже выбегала из дому, прихватив сандалии за ремешки. По деревне, в лес, на речку я бегала босиком, но в детский сад, к маме на работу, велено приходиться обутой. Утром у меня было два пути – вдоль деревни к лесной дороге или мимо школы, мимо деревенского магазинчика, который был ещё закрыт, в поле с цветущим бессмертником, а оттуда с высокой кручи по песчаному откосу на речку. На Утре у берега цвели кувшинки в жёстких кожистых листьях. А в лесу, слева и справа от дороги, были заросли дикой малины. Лес казался дремучим и тёмным. Я сама себя пугала, воображая страшные лесные опасности, поэтому далеко от наезженной дороги не уходила. В лесу можно было увидеть белку на дереве, ёжика, шепбуршащего под кустом в прошлогодних листьях, даже зайца-русака. А ещё можно посту- чать по дереву складным ножичком и слушать, как отзовётся дятел.

К маме я должна была приходиться перед завтраком без опозданий. Только тогда у нее было несколько минут свободного времени, чтобы расчесать мои длинные, ниже пояса, волосы и аккуратно заплести их в две толстые косы. Самой мне это было трудно.

Потом я завтракала вместе с детсадовской малышкой. Помогала воспитателям, если попросят, покормить самых маленьких. Я ведь уже взрослая была – перешла в третий класс.

Читала книжки детям, если попросят, играла с ними. В тихий час после обеда укладывала спать и присматривала, чтоб не безобразничали. Мне нравилось, когда меня хвалили за помощь.

С деревенскими детьми, даже с внуками бабушки Дуси, у меня дружбы не получалось. Они жили с другой стороны избы и стремления общаться с городской девочкой, которая являлась только под вечер на ночлег, не выказывали.

Мама вечером отправляла меня спать к тете Дусе одну. У неё ещё была работа. А после работы женщины усаживались на школьном крыльце и обсуждали итоги дня – Славика из малышовой группы искушали пчёлы, аж все глаза заплаыли, девочка Болдина всё время к маме просится, плачет, Петров из старших опять набедакурил...

Перед сном мы с бабой Дусей мыли ноги в корыте, из которого днём пили куры. Потом я укладывалась на деревянный топчанчик в углу. Сенной матрасик был набит плотно, поверх него лежало старое ватное одеяльце, простынка пахла серым хозяйственным мылом и свежим ветерком.

В комнате на столе стояла керосиновая лампа. Огонёк её колебался от малейшего дуновения. И тогда приходили в движение тени, таившиеся в углах избы. Баба Дуся снимала беленький головной платок, ситцевый передник, длинную тёмную юбку, кофту со сборками на груди, складывала аккуратно одежду на табурет около своей кровати. Оставаясь в белой без рукавов рубаше, подпоясанной под животом чёрным плетёным пояском, снимала с кровати и сворачивала голубое в белую сеточку покрывало, кружевную накидку с подушек, откидывала одеяло. Потом подходила к освещённой лампадкой иконе и кланялась, нагибаясь головой с жидкими косицами заплетённых веревочкой волос почти до полу, и говорила:

– Ну вот, Господи, и день прошёл. Спасибо тебе, что живы, целы и сыты.

Сказав это, крестилась, снова кланялась и продолжала свою молитву.

– Я сегодня, Господи, уж просить тебя хотела... Пенсия-то вся выпшла, хлеба купить не на что. А потом думаю, что и тебе-то лихо самому – сколько людей на свете рассеяно,

и каждый у тебя что-то просит: дай того, дай этого. Разве управиться с такой пропастью народа? Схватила банку молока да к Марье пошла на тот конец. У неё коровы нет, а родня из Москвы приехала. Взяли за полтора рубля, сказали ещё приносить. Вот и на хлебушек есть. Завтра к Тихону пойду, там и куплю. Там хороший хлеб пекут...

– Ой! – спохватилась баба Дуся и перекрестилась, кланяясь. – Спасибо тебе, Господи, что надоумил, как денежек на хлеб добыть. Да ещё потом Глаша пришла, принесла старый долг – три рубля. Так что до пенсии мне теперь хватит. Ты про это не беспокойся. Я только про одно прошу тебя, Господи, вразуми ты Сашку моего, чтобы бросил он выпивку свою проклятую. Так-то он малый хороший – и руки золотые, все машины чинит, и жену любит, и детишек. А как глаза заляёт, то всё – хоть из дому беги. Горе одно! Завтра к Тихону пойду, молиться за него буду. Может, преподобный его вразумит? Спаси, Господи! – опять крестилась и кланялась.

Сашка, младший сын бабы Дуси, работал в колхозе водителем грузовика и механиком. Старший, Фёдор, – в городе, на заводе. Раз в выходной Фёдор приехал навестить родню. А к нам с мамой в тот день приехал отец, тоже провести решил. Мужики сговорились пойти на речку, на рыбалку. А я за ними увязалась. Сашка большую щуку поймал и бросил на песок.

– Знаешь, какие у неё зубищи! Ужас! Иди покажу, – позвал он меня.

Я присела на корточках. Он ножом приоткрыл пасть рыбе, показывая мне частокол острых белых зубов. Мне захотелось их потрогать, я сунула палец в рыбий рот. Рыба дёрнулась, нож Сашкин соскользнул, и пасть захлопнулась с моим пальцем внутри, в который впились маленькие кинжалы. Я зорала во всю силу. Рыбаки бросились ко мне, а я, не соображая от страха, кинулась бежать вверх по откосу крутого берега. Щука волочилась следом за мной.

Сашка поймал меня уже наверху, в поле, ножом разрезал сомкнутую щучью пасть и швырнул рыбу с кручи вниз. С пальца лилась ручьём кровь.

Он схватил меня на руки и бегом притащил в школу, где детсадовская медсестра Варвара Ивановна промыла и перевязала мой палец. Было очень больно. Меня уложили в постель, напоили чаем. Я проспала до ужина.

Вечером большой компанией пошли купаться. Я тоже пошла. Плавать ещё не умела, барахталась возле берега. Отец с Сашкой и Фёдором, искупавшись, сидели наверху, наблюдая за женщинами с высоты. Они пили прихваченную с собой водку.

Когда мы с мамой и двумя женщинами из детского сада поднялись к ним, Сашка сказал:

– Надо научить тебя плавать! У меня и Галка, и Пашка, и Сенька, малой, все плавают уже.

– Я сам её научу! – вдруг сказал отец. Он взял меня на руки и пошёл на край обрыва. Я не подозревала ничего плохого, обхватив его руками за шею. А он вдруг бросил меня с кручи вниз, в реку.

Я с головой ушла под воду, била в ужасе руками и ногами, стараясь выбраться, хватая ртом воздух. Ко мне, обваливая ногами кучи песка, сверху бежал Сашка. С фонтаном брызг он ворвался в воду и вытащил меня.

Наверху на отца сердито кричали все. Мама кинулась ко мне, стала растирать полотенцем, успокаивать. Сашка ударил отца, Фёдор бросился их разнимать, заголосили женщины.

Отец ночевать не остался, вышел на шоссе и на попутной уехал в город. Мама тогда долго сидела возле моей кровати, успокаивала, глядя по голове и тихонько плакала.

Я слушала молитву бабы Дуси и не понимала, какое ж Сашка – горе. Он – добрый, спас

меня от щуки и из воды вытащил. И улыбаются так хорошо, когда меня увидит.

– Баба Дуся, – шёпотом позвала я. – А кто это – Тихон?

– Чего не спишь? – обернулась бабушка. – Тихон – это святой наш. И монастырь так называется. Завтра пойду туда. Хочешь со мной?

– Хочу! – обрадовалась я. Хотела ещё спросить, что такое монастырь, но побоялась рассердить бабу Дусю.

Она опять стала беседовать с богом, рассказывая ему о своей дневной жизни. А я подумала про свою бабушку Агрипшину, которая тоже молится возле иконы утром и вечером. Только она не так с богом разговаривает. Бормочет напевно, и слов не разобрать. И тоже кланяется и крестится.

На следующий день я спросила у мамы, можно ли мне с бабой Дусей пойти к Тихону.

– Дойдёт, не устанет, ножки молоденьки! Я, старая, всю жизнь пешком хожу. А её кажин раз на лошади, что ль, возить? Пуцай приучается калачи с маком есть, – засмеялась баба Дуся.

Шли мы от Дворцов до села Льва Толстого долго, никак мне не удавалось приноровиться к мелкому старушечьему шагу, и я шла спиной вперёд, чтобы удобно было разговаривать. Я рассказала бабушке, кто такой Лев Толстой, уже много его книг прочитала.

– Это его именем село назвали, – сообщила я своей слушательнице.

– А мы всю жизнь говорим – к Тихону пошла. Вы-то – грамотные, всё знаете... Воона монастырь, гляди!

Я сама уже давно увидела голые рёбра купола на облупленных кирпичных стенах, высоко вознёсшихся над крышами домов. Над сквозным пространством купола и в нём летали вороны. Старое полуразрушенное здание оставалось огромным и величественным. У меня сразу устала шея смотреть в вышину. А баба Дуся дала мне в руки чёрную брезентовую хозяйственную сумку с ручками, перевязанными ситцевым платком.

– Ты постой тут, не уходи никуда. Будешь смирно стоять и ждать меня, а я тебе пряник куплю. Пойду Тихону преподобному помолюсь.

Она стала перед входом в бывший храм, прямо перед массивной дверью, запертой на висячий большой замок, перекрестилась, поклонилась и что-то стала говорить, глядя вверх, выше двери. Её руки то прижимались к груди, то разводились в стороны, то обхватывали ладонями сокрушённо покачивающуюся голову в белом платке.

Мне очень хотелось послушать, о чём баба Дуся разговаривает с преподобным Тихоном. Но я боялась её послушаться и стояла, где она меня поставила. Стояла я возле небольшого скверика, окружённого штaketником. Неподалёку лошадь, запряжённая в платформу, уставленную алюминиевыми молочными бидонами, объедала запылённую травку на обочине. От лошади пахло так, как пахнут цветки бессмертника на дворцовском поле, если помять жёлтые сухие лепестки в пальцах.

– Ну, вот, молодец! – баба Дуся потянула у меня сумку из рук. – Теперь пойдём хлебаца купим в пекарне. А потом в магазин зайдём за пряничками. Я внукам всегда от Тихона пряничков приношу. У Сашки трое – Галка, Пашка и Семён. Господи, хоть бы не пил! Ведь как выпьет, зверь сущий!

– Он хороший, – заступилась я за Сашку.

– Хороший... – вздохнула бабка. – Когда трезвый-то, хороший...

Пришли мы от Тихона к обеду, и я сразу убежала к маме в детский сад. А вечером она наказала мне идти спать, сказав, что закончит дела и придёт. Баба Дуся собиралась уходить, накинув на плечи красивую шёлковую шаль.

– В гости к Глаше схожу чайку попить. В дурачка поиграем... Лампу тебе зажигать не буду. Лампадки хватит. Разбейся да ложись, скоро мамка придёт.

Я не стала раздеваться, решив дождаться маму. Глаза привыкли к темноте, и света от лампадки вполне хватало, чтобы различать предметы. В полумраке всё выглядело таинственным и загадочным. Мне подумалось, что у себя дома придётся привыкать к яркому электрическому свету и там всё будет выглядеть просто и ясно.

За стеной раздался женский крик. Я прислушалась, но слов было не разобрать. Заплакали дети. Перекрывая все звуки ворвался хриплый мужской голос:

– Да я вас! Где топор?!

Топор я видела в сених у бабы Дуси. Он лежал у стены, за большой бочкой.

– Щас всех ... топором! – кричал кто-то страшный.

– Саша, Саша! Опомнись! – отчаянно рвался женский голос. – Детей пожалей!

Мне было очень страшно, что того, кто кричал хриплым голосом, называли Сашей. Улыбчивый добрый Сашка представился мне чудовищем. Он сейчас схватит топор и убьёт всех – жену, детей, потом ... меня.

Я вскочила со своего топчана, пробежала по комнате, выскочила в тёмные сени, схватила топор и засунула его под пустую бочку. Потом заперла входную дверь на крючок, который баба Дуся накидывала только на ночь, а днём, даже уходя из дома, она дверь не запирала: на моё богатство никто не позарится, говорила.

На другой половине Сашка орал жутким, не похожим на его голосом. Громко плакали дети. Я залезла на топчанчик, прижалась к стене. Сашка не войдёт в сени, не найдёт топора. Почему бог не вразумляет Сашку, вспомнила я молитву бабушки Дуси. Слишком много людских просьб приходится ему выполнять, на всё времени не хватает...

Вдруг в стене открылась дверь, и хлынули свет и голоса. В проёме двери стояла тёмная фигура:

– Мать, где топор? Дай топор!

Я не знала, что между двумя половинами дома есть дверь. Свет померк, меня окутала ватная тишина.

– Обмерла девка-то, обмерла!

– Отойдите, дайте свету!

Резкий запах нашатыря заставил меня глубоко вздохнуть. Я открыла глаза и увидела склонившуюся надо мной медсестру Варвару Ивановну. Рядом с ней взволнованное лицо мамы. За ними стояли ещё люди. Баба Дуся и её подруга Глаша попали в круг света от лампы, тех, кто за ними стоял в темноте, я не видела.

Меня подняли с пола, на котором я лежала. Мама взяла меня на руки.

Баба Дуся плакала и прижимала к виску марлеву салфетку.

– Вот, милая, а ты говоришь – хороший... Меня зашиб, пока уняла-то. Слава богу, мужики Глашины дома были. Они Сашку и повязали. Теперь проспится, опять хороший будет. Вы б ночевать-то остались, а? Теперь уж он – всё, отбуйнил. Завтра прощения просить будет.

Варвара Ивановна подняла сумку с нашими вещами.

– Нет-нет, в школе переночуют, найдём место.

Я слезла с маминых рук и пошла своими ногами. У меня что-то спрашивали, но ответить я не могла, не получалось у меня говорить. Варвара Ивановна напоила нас с мамой какими-то лекарствами и уложила спать в медицинском изоляторе.

На другой день, когда приехала из города машина с продуктами, мы с мамой отправились домой. Я уже могла отвечать на вопросы, но говорила, заикаясь. Это заикание прошло только через несколько лет. Часто на уроках, стоя у доски, я не могла произнести ни слова и получала двойку. Хотя, успокоившись, отвечала на пятёрку.

Проезжая мимо Тихонова монастыря, я вспомнила молитву бабы Дуси и шёпотом попросила Тихона преподобного, чтобы он вразумил Сашку.

Мама отвезла меня домой и снова уехала во Дворцы. Она ведь повар, кто детей вместо неё кормить будет?

Зачем приходила ко мне ночью забытая баба Дуся? Зачем мне через столько десятков лет вспомнился её неспешный разговор с богом? И наш поход к Тихону? И добрый и страшный Сашка? Странны дела твои, память!

БЕЛЫЙ БИМ, БЕЛЫЕ УШИ

В соседнем доме жила семья. У них была собака Бим – светлой, почти белой, масти, довольно крупная и беспородная. Специально такую завели или сама прибилась, не знаю. А Бимом назвали потому, что после фильма по повести Г. Троепольского «Белый Бим, чёрное ухо» многие называли собак в честь героя фильма. У этого Бима не было никаких черных отметин, и уши были такие же светлые. Семье не повезло: сначала заболела и умерла мать, буквально следом за ней, не выдержав утраты, умер отец. Сын, женившийся ещё до армии, забрал 15-летнюю сестру в свою семью. Бима тоже забрал, но собака вернулась на старое место – очень любил пёс умершего хозяина. Соседи жалели и подкармливали Бима.

А Бим нёс службу. Во дворе у многих оставались саран, где бабки держали кур, кроликов. Такого засилья автомобилей во дворах тогда, в 80-х годах, не было, и машины обычно держали в гаражах, но иногда «запорожцы», «москвичи», «жигули» соседские ночевали под окнами. Иногда на ночь оставалось развешанное на верёвках бельё. Бим охранял всю территорию. Однажды задержал ворюгу, который белым днём, выждав, когда баба Настя отвлечётся, зашёл в открытый сарай и вытащил самого большого кролика из клетки. Но у выхода его встретил Бим таким грозным лаем, что алкаш попятился обратно в сарай, а баба Настя, заболтавшаяся было с соседками, ринулась на защиту своего имущества. Соседки подругу в беде не оставили и так дружно навалили мужику, что тот еле ноги уволок, закаявшись посягать на чужое добро.

Ночами часто раздавался громкий лай Бима. Тогда было много бродячих ничьих собак. Но на нашу территорию они забежать опасались – Бим отвадил. Если какая и заходила, то только с его позволения. Бим у окрестных псов, видно, был в большом авторитете. Хотя я никогда не видела, чтобы он грызся или дрался с кем-нибудь из них. Бим был очень интеллигентным псом, несмотря на свою беспородность. Всегда был чистым и опрятным, что при светлой шкуре было, наверно, нелегко. И не заглядывал в глаза тем просящим голод-

ным взглядом, свойственным дворняжкам. Он нёс службу и принимал заслуженную плату за неё в виде кормежки и небрежной, мимоходом, ласки.

Я тоже подкармливала его. Все кости и остатки еды сберегались для Бима. Увидев меня, он сразу шёл к большому кусту, под которым я поставила для него миску, и вопросительно смотрел на меня. Если у меня в тот раз ничего не было и я огорченно разводила руками: прости, забыла, – пес подходил и осторожно бодал в ногу лобастой головой. Мол, ладно, не кручинься, погладь лучше.

Когда я задерживалась на работе, особенно зимой, страшновато было возвращаться в темноте. В нашем глухом углу фонари редко горели. Но на подходе к тёмному скверику в варежку молча тыкалась большая морда. И на душе становилось спокойно. Бим провожал меня до самого подъезда. А я в благодарность выносила ему чего-нибудь вкусненького.

На моём пути к дому была асфальтированная площадка, на которой останавливались на ночь большие грузовые машины, привозившие что-нибудь на машиностроительный завод или ожидавшие груза. Нередко в них ночевали и водители, чтоб не тратиться на гостиницу. Да и какие гостиницы были в то время! Таблички «Мест нет» администраторы со столов и не убирали.

Однажды я задержалась в типографии допоздна. Пришлось перевёрстывать журнал. Я тогда работала ответственным секретарем в редакции. Иду домой, темно кругом, а на парковке стоит большая фура и свет в кабине, музыка – водители ужинают. Вдруг из кабины выпрыгивает мужик – и ко мне.

– Девушка, а пойдём к нам! Музыку послушаем, выпьем, посидим культурно!

Хватает при этом меня за рукав, дышит в лицо водочным и луковым духом. Я пытаюсь вернуться, но он цепко обхватывает меня за плечи, за талию. После отработанных 12 часов у меня и сил-то для сопротивления нет. Пытаюсь оттолкнуть придурка и глупо повторяю:

– Что вы делаете! Что вы делаете!

Вдруг в мой мозг приходит отчаянная мысль, и я кричу из последних сил:

– Бим! Бим! Ко мне!

Мне никогда не приходилось отдавать Биму какие-то команды, звать его. И никакой надежды, что он действительно прибежит, у меня не было. Но вдруг мужик испугается, задумается, ослабит хватку – хотя бы убежать попытаюсь. А у того и вправду на лице озадаченное выражение появилось. Я обернулась. Из темноты на слабый свет, падающий из кабины, летела огромная белая собака с оскаленной пастью. Баскервильское чудовище да и только! Мерзавец бросил меня и на мгновение растерялся.

– Беги! – крикнула я. – Порвёт!

Мужик припустил к машине что было мочи. Бим, рыча и взлаивая, мчался за ним, и пока тот открывал дверь кабины, успел прихватить его за штанину. А может и часть ноги зацепил. Укрывшись за железной стеной, водила что-то орал за стеклом, вертел пальцем у виска. Второй, что был в кабине, всматривался в темноту.

А я погладила вернувшегося ко мне Бима с безмерной благодарностью и запоздало разревелась. Дойдя до своего подъезда, распахнула дверь, приглашая с собой:

– Пойдем, Бимушка, ко мне в гости! Накормлю, погреюсь, а то и ночевать оставайся!

Но пёс попятился от двери, по-моему, даже слегка головой помотал. Бим никогда не заходил в подъезд ни соседнего дома, ни нашего. Я сбегала домой и отрезала большой кусок докторской колбасы, которая была тогда в большом дефиците, как, впрочем, и вся осталь-

ная еда. Бим, увидев меня, не выхватил колбасу из рук, а привычно пошёл к миске под большим кустом. Я положила колбасу в миску, ещё раз подивившись интеллигентности этого безродного, беспородного пса.

Ещё несколько лет после этого случая Бим встречал меня тёмными вечерами и провожал до подъезда. Исчез как-то внезапно. Я спросила у старушек из соседнего дома. Те ответили, что вот уж недели две не показывается.

— Да старый уж стал, может, помирать куда ушёл. А может, машиной сбило, кто его знает, — пожимали плечами старушки. — Носятся тут, паралик их забери, как полоумные!

Я долго ещё подкладывала косточки в миску под большим кустом. Долго вечерами надеялась, что вот в темноте снова ткнётся в руку большая морда, лобастая башка с мягкими ушами. Я и теперь иногда, возвращаясь домой затемно, жду...

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Там, где люди по тропке на железнодорожную насыпь поднимаются, на обочине яблоня растёт. Кто её там посадил и зачем? А может, просто огрызок яблочный с семечками спелыми бросили, вот одно и проросло. Очень давно. Эта яблоня уже много лет стоит — корявая, горбатая, несуразная какая-то. Вечерами проезжающие машины подсвечивают фарами её скрюченный силуэт, и выглядит это страшно. Так и хочется спросить старую яблоню:

— Ну, и зачем ты тут? Кому нужна? Какой смысл в твоём существовании?

А сегодня утром бегу по тропке на переход через железнодорожные пути и вижу — старая яблоня вся в бело-розовом цвету. И под этим сияющим кружевным покровом ни убогости, ни корявости не видно. И сама она как-то выпрямилась, а цветущую ветку над дорожкой протянула. Будто остановить проходящих людей хочет, чтобы полюбовались её красотой. И тропка та, и всё вокруг неё осветилось радостным праздничным светом, словно тропка не на железнодорожный переход ведет, а в необыкновенный храм.

Вот ведь — сколько лет росла там, где никому не надобно, пейзаж не украшала, десятком мелких кислых яблочек своего существования не оправдывала. А может, для того и росла, и силы копила, чтобы однажды озарить мир нежным бело-розовым сиянием, наполнить жизнь красотой.

Вот так торопимся порой судить о смыслах. Прости, старая яблоня!

Маргарита Бендрышева

КУЛИСЫ ЛИСТВЫ

Набережная

У города, что кормится с руки
Разливистой извилистой реки,
Нет набережной... Bravo, люди, bravo!
Асфальтовая уличная лава
Ползёт к волне и тянет языки
До самых сходней летней переправы,
До мелководья, где снуют мальки.

Оборка, лента, кружево – каприз! –
Без набережной можно обойтись,
Как без всего по сути наносного.
Есть берег – неизменная основа,
Надёжная и честная – коснись!
Порою так: нет музыки, есть слово,
Счастливой нет, но есть простая жизнь.

* * *

...и расстучались кулисы листвы,
Город свободен, и так интересно
Вновь на страницах его чистовых
Перечитать подзабытые тексты!

Ищущий взгляд беспрепятственно прям,
Целых полгода теперь будет просто
Мне наблюдать из окна по утрам,
Как через двор ты идёшь к перекрёстку...

Двенадцатый месяц

Двенадцатый месяц отраден, как пламя свечи,
Пусть даже зимы затянулось бесснежье-безденежье,

Маргарита Бендрышева – поэт и прозаик, автор детских сказок и пьес для музыкального детского театра – родилась в 1972 г. в Калуге. Лауреат областных литературных премий им. А. Леонова и В. Берестова. Лауреат международных литературных конкурсов «Звезда полей» им. Н. Рубцова, «Русский Stil», «Белая скрижаль», «ЛитоДрама», «Поэтический атлас», шестого японо-российского конкурса хайку Akita International Haiku Network. С 2007 г. руководит литературным клубом «Галерея». Составила и издала серию альманахов «Галерея» и «Молодые поэты Калуги». Член Союза писателей России.

Но, звонкие, в небе мерцают созвездий ключи,
Открой же дворец Козерога! Неспешно и бережно
Войдёт в него Солнце по мраморным чёрным полам,
Затеплит очаг от лампадного малого факельца.
Не верю я, нет, будто тьма предназначена нам,
Не всё истребится, останется что-то, останется...

Ассоль

...а Ассоль-то замужем за рыбаком!
У неё прилавков свой на рынке.
Под ножом её широким, под скребком
Нет пощады сайрам и сардинкам.

У Ассоль всегда платок на волосах,
Платья без каёмки и оборок.
Жилы рук прочней, чем новая леса.
Кажется, Ассоль уже за сорок.

Нет, она не дока в брани и речах:
Полсловца лишь с кем-нибудь из местных.
Пусть себе молчит, раз хочется молчать,
Рыбы тоже немые, но полезны.

У рыбачек нет надежд на миражи,
Полон каждый день привычным грузом.
Если жить мечтой, в мечте растает жизнь,
Как на жарком берегу медуза.

Дачный шмель

Дачный шмель — он сумел переждать эту зиму.
Он очнулся, бессилен, почти безнадежен и сохл.
Но недаром же запах спасительных примул
Так дразнящ...
Задевая брюшком за травинки и мох,

Шмель заводит полёта пунктирную строчку,
То и дело сбиваясь и так с небольшой высоты.
Но воспрянет, нектара испив, и уж точно
Своё лето исполнит не хуже, чем я или ты.

Л ю д м и л а Ф и л а т о в а

...А ВЕЧНОЕ ДЛИТСЯ

Радуюсь

Радуюсь яблоку! Да и огрызку...
Семечки-то каковы?!
Хмурому солнцу, что катится низко
По-над кроватью зимы,

Звонким стволам, каждой лапе смолистой,
Крыше, оградке в снегу.
Радуюсь, что так прозрачно и чисто
Здесь... и на том берегу.

Меж осенних туч

Ни светло, ни весело,
Так зачем роса
По ветвям развесила
Сны и голоса,

Вздохи с придыханием,
Слёзы паутин,
Влажные лобзания
Мреющих рябин,

Охристые прядочки –
Долго ль до зимы? –
Клады и закладочки
В переборах тьмы.

Сетовать или каяться?..
Вот и первый луч,
Что надеждой мается
Меж осенних туч.

Людмила Филатова живёт и работает в Калуге, поэт, автор десятка поэтических книг, сборников пьес и прозы. Публиковалась в антологии русской женской поэзии «Вечерний альбом», в сборнике «Современная русская лирика», в трёхтомнике «Антология русского лиризма. XX век», в различных журналах. В народном литературно-поэтическом театре идут спектакли по её стихам и пьесам. Большой цикл песен и романсов «Русь грешная» на её стихи вышел в 2004 году в сборнике композитора В. Галковой «Я так чувствую». Лауреат литературной премии имени М. Цветаевой. Член Союза писателей России.

* * *

Вот и октябрь. Как странно, как щемяще
Журчит вода. Пора зиме, пора.
И чем рябина делается слаще,
Тем горче и тоскливей вечера.
А дни – бесцветней, пасмурней, короче.
И словно хочет ночь сокрыть от глаз
То, что доступно только долгой ночи –
Все перемены завтрашние в нас.

* * *

Это дерево за окном
Без конца меняет наряд:
То оно зеленым-зелено,
То огнём его ветви горят,
То дрожит оно нагишом,
То в плаще стоит ледяном,
А по самой суровой поре –
Вдруг красуется в мишуре...

Слушай, дерево за окном,
Перестань меня сторожить!
Что с того, что тебе суждено
Пережить меня, пережить?..
Ты растёшь верх и вниз, и вширь...
Я расту лишь в себя, в себя,
И потом за собой этот мир
Уведу, уходя, уходя...

* * *

Всё когда-то вздохнёт и закончится.
Не кончается только любовь.
Потому её больше не хочется...
Проступает вчерашняя соль
На сегодняшних гроздьях сирени,
На споткнувшейся звонкой воде.
И никто эту боль не отменит,
И в последний – вот-вот уже... – день
Лишь она на груди прирастет
Верной кошкой, незримой для всех.
Всё проходит. А вечное длится:
Слово, слёзы, объятия, смех...

Александр Ларин

ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

Повесть

По дороге из деревни Крутицы (тракт этот калужане издревле называют Смолокуркой) понуро плелась лошадка. Раскованно сидящий на телеге возница дымил самокруткой, облокотившись спиной о стоящие на-попа бочки. На задке примостился человек лет сорока в пенсне и выцветшей велюровой шляпе. Он задумчиво глядел на убегающую из-под скрипящих колес лесную дорогу; изредка, невзирая на тряску, человек умудрялся что-то торопливо записывать в блокнот. Вот корабельные сосны расступились, телега выбралась из бора в пойму речки Яченки. Владелец пенсне спрыгнул с тряска задка, обогнал медлительное средство передвижения и сказал вознице:

– Езжай в город да передай музейным: буду завтра.

Тот кивнул, стегнул животину по крупу и повлёкся дальше по пыльному проселку к мосту, за которым стояла тихая мельница – аккурат под Загородным садом. А человек снял шляпу, отряхнул ее о колено и бодро запагал по выющейся вдоль бора тропинке к лесничеству, поглядывая вокруг. Роскошные пойменные яченские луга дышали ленивою негой. По прибрежной осоке высокомерно расхаживали на своих длинных ногах цапли.

– Дима! Малинин! – услышал он негромкий оклик из орешникового подростка. Обернулся. К нему шел священнослужитель в порядочно выцветшей рясе и скуфейке. В руке его покачивался туес с травами.

– Иван! Вот так неожиданная встреча! Рад тебе, рад, – пошагал к нему Малинин, широко раскинув руки.

Обнялись.

– В бору отдохновения ищешь, человече? – улыбнулся священнослужитель.

– Да нет, Иван Иванович, все гораздо прозаичней. Был в Крутицах по музейным делам, а сейчас плетусь в лесничество к товарищу Домбровскому с нижайшей просьбой: нарезать пять сотен штук драни при посредстве непревзойденного виртуоза Николая Любимова.

– Тогда нам по дороге. Я ведь тоже по душу объездчика бреду.

Негромко переговариваясь, они продолжили путь.

* * *

В лесничестве гостей встретили тепло. Да оно и понятно: священник Одигитриевской церкви Иван Иванович Сперанский и директор губмузея, краевед Дмитрий Иванович Малинин были в Калуге людьми известными и уважаемыми. Объездчика Домбровского им посоветовали искать в сторожке тринадцатого квартала, куда он с раннего утра направился с таксаторами.

Александр Ларин – член Союза писателей России с 1998 года. Автор 25 книг художественной прозы, девять из них вышли в крупных издательствах Москвы. В областной периодической печати опубликовано около пятидесяти историко-краеведческих работ. Лауреат Всероссийской литературной премии им. братьев Киреевских «Отчий дом», областных литературных премий, а также журналистской премии Государственного Эрмитажа «Искусный глагол».

– Жительство товарищ Домбровский имеет, конечно, на Яченской сторожке, тут недалеко, – сказала жена лесничего, – но приходит домой поздно, такая уж доля объездчика. Хотя, – женщина посмотрела на настенные часы, – ...хотя они верхами подались, на обед придут к себе в сторожку.

– Ну что, Иван Иванович, рискнем? – посмотрел на Сперанского краевед.

– Рискнем, раз уж мы здесь. Тем более что риск-то ничтожный, если прогулку по нашему реликтовому бору вообще можно назвать риском. Воздух-то, воздух какой! Ну, с Господом... – священник сотворил знамение, и за удаляющимися спутниками будто сомкнулись кроны сосен.

Час расслабленной ходьбы – и сквозь просветы стали видны стожки свежего сена, узкая высокая обзорная каланча, крепкая изба сторожки, драночная мастерская, склад для хранения досок и несколько пар высоких козлов для ручной продольной распиловки бревен. В просторном сарае хрюкала и кудахтали живность. У коновязи стояли три верховые лошади в полной сбруе и при седлах. Малинин подошел к каурому жеребцу, провел ладонью по крупу:

– Пот еще не высох. Значит, только что приехали. Не будем мешать трапезе. Отдохнем в тенечке, – Сперанский приподнял замоченный росой подол рясы, и вскоре оба путника сидели под сенью разлапистой ели.

– Позвольте полюбопытствовать, Дмитрий, какие такие музейные дела образовались у вас в Крутицах? – хитро посмотрел священник на Малинина, раздвинув окладистую бороду в улыбке. – Полагаю, что-нибудь из народного творчества?

– Если бы. В семнадцатом, когда освобожденный от оков самодержавия народ стихийно расправлялся с поголовьем сановных угнетателей и их материальными, так сказать, ценностями, далеко не всё было уничтожено (ну, это вы и сами прекрасно знаете). Так вот, один крутицкий землепашец в те роковые дни гостил в Калуге у свояка. Поддавшись всеобщей вакханалии разрушения, двинулся он с толпою в усадьбу князей Голицыных, где в качестве трофея положил в свою сермяжную суму редкостной работы ларец сольвычегодских мастеров и два венецианских хрустальных бокала с межстенным золочением из коллекции князя Николая Дмитриевича...

– Кстати, где он сейчас, что с ним? Я знаю только, что в семнадцатом он был арестован Чрезвычайкой.

– Увы, Иван Иванович. Ничего хорошего. Живет князь в Петрограде, а деньги на пропитание зарабатывает... сапожным ремеслом!

– Н-да-а... Калужский губернатор, князь, тайный советник, сенатор, член Государственного Совета, председатель Совета Министров; кавалер орденов Станислава, Анны, Владимира и прочая, и прочая... Вот так сапожники у большевиков! Ай да товарищ Ульянов, сукин сын! Ну, и что же землепашец?

– А что землепашец? Предъявил я ему мандат, на что он отреагировал весьма равнодушно. На предложение добровольно отдать не принадлежащие ему предметы сказал следующее: «Ты, гражданин хороший, правов таких не имеешь, чтоб, значит, конфисковать буржуйское добро. И бумажку свою прибери. А вот ежели карасину мне привезешь четыре фунта да ситцу – вот тогда и столкнемся». Натуральный обмен, как в эпоху раннего Средневековья. Придется согласиться: вещи-то музейные, редкостные. Кстати, Иван Иванович, в свою очередь хочу полюбопытствовать, что у вас за дело к Домбровскому?

— Доски, доски нужны для лесов. В нашем Георгиевском храме колокольню чинить пора, тем более что она шатровая, сложная... Господи, кому я говорю — краеведу Божией милостью! Ты лучше меня знаешь...

Закрыв глаза, Малинин процитировал:

— «Колокольня трехъярусная, с пирамидальным стройным шатровым верхом. На крыше колокольни симметрично расположены красивые двойные четырехугольные и круглые пролеты слуховых окон... Нижний ярус колокольни укреплен контрфорсом; по бокам его вырезано по кресту, заключенному в четырехугольник, по углам которого по круглому диску, так что кресты окружены четырьмя дисками».

— Вот именно.

— А что, батюшка, никого помоложе-то в причте не нашлось, чтоб такие концы, извиняюсь, пешкодралом осиливать?

— Э-эх, Дима, не те нынче времена... Уж коли князя башмаки тачают, что о нас говорить? «Служители культа» — вот как мы зовемся на большевистском новоязе. И где только слова-то такие берут?.. Впрочем, Дмитрий, я вынужден сказать, что по отношению к тебе у меня тревожные мысли.

— Вот как? Объяснитесь, святой отец, — недоуменно вскинул Малинин глаза на собеседника.

— Изволь. Как я сейчас убедился, память у тебя отменная: из своего «Исторического путеводителя по Калуге...» слово в слово цитату прочел. Стало быть, и свои прежние труды по краеведению помнишь. Но ежели запамätовал, то я тебе напомню некоторые названия: «Начало театра в Калуге»; «Алëдмитрий II в Калуге»; «К вопросу о происхождении медынских карел»; «Мелочи из калужской старины»; «Патриарх антиохийский Макарий в Калуге в половине XVII века»... А что ты пишешь теперь? «Письмо в редакцию о необходимости сбора и сохранения материалов революционной эпохи»; «Из воспоминаний о кружке семинаристов-марксистов»... Вот уж не думал, что ты так быстро перекрасишься в кумачовый колер. В кого ты превращаешься, Дмитрий? В «рупор революции»? В чиновника от большевизма?

— Что вы говорите, Иван Иванович... — пробормотал краевед, но Сперанский продолжил, и в голосе его зазвучали гневные нотки:

— Стыдись! Разве об истории нашего края больше нечего поведать? Я ведь и батюшку твоего знавал, Ивана Ивановича, тезку моего, он священником был в Лихвинском уезде, Царствие ему Небесное. Помню и то, как ты в семинарии организовал марксистский кружок. И потом, в Дерптском университете, ты марксовыми идеями баловался. Но то была юность, пора духовных терзаний. Сейчас тебе сколько прозвонило?

— Сорок три.

— Видишь? В таком возрасте пора иметь трезвый взгляд на окружающий мир и устоявшиеся убеждения. Неужто, Дима, ты не понимаешь, что происходит? Они хотят разрушить все «до основания», а затем на руинах построить некий «новый мир». Так нельзя, нельзя! Мне искренне непонятна власть, которая запрещает людям верить. И это в России, стране всеобщего православия, в «третьем Риме»...

Монолог священника прервали голоса, фыркание лошадей. Путники поднялись, пошли на звуки. Таксаторы возились с лошадьми, осматривали сбрую. От сторожки, постукивая

хлыстом по голенищам щегольских сапог, выпативал объездчик Иосиф Домбровский. Целомудренно поздоровавшись с гостями, спросил гласнующим тенорком, в котором угадывался польский акцент:

- Вы по делу?
- Да, Иосиф Франсович, – кивнул Малинин.
- Пойдемте в помещение.

В прохладной избе веяло свежестью от скобленных половиц, легкий ветерок раздувал ситцевые занавески. Странно было видеть в этом лесном жилище резную мебель мореного дуба, амбирное зеркало и беккеровский рояль. Домбровский утвердился за столом, который оказался бы под стать даже предводителю дворянства, произнес:

- Я вас слушаю.

Вопрос с малининскими дранками решился неожиданно быстро: оказалось, что они наличествуют в готовом виде, и даже в большем количестве. А вот просьба Сперанского ввергла объездчика в состояние задумчивости. Потерев лоб, Домбровский медленно объяснил:

– Железком Рязано-Уральской железной дороги сейчас заготавливают шпалы, так что все вальщики, плотники и пилющики заняты. Лес-то есть, батюшка, и ежели вы найдете конные роспуски, возчиков и пилющиков (пилами продольными я располагаю) – то готовьте доски по потребности, прямо здесь. Козлами обеспечим.

– Печально, – поскуливал глазами Сперанский. – Ну что ж, коли так, озабочусь поисками тружеников. Если я вас правильно понял, как только мастера найдутся, сразу можно работать?

– Конечно, батюшка, всенепременно. А теперь, господа, по законам гостеприимства я прошу вас оттрапезовать чем Бог послал. Отказов не принимаю.

Впрочем, их и не последовало. Домбровский повел гостей в летнюю кухню, где под драмочным навесом царили сложенная из дикого спорника печь и длинный стол, столешницей которому служила толстая дубовая плаха с прихотливой текстурой. Супруга объездчика, молодая молчаливая особа в туго завязанном под горло белом платке (из-под него выбивались русые локоны), коротким поклоном поздоровалась, стала собирать на стол. Домбровский ненадолго отлучился, чтобы дать задание таксаторам. К его возвращению на столешнице дымился борщ в белой супнице; вокруг хрустального лафитника теснились тарелки с салатами, сотовый мед, чуть в сторонке шкворчали две сковороды с жареной картошкой и летними опятами в сметане. Уже через четверть часа завязался разговор, слегка подогретый умеренным количеством рябиновой настойки из вышеупомянутого лафитника.

– ...При таких темпах, – накалявая на вилку упругий опенок, печально говорил объездчик, – вам, калужанам, скоро не то что по грибы с ягодами ходить сюда не придется: самого бора не будет! Ну посудите: вчера приходит в лесничество некий чин и сует лесничему Кубышкину бумагу, где черным по белому напечатано постановление Гублесотдела спилить четыре га строевого леса для нужд «Калугалеса». Каково? Или: при проклятом царизме за три охапки осиновых сучьев, собранных в бору самовольно, полагалось тридцать розог. А нынче губисполком постановил – да вы наверняка извещены – бесплатно собирать топливо в бору. Под эту сурдину местные крестьяне из Крутиц, Черносвитина, Железняков, Болотной, Анненок рубят реликтовые, уникальные деревья. Что делать, что?..

- Усилить охрану, – вставил Малинин.
- Из кого? Наивные вы люди. Ежели вы сейчас подниметесь на каланчу, то увидите как

минимум пять дымков. Костерных, слава Богу. Компании собираются в любых местах и отдыхают кому как в голову взбредёт. Далеко ли до беды? Вот недавно повадились бойскауты. Ходят, как к себе домой...

– Слышал, слышал, – заинтересовался священник. – Кто же они такие и с чем их едят?

– Скауты? – протянул Домбровский. – Ну разве что...

– Позвольте мне, – сказал Малинин, но вдруг замолчал и прислушался.

В гармонию лесных звуков, состоящую из щебета птиц и монотонного шума сосен, ворвалась диссонанта. Это был тилинькающий звонок, какой может издать бегущая по лесу корова с привязанным на шею боталом, или, скорее, валдайский колоколец под дугой русской тройки.

– Дмитрий, вас озадачил сей перезвон? – с удивлением посмотрел на Малинина священник. – Ничего сверхъестественного: это приехал на очередной моцион мой друг Константин Циолковский, собственной персоной!

– Господи, как я мог забыть! – воскликнул калужский краевед, хлопнув себя по лбу. – Забыть эти чарующие звуки, предвещающие появление гения!

Из-за вековой сосны показался велосипед фирмы «Дукс»; на нем сутуловато восседал, сосредоточенно глядя перед собой, высокий старик в цветастой тюбетейке и белой длинной толстовке, подпоясанный узким кавказским ремешком.

– У вас есть молоко? – шепотом осведомился Сперанский у хозяина.

– Есть. А зачем?

– Наш новый гость его предпочитает всем остальным напиткам, а спиртное отрицает совсем.

Домбровский понимающе кивнул, сделал распоряжение супруге. Та направилась к леднику, придерживая рукою подол длинной юбки.

– Константин Эдуардович, милости просим! – возопил Малинин, выбегая из летней кухни навстречу престарелому велосипедисту.

Старик подкатил к кухне, ловко соскочил с железной лошадки, прислонил ее бочком к перилам.

– Дмитрий Иванович, вы ли это? Почему здесь? – весело спросил он; взгляд его скользнул дальше, остановился на фигуре священника. – И мой бывший квартиродатель восседает! Приветствую тебя, Иван!

Вскоре Циолковский сидел между Домбровским и Малининым, и перед ним белела кружка молока. Взяв кружку в руку, встал во весь немалый рост и с некоторым торжеством провозгласил:

– Древние говорили: «Угощай врага молоком», – и с этими словами пригубил из кружки.

– Помилуйте, Константин Эдуардович, молоко утрешнее, только что с ледника, – почти умоляюще посмотрел на Циолковского объездчик, и как бы в подтверждение его слов из сарая донеслось утробное мычанье, что вызвало веселье среди присутствующих.

– Как говаривал Александр Пушкин, «...гений, парадоксов друг». Гении – они такие, – сквозь смех выдохнул Малинин.

– Я вовсе не имел намерения обидеть вас, товарищи, – растерянно улыбнулся Циолковский. – Смысл пословицы в том, что сей напиток обладает свойством успокаивать нервы. А молоко у вас отменное, спасибо, хозяйюшка, – он церемонно поклонился супруге объездчика и несколькими глотками осушил ёмкость.

Малинин указательным пальцем поправил на носу пенсне, повернул голову к новопривышему:

– Слышал, вы новую модель дирижабля строите во дворе губсовнархоза. Как идут дела? Изобретатель усмехнулся:

– Дмитрий, не лукавьте. Сознайтесь, этот вопрос вы задали исключительно для поддержания разговора, ибо вас, краеведа Божией милостью, вряд ли интересуют проблемы технического прогресса. И все же ответчу: работа идет. Поскольку модель цельнометаллическая, есть нехватка оцинкованного железа, припоя; кроме того, нужно реконструировать аэродинамическую установку.

– Спасибо.

– Кстати, когда я подъезжал, мне показалось, что у вас идет оживленный разговор. О чем, если не секрет?

– Какие секреты, Константин, – подал голос Сперанский, – мы всё о житейском. А обсуждали мы новую детскую организацию – бойскаутскую. Дмитрий Иванович любезно согласился о ней поведать.

– Любопытно. Они ведь приходили ко мне на Коровинскую, интересовались моими работами по освоению космического пространства, по устройству ракетного двигателя. По-моему, умные дети. Дмитрий, так кто же они такие, бойскауты?

– Организация вполне буржуазная с весьма амбициозными задачами по воспитанию этих сверхчеловеков. Любопытна легенда о возникновении. Да, для начала: скаут в переводе с английского значит разведчик. Ну, а бой – мальчик. Время создания по легенде относят к событиям англо-бурской войны в Южной Африке. При осаде города Мекфинга осажденным англичанам помогли юные разведчики. Из храбрых мальчиков, говорят, было создано несколько отрядов, и они якобы сражались храбрее солдат короля. С тех пор во всем мире стали появляться бойскауты. Как видите, добрались и до Калуги.

– Но причем здесь сверхчеловеки и амбициозность?

– Объясняю. В уставе бойскаутов значится овладение самыми разнообразными навыками и знаниями. Стрелять, как Вильгельм Телль; не хуже обезьяны лазить по деревьям; шить одежду из звериных шкур и разводить костер без спичек и огня; владеть борьбой джигу-джитсу и выслеживать противника по мельчайшим приметам; вязать морские узлы и еще много чего.

– Если бы не ваш возраст, я подумал бы, что вы – один из них, – шутливо констатировал священник. – Однако мне представляется, что для юноши подобная подготовка небесполезна. А как обстоит с православием?

– Они православные. Но все дело в том, что вышеперечисленные сведения я получил от их командира: по табелю о рангах он именуется скаутмастер. Сын известного купчины первой гильдии, но фамилию его я вам не скажу. Вот его слова (я не цитирую, но смысл постараюсь передать точно): «Пока мы немногочисленны и привлекаем в наше тайное общество только представителей своего круга, обобранного и обесчещенного большевиками. Но скоро вовлечем, сагитируем и бедноту. И тогда мы всех пролетариев подвесим вверх ногами и спросим за все зверства. И вернем самодержца на его законный трон».

– Да-а, – протянул Домбровский, – страшноватая сверхцель. И это на пятом году власти Советов...

Сперанский вздохнул, произнес негромко:

– Мы встретили семнадцатый год, будучи людьми взрослыми, успели пожить при царизме, как нынче выражаются. И если меня спросят, как я отношусь к деятельности большевиков, боюсь, что мой ответ им не понравится. Поскольку среди нас нет агентов ЧК, скажу совсем уж откровенно: меня самодержавие куда как больше устраивало, чем большевизм. Но гражданская война доказала: военным, насильственным путем в России перевороты устраивать нельзя. И уж никак не руками бойскаутов. Странно, что нынешние власти не пресекают подобное.

– Ошибаетесь, Иван, – оживился вдруг Циолковский. – Клин клином вышибают. Советская власть вовсе не примитивна, как кажется. Она обращает самое пристальное внимание на молодежь. Пионерия и комсомол – разве это не достойное продолжение дела большевиков? А следовательно – альтернатива всяческим бойскаутам. В июне у меня была целая делегация пионеров. Видели бы вы, как светились их глаза, когда я рассказывал о вселенной, о космических полетах на Марс!

– Извини, Константин, ты всегда был идеалистом, – покачал головой Сперанский. – Эти пионеры (он произнес «пионэры») – настоящие волчата. Разве ты не помнишь, как они устроили в городе комсомольскую Пасху? Бесовщина! Сжигали на кострах святые образа, кололи их топорами. Каково? Мало того, провели целую манифестацию с ряжеными. Понятное дело, ими руководят старшие товарищи, выбивают из наивных детских душ веру, а взамен... Что они дают им взамен? – священник растерянно развел руками.

– Взамен... Мне припомнилось: до революции руководителем комиссии по вывозу ценностей за пределы Российской империи был сам государь император. Большой знаток антиквариата и древнерусской иконописи, между прочим. И ни одно мало-мальски значительное произведение искусства из страны не могло быть вывезено. Ни одно! А можно ли представить себе подобную комиссию теперь, да еще во главе с Ульяновым? И что? Рябушинский вывез за границу вагон с иконами! Да ведь далеко ходить не надо: в нашей губернии что творится! Из самых славных дворянских имений по прямому распоряжению наркома просвещения Луначарского вывозятся в Москву уникальные библиотеки. Вы чувствуете парадокс? Большевики объявили всеобщ, ликвидацию неграмотности – и увозят от народа книги! Как это назвать?

Сперанский беспомощно развел руки, тяжело вздохнул, тихо сказал:

– Мы все здесь знаем, как это называется. Двадцать третьего февраля сего, 1922, года ВЦИК опубликовал декрет об изъятии церковных ценностей в фонд борьбы с голодом. И знаете, чада мои, когда я прочел декрет, то посетило меня горестное недоумение. Как сумела самая богатая в мире держава за пять лет власти Советов растерять свои огромные накопления? Да еще позариться на христианские святыни, собираемые и хранимые православными почти тысячу лет!

– Ну да, – подхватил Калинин, – то есть дограбить то, чего не смогли монголы, поляки в Смуту и Наполеон.

– А через пять дней после декрета, – продолжил Сперанский, – наш владыка, патриарх Тихон, выступил с гневным воззванием, протестуя против произвола большевиков. Воистину бесстрашный человек!

– Истинный пастырь, – Калинин с прищуром посмотрел в лесную чащу, которая при-

тихла, будто подслушивая разговор, — да только он добровольно идет на Голгофу. И знаете, почему? Я от своих московских коллег-краеведов услышал: Ульянов-Ленин послал секретное письмо Молотову. Он пишет, что большевики должны использовать сопротивление изъятию церковных ценностей для того, чтобы дать духовенству решительность и беспощадный бой, вплоть до массовых расстрелов. Поверь, большевики ни перед чем не остановятся...

— Может, хватит о грустном? — умоляющим взглядом обвел всех Домбровский. — В кои-то веки мою скромную обитель посетили такие люди — и начали спорить.

— Ну, Иосиф Францевич, вы еще не присутствовали при серьезном споре, — снисходительно посмотрел на него Калинин. — То, что вы сейчас видите, — так себе, легкая пикировка...

— Произведения искусства, — Циолковский привычным движением вынул платок, вытер высокий лоб. — Разве сейчас время говорить о прекрасном? Мне кажется, Советы начали серьезное дело. Слишком серьезное, чтобы думать о музеях и картинных галереях. Нынче век технического прогресса.

— Странно слышать от вас подобные слова, — пожал плечами краевед. — Где-то даже обидно. Константин Эдуардович, я вас не узнаю, право слово.

— Вы меня опять не так поняли. Я никогда не признавал технический прогресс, ежели он превосходит прогресс нравственный. Непорядок, если физика и химия не служат, а подчиняют себе, например, медицину. Для человечества в конечном счете важна не техника, а моральный прогресс и здоровье. Но сейчас, сейчас такое время, когда музы не получили разрешения петь, то есть в полном соответствии с поговоркой: «Когда говорят пушки, музы молчат...»

— Н-да... Боюсь, что при подобной агрессии безбожников упомянутые вами музы могут вообще не запеть. Вы, Иван Иванович, наверняка осведомлены, что губком имеет горячее желание закрыть Троицкий кафедральный собор. У верных ленинцев, что называется, руки обчесались использовать его «для культурно-воспитательных целей» (можно подумать, что раньше в храме был притон, прости Господи!). А ведь там иконостас божественной красоты, сделан по проектам самого Матвея Казакова. Я уже написал в Гавнауку об уникальности иконостаса, сейчас готовит подобное заключение академик Преображенский. Музы...

За столом повисло тягостное молчание. Над поливной миской с янтарными кусками сотового меда жужжала одинокая пчела. Глядя на нее, Сперанский распевно, словно часть молитвы, произнес:

— Место обильно, пчелисто и пажитно... Сколь ёмко и образно выражались наши предки... Четыре слова — и целая картина перед глазами.

— Позавчера, — подхватил объездчик, — ко мне приходит некто и представляется: уползаг. Оказалось — уполномоченный по заготовкам.

— Какое-то гадючье слово, — резюмировал Калинин.

— Нет, что ни говорите, а не всё плохо при нынешних властях, — решительно вставил Циолковский.

— Я знаю, Костя, знаю, о чем ты сейчас скажешь, — коротко посмотрел на изобретателя священник. — Тебя советская власть обладала, в прошлом году Совнарком немалую пенсию назначил; слышал я — пятьсот тыщ рублей.

— Ну, во-первых, я не просил. Во-вторых, Иван, я горд тем, что правительство обрати-

ло внимание на мою скромную особу и – главное! – на мою деятельность. Если я правильно понял, правительство этой немалой суммой желает продолжения моих научных поисков. Я постараюсь оправдать доверие.

– Не сомневаюсь. Только ты, Костя, не забывай, что у тебя большая семья. А мне сорока на хвосте принесла, будто ты из первой же пенсии немалую сумму отдал в губернскую типографию на издание своего собственного труда. Думаю, что супружница твоя, Варвара Еврафовна, не сильно возрадуется.

– Эх, господин Сперанский, забыли вы истину: не судите да не судимы будете. У вас и так много забот о духовном окормлении паствы. А я со своей семьей как-нибудь сам разберусь.

– Прости, Константин, я и правда зарпортовался, – склонил над столом голову священник.

– Вот-вот, – назидательно поднял указательный палец Циолковский. – Ты ведь сам видел, что даже во время разрухи после семнадцатого я не склонился к растительному существованию, я горел научными идеями.

– Сдаюсь, господин... товарищ ученый, – поднял руки над головой Сперанский.

– Константин Эдуардович, – желая изменить ход разговора, вступил краевед Малинин, – а что сейчас поделявает сын начальника пехотных командных курсов, Леонида Васильевича Чижевского? Вы как-то говорили, что он достиг многого в науке.

– А-а, Саша? Ну, Александр Леонидович семимильными шагами ступает по терниям науки. В восемнадцатом защитил диссертацию на степень доктора всеобщей истории, а недавно утвержден в профессорском звании Московского археологического института. Весьма, весьма талантливый молодой человек. Я вам советую, Дмитрий, обратить особое внимание на него. Вы краевед, и попомните мое слово: Саша Чижевский создаст в науке нечто экстраординарное, и им будет гордиться страна.

– Спасибо, учту, – Малинин улыбнулся, – вот только вы, Константин Эдуардович, при случае передайте ему, что в Калуге не все разделяют ваш восторг. Нет-нет, имеется в виду вовсе не научная сфера деятельности. Я говорю о его поэтических потугах. Издал сей многообещающий ученый в нашей губернской типографии некий стихотворный сборник. Тираж, конечно, небольшой, и если бы не знакомый метранпаж, не удалось мне прочесть данный поэтический труд. Вы сами-то, Константин Эдуардович, знакомы со стихотворчеством вашего талантливого визави?

– В общих чертах. Это его увлечение.

– Слушайте:

Вперед – и к свету! позади
Былые цепкие оковы.
Теперь и даль и ширь в груди,
Теперь все веселы и новы!..

И так далее. Согласитесь, подобная версификация не выдерживает никакой критики. Если вам интересно мое мнение, то при встрече скажите от меня товарищу Чижевскому: пусть занимается наукой и не распыляет свой научный талант на несвойственные ему сферы.

– Хм. Передам. Отчего же не передать, – несколько растерянно кивнул Циолковский; потом с прищуром посмотрел на священника. – А вот касательно моего пенсионера отвечу сло-

вами древнего мудреца: «Человек приходит в мир Божий с тем, чем наделил его Создатель, а уходит, оставляя то, что сделал сам». Вот я и хочу оставить хотя бы часть того, что наработано за долгие годы. Не оставлять же в рукописях, набросках и моделях. Человек я непритязательный в быту, а глухота – боль и несчастье мое – сделала меня нелюдимым. Много мне не надо: стол, книги, ручка, писчая бумага, верстак, рубанок, набор долот, молоток... Вот только одного нет – молодого чувства жизни, которое дает энергию. Да и жизнь-то на исходе, чего лукавить. Шестьдесят пять годков... Зажился я на этом свете.

Домбровский к этому времени незаметно для гостей покинул летнюю кухню и вместе с супругой ворошил свежую кошенину на поляне.

– Да Господь с тобою, Костя! Человек не должен жить в печали, – сказал Сперанский и положил ладонь на кисть изобретателя. – Я ведь так давно тебя знаю, но подобных речей не слыхивал. Еще в двадцатом, два года назад, когда в Калуге с питанием было совсем плохо, по карточкам ничего не давали, а у тебя – ни сбережений, ни вещей, какие можно было на толкучке выменять на муку и хлеб; когда ты жил впроголодь – ты и тогда одержимо работал, и глаза у тебя светились, Костя! Помню, с каким чувством ты читал мне только что законченную рукопись «Теории света». Что же теперь произошло?

– Произошло... – тихо выдохнул Циолковский и несколько помолчал; потом продолжил. – Вы меня знаете достаточно, чтобы не счесть после того, что я поведаю, умалишенным. Однажды я смотрел на небо и увидел, как облака сложились в крест. Это видение я понял так: мой крест – изучать космос, проникать в его тайны. И мое сердце тихо загорелось. С тех пор я находился, как мне кажется, под властью какого-то могущественного сверхзвука. Он направлял мои мысли; иногда во сне являлась некая формула, смысла и значения которой я, проснувшись, не понимал (но на всякий случай записывал). Но через некоторое время, производя математические расчеты какой-нибудь из теорий, я выводил эту самую формулу... Бывало и такое: заходишь в тупик, откуда не видно выхода. Проходит день, другой, надвигается черная меланхолия – и вдруг начинаешь слышать доносящийся из невозможной дали голос, даже шепот, который диктует те заветные слова, которые и выводят тебя из проклятого тупика. Только успевай записывать. Я никогда никому этого не говорил, и впредь не собираюсь. Надеюсь, вы не разнесете по Калуге весть о бреднях свихнувшегося старика...

– Константин Эдуардович, да как вы могли подумать? – обиженно посмотрел на изобретателя Малинин. – Ведь мы...

– Верю, – прервал ученый. – Не перебивайте. Я глух, но не слеп, вижу, как на меня смотрят обыватели. Не далее как вчера иду в лавку Нобеля за керосином и читаю по губам двух беседующих женщин: «Вон с бидончиком глухой сумасшедший учитель идет из шестой трудшколы. Говорят, дома мастерит летучие огурцы и бесовские книжки по ночам сочиняет». Но я отвлекся. Так вот: чем больше я пытался проникнуть в тайны космоса, тем яснее осознавал беспочвенность своих барахтаний. «Монизм Вселенной», «Причина космоса», «Образование солнечных систем» – надеюсь, вы читали эти работы (Малинин и Сперанский одновременно кивнули, не сводя замороженных взглядов с говорившего). В прошлом году заболела моя дочь Анечка. Пришлось ей с новорожденным сыном переехать в Перемышльский уезд. Я приезжал ее навещать, заходил в знаменитый Лютиков монастырь, даже свечки ставил за ее здравие. Не помогло, в январе нынешнего года она умерла. Это было большое горе, я не знал, куда деться, пытался найти забвение в работе. Как назло, ничего не ладилось,

всё валилось из рук. Жизнь потеряла всякий смысл, и я понимал, что долго так не протяну. Всё вокруг – суета сует. И знаете, я физически стал ощущать, как Космос давит на меня всеми сонмами светил, созвездий и галактик. Я показался себе жалким карликом, который копошится на крохотном кусочке мироздания, именуемом Землёй, и изобретает некие скорлупки, гордо называя их космическими ракетами... Ну преодолеет эта ракета земное притяжение, ну выберется в открытый космос, а что дальше? Да-а, друзья мои, нет ничего хуже, чем крах дела всей жизни. А именно его я и ощутил. И тогда решил я съездить...

Внезапно Циолковский замолчал, постучал по столешнице кончиками пальцев, затем быстрым движением извлек карманные часы, щелкнул крышечкой и, взглянув на время, произнес:

– Боже правый, засиделся я с вами, а у меня ещё дел непочатый край!

– Непредсказуем ты бываешь, Константин, – покачал головой Сперанский. – Ведь по глазам вижу: что-то изумительное хотел поведать. Да передумал. Отчего же?

– Я не на исповеди, Иван. А засим позвольте раскланяться. Спасибо за компанию.

Когда за соснами скрылась белая толстовка изобретателя и как-то пронзительно-жалобно тренькнул велосипедный звонок, Дмитрий Малинин потянулся к лафитничку, разлил по серебряным рюмкам рубиновую рябиновку и задумчиво сказал:

– Он не странный, Иван. Он – другой. Имя ему – гений. Мы же с тобою – люди сырые, нам его не понять никогда.

– Хм, – Сперанский поднял глаза на собеседника, – ты прав. В позапрошлом году в гутбернской типографии издали его книгу «Вне Земли». Надеюсь, с ней знаком? (Малинин кивнул). Так вот, это же полнейшая фантастика. Причем, замечу тебе, я ведь читаю не только Библию. Имена господ Обручева, Жюль Верна, Герберта Уэллса и некоторых других авторов мне известны не понаслышке. Но повесть Константина оставила у меня совсем иное чувство, чем, к примеру, «Таинственный остров». Мне показалось, будто автор и впрямь летал в космос. Литературные качества обсуждать не буду, я только почувствовал: мой друг Циолковский настолько был переполнен впечатлениями, что торопился зафиксировать их на бумаге, мало заботясь о художественных достоинствах текста. Я говорю совершенно серьезно...

* * *

За месяц до этого изобретатель сидел на старой скамеечке во дворе своего дома и наблюдал, как супруга Варвара Евграфовна с трудом достает воду из глубокого колодца.

– Варенька, разве больше некому? Тебе ведь нельзя поднимать такие тяжести! – раздраженно сказал Циолковский.

– А вот и есть кому! – раздался веселый голос от ворот. – Всем здравствуйте!

Этот голос принадлежал Володе Ассонову, неплохому фотографу, а еще руководителю Калужского общества изучения природы и местности. А еще – верному помощнику во всех делах, начиная от столярных работ и заканчивая пробиванием в чиновных дебрях издания книг и статей учёного.

Наполнив стоящую у заднего крыльца большую дубовую бочку водой для вечернего полива и напоследок занеся два ведра на кухню, Ассонов присел рядом с Циолковским:

– Константин Эдуардович, а ведь я в Перемышль сегодня собрался. И нынче же возвращусь. Не желаете ли составить компанию?

Изобретатель убрал с колен потертую коричневую папку, поверх которой лежал лист писчей бумаги с тремя строчками формул, огладил седую бороду:

– Володя, вообще-то вы отвлекли меня от работы, но поскольку расчеты нынче с утра не задались, то не мешает проветриться. Тем более что хочу посетить Лютиков монастырь. А транспортная оказия имеется?

– Почему оказия? Сам зав. губнаробразом Николай Костромин пролётку одолжил: рессоры пружинные, ход резиновый. Почти авто, разве что в одну лошадиную силу. Я жду в экипаже на Жореса, у Макушкинских казарм.

* * *

Уже после того как по плашкоутному мосту пересекли Оку, по булыжной, круто идущей в гору дороге миновали деревню Ромодановские дворики и выехали на Козельский тракт, завязался неторопкий дорожный разговор. Впрочем, именно из-за этого разговора с Циолковским молодой Ассонов и заехал утром к изобретателю. Никто и никогда так не отвечал на заковыристые вопросы о мироздании, бередившие душу Владимира.

– Неделю назад, – сказал фотограф, – в нашем театре был диспут. Не слышали?

– Нет, – Циолковский поддернул сползший с левого плеча пыльник. – Какова же была тема дискуссии? Как всегда, глобальная?

– А то как же! «Есть ли Бог?» – вот такая тема была.

– Н-да. Глобальней не бывает.. И что же?

– Э-э, Константин Эдуардович, никто никому ничего не доказал. С одной стороны были, сами понимаете, комсомольцы и большевики, а с другой – попы... то есть священники. Ну, большевики Карлом Марксом крыли да Энгельсом, а священники из Библии читали. Одним словом, чуть не подрались. Миллиейские разняли. В результате в голове моей, многоуважаемый Константин Эдуардович, образовался страшный сумбур. Посему вопрошаю: как бы вы ответили на главный и единственный вопрос диспута?

Вместо ответа изобретатель вдруг разразился веселым смехом, отчего с его крупного носа прыгнуло дорожное пенсне и повисло на витом шнурочке под правым ухом. Смех был недолгим, лицо Циолковского вновь приобрело сосредоточенное выражение. Водрузив пенсне на надлежащее место, он печально произнес:

– Владимир, надо быть достойным сыном своего отца. Что это за фразеология: «Марксом крыли»? А ведь отец твой, податной инспектор Василий Иванович, достойнейшим человеком был. И обладал, заметь, высокой культурой речи. Стыдись, Володя. Тебе ведь уже три десятка лет, если мне память не изменяет? Ну так и соответствуй своему возрасту, образованности и положению в обществе. Не имеет значения, что оно нынче советское и в нем полно невежд и идиотов. Я думаю, скоро оно от них избавится. Извини.

– Это вы, вы меня извините, Константин Эдуардович, я и впрямь опростился. Однако когда я разговариваю или выступаю с докладами в привычной мне манере речи, слышу: «буржуйский сынок», «чеши по-нашенски» и тому подобное...

– Ясно. Существует аксиома на этот счет: не опускайся до уровня толпы и не старайся быть глупее, чем ты есть. Ладно, что-то я менторским тоном заговорил, словно с гимназистом. На твой же вопрос отвечу следующим образом. Так как ты по образованию геолог, то обратимся к примерам из геологии. Есть такой термин: абиогенез, то есть зарождение вне

живого. Русский ученый Сергей Виноградский открыл организмы, жизнедеятельность которых не зависит от энергии Солнца. Эти организмы, Володя, черпают энергию из... минералов! А еще раньше знаменитый Карл Линней доказал: некоторые железные руды и кремнеземные сланцы – органического происхождения. Впечатляет?

– Поразительно! – Ассонов от волнения натянул вожжи, и лошадь резко встала, отчего оба седока дернулись вперед.

– Ну, не настолько, чтобы оказаться на земле, – Циолковский принял прежнее местоположение на обитом порыжелой кожей сиденье и продолжил. – Зародыши жизни могли попасть на Землю с метеорной пылью в латентном, то бишь внешне не проявляющемся, состоянии. Эти зародыши – не что иное как проявление вечной мировой жизни. И в вышеуказанном состоянии зародыша могут пребывать – вы только вдумайтесь! – целые геологические эпохи. Неужто вы этого не знали?

– Откуда? Мы проходили курс практической геологии, там подобные сведения отсутствуют.

– Да-да, конечно. Или вот еще. Все наши озера, моря и океаны заполнены односторчатыми раковинами моллюсков самых разнообразных форм и ракушек. Но! У них у всех есть одно сходство. Знаете, какое? – изобретатель ископа глянул на Ассонова.

– Нет, – полусшепотом ответил тот, завороченно уставясь взглядом в пенсне попутчика; стеклышки фокусировали в себе и посылали в глаза Владимира снопики солнечных разноцветных лучей.

– А сходство такое, милостивый государь, что завитки всех раковин направлены слева направо, сообразно движению Солнца. Тем не менее, все до единой окаменевшие раковины, добытые геологами из пород нижнепермской эпохи, имеют направление завитков справа налево. Стало быть, жизнь на Земле, Володя, напрямую зависит от Космоса. Но природа – она, друг мой, лукавая. Существуют вещи необъяснимые. В Африке, в озерах Ньяса и Виктория, завитки раковин правые, а в недалеко лежащем озере Танганьика – левые... Знаете, Володя, я небольшой знаток искусств: всё некогда. Самое доступное для меня – музыка. До революции хаживал иногда в Никитский переулок, в дом провизора Павла Палыча Каннинга...

– Сын английского лорда, между прочим, – вставил Ассонов.

– Да-да. Там частенько собиралось культурное общество, давались домашние концерты – Бортнянский, Григ, Моцарт, Чайковский, Аренский... Но я не об этом. На одном из концертов поведали мне о художнике Петрове-Водкине. Сказали, что образы его картин ну просто пропитаны космизмом. К великому моему стыду, так и не удосужился я лицезреть его произведений. Но вот недавно приехал из Москвы Саша Чижевский, и я у него спросил, как поживает Петров-Водкин. Он рассказал, что когда художник читает лекции в училище живописи, ваяния и зодчества, то слушать их собирается вся столица. Говорит он о том, чего не услышишь больше нигде. Например, о том, что мысль человеческая материальна и никуда не исчезает. Когда-нибудь люди изобретут прибор, который сможет улавливать мысли. Представляете себе, Володя: прочесть мысли Леонардо да Винчи, Сократа, Наполеона, Ашшурбанипала, Владимира Мономаха...

* * *

Тем временем пролетка одолела почти двадцать верст. Подъехали к деревне Андреевской, и перед путниками предстала Ока. За ее плавным изгибом открывалась широкая раздольная пойма.

– Эпический пейзаж, – пробормотал Циолковский и, уже громче – для Володи: – Былинная Русь! Быстро мы добрались, версты две осталось до Лютикова.

– Все потому, Константин Эдуардович, что хоть и одна, но сила. Мало, что лошадиная, – усмехнулся Ассонов. – И все-таки, на вопрос вы так и не ответили.

– Ну, а идеи и теории профессора Владимира Ивановича Вернадского вам знакомы?

– Что-то слышал, но ведь сейчас такое время, когда главная теория – выжить.

– Вот видите... А вы: «Есть ли Бог?» Революции и всяческие катаклизмы были, есть и будут, Володя, но наука должна игнорировать эти искривления цивилизации. Итак, профессор Вернадский утверждает: среди оболочек Земли (биосфера, зоосфера, тропосфера и т. д.) есть одна, которую он назвал ноосфера. Это – мыслящая оболочка! То есть, наша планета – мыслящий организм! Вопрос: о чем она мыслит? И с кем или с чем делится оными мыслями? Кстати, мы подъезжаем. Я, Володя, подхожу к вашему вопросу с точки зрения тезиса, что означает: неизвестная причина Вселенной. Вот здесь меня и остановите.

– Тпру-у, – Ассонов натянул вожжи, прыгнул на землю и подал руку Циолковскому.

Проигнорировав этот жест, изобретатель довольно резко соскочил с пролетки, сказав ворчливо:

– Слава Богу, это я еще могу без посторонней помощи.

– Константин Эдуардович, а я ведь в Перемышле пробуду до шести вечера, – озабоченно посмотрел на него Ассонов. – И как я проглядел: вы ведь с собою ничего съестного не взяли. Сейчас-то всего одиннадцать утра. Так. Я вас знаю: «не хочу, не буду», посему прошу вас, проследите за лошадкой несколько.

Владимир церемонно вручил Циолковскому вожжи и побежал через дорогу к высокому палисаду; за ним желтела новая изба (редкое явление в России 20-х годов). Минут через десять вернулся, держа в руке мешочек.

– Здесь фляжка молока и кусок ситного, разжился у знакомого таксатора из Гублесотдела. И не вздумайте отказываться, уважаемый Константин Эдуардович. В восемнадцать тридцать буду ждать вас на этом самом месте. И договорим на обратном пути.

Циолковский молча кивнул, взял мешочек, пошел к деревенскому проулку. Сутуловатый, в серо-коричневом пыльнике, с серым спротским мешочком, со спины изобретатель был неотличим от деревенского жителя.

* * *

Проулочная тропка вывела Циолковского за околицу. В полуверсте, на прибрежной окской равнине, виднелся знаменитый Лютиков Троицкий монастырь, основанный еще при Василии Темном. Подойдя к его дубовым воротам, он не стал заходить внутрь. Перекрестившись на шатровый восьмигранник Благовещенской церкви, обошел справа низкие мощные стены, присел на солнечной стороне на выступающий из цоколя обомшелый валун-спорник. Примостил молоко с хлебом в тенечке, снял растоптанные ботинки, пошевелил пальцами ног, прислонился к шероховатой стенке – и застыл в блаженной истоме. В тело вли-

валось тепло от монастырской цитадели, пропала противная дрожь, какая всегда посещает после дорожной тряски; легкое бездумье убаюкало разум, и Циолковский прикрыл глаза, упав в полудрему.

Долгий-долгий, заунывный звук пастушьего рожка заставил открыть веки. Солнце перевалило через зенит, от разогретой земли парило. Вибрирующий воздух струился над изумрудной зеленью пойменного луга. В знойном мареве, как на полотне синематографа, постепенно обозначился силуэт идущего к монастырю человека. Вот очертания уплотнились, обрели реальные черты. Близорукий изобретатель увидел путника, когда тот подошел совсем близко. Смуглолицый, высок ростом; сидящие с висков волосы еще не тронули серебром каштановой бороды. Хламида весьма странного покроя, в которую облачен был путник, напомнила Циолковскому виденную им в «Библейской энциклопедии» литографию, изображавшую толпу бедуинов на фоне египетских пирамид.

– Здравствуй, Константин, – словно старому знакомому, сказал путник, подойдя на расстояние вытянутой руки.

– Добрый день. А что, мы знакомы? – растерянно произнес Циолковский, пытаясь вспомнить, где и когда он мог видеть этого человека.

– Нет, не пытайся, ты никогда меня не видел, – улыбнулся путник, и Константин Эдуардович без особого удивления понял: его визави без труда прочел (дословно!) его мысль.

– Но тогда... тогда откуда вам знакомо мое имя?

– Если бы только имя, – услышал Циолковский, но при этом незнакомец (изобретатель мог поклясться!) совсем не открывал рта, да и звуков не было слышно, они словно рождались в голове. – Да ты не удивляйся, это совсем не трудно. Я знаю о тебе всё. Смотри.

Пейзаж за спиной пришельца поблек, и прямо в воздухе возникла Калуга. Циолковский увидел себя, сосредоточенно едущего на велосипеде. Движения ног замедленны, вяло колышутся полы черной крылатки. Поскольку теперь изобретатель видел себя со стороны, он смог прочесть множество чувств, написанных на лицах прохожих: тут тебе и любопытство, и (редко-редко) уважение, и почти мистический испуг, и презрение. Но только не равнодушие; впрочем, на одном лице он прочел именно равнодушие, а точнее – полное отсутствие мысли, и это полностью соответствовало действительности, ибо лицо принадлежало местному дурачку Славе, который старательно переписывал в тетрадку с прописями афиши с круглой тумбы у Гостиных рядов, от усердия высунув язык. Велосипед останавливается у дома, окрашенного в два колера (белый и желтовато-коричневый) с вывеской «Книжная лавка купца И. Антипина». Звенит дверной колокольчик, изобретатель входит внутрь, к нему с улыбкой спешит владелец с золотым пенсне на утином носике. Вот он показывает Циолковскому новую книгу, при этом изящным движением доставая из жилетного кармана миниатюрный костяной ножичек для разрезания страниц. А в голове владельца вяло ворошилось: «Небось, опять денег нет. Ну откуда у тебя, Константин Эдуардыч, восемь целковых завелось за фолиант *in folio* в кожаном переплете с золотым обрезом трудов Коперника? А в долг не дам: ты, мил-друг, еще за сытинского «Платона» не расплатился...»

– Да были у меня деньги, я тогда их только что получил за уроки в женской гимназии госпожи Шалаевой, – растерянно пробормотал Циолковский.

Меж тем видение пропало, заокские дали вновь предстали во всей своей неброской красе.

– Я знаю о тебе всё, Константин. Надеюсь, ты убедился, – продолжил незнакомец. – Од-

нако я здесь нахожусь с особой миссией. Теперь тебе предстоит увидеть кое-что посерьезнее. Чуть позже объясню, зачем. Сосредоточься.

Пейзаж вновь раступевался. Циолковский нервно пошарил рукой около валуна, на котором сидел, нащупал мешочек с нехитрой снедью. Открыл фляжку, глотнул густого прохладного молока. Незнакомец вдруг протянул руку:

– Не поделишься напитком?

– Отчего же, пожалуйста, – Циолковский подал флягу, и мизинец случайно соприкоснулся с указательным пальцем незнакомца...

Тело изобретателя от головы до ног пронзила некая мощная энергия, и он ощутил такой прилив сил, будто выпил не молоко, а сказочную молодильную воду. Незнакомец же меланхолично сделал несколько глотков, вернул емкость, произнес (опять мысленно, не разжимая губ):

– Итак...

С высоты птичьего полета он увидел гладь океана. Мелкая волна качала, словно баюкая, некий архаичный по конструкции корабль вроде финикийской гребной триеры. Сопровождаемый резвящейся рядом стаяй дельфинов, корабль ходко шел к острову райской красоты. На нем в зелени пальм и кипарисов белели мраморные колоннады храмов, овалы театров и стадионов; лестницы стекали к гаваням. Стада тучного скота паслись на обширных лугах в ложбинах невысоких гор. Изобретатель вроде бы медленно парил над панорамой огромного острова, где царил благоденствие. Террасами к песчаным пляжам спускались поля, засаженные злаками и овощами. Уютные селения соседствовали с озерами; в прибрежных лагунах чернели семечные скорлупки рыбацких челнов. В одной из частей острова Циолковский увидел группу зданий, резко отличающихся по архитектуре: стеклянные кубы, армированные полированным металлом, рвались в небо, с их плоских крыш – о, чудо! – взлетали невиданные аппараты. И они плавно парили в безоблачном небе! Когда триера находилась в пяти-шести кабельтовых от ракушки гавани, на горизонте показалась узкая белая полоса. Она шла по направлению к земному Эдему с огромной скоростью, увеличиваясь в размерах, и стало ясно: огромная волна стремилась к острову. И не было от нее спасения. Всё произошло в несколько мгновений. Суну накрыло сине-зеленой водной массой; когда ураганная волна, несколько потеряв в скорости, миновала остров, он стал гол, как коленка. Но это было не всё. То, что осталось от цветущего Эдема, накрыла еще одна волна, потом еще одна... Когда прошла седьмая по счету, на месте, где только что жили, любили, веселились, печалились и создавали люди, закрутилась воронка циклопических размеров. Затем она вспучилась, раздался резкий хлопок, словно бог морей Посейдон ударил кнутом, и взрыв разметал суну.

– Так погибла Атлантида, – коротко прокомментировал незнакомец.

* * *

Ветер крался по барханным пескам, извлекая из них протяжные мелодии. Окоём мерно колыбался, потому что тот, чьими глазами видел Циолковский окружающее, сидел на верблюде. Длинный караван растянулся по пустыне с юго-востока на северо-запад. Полсотни двугорбых «кораблей пустыни» двигались от Персидского залива в сторону Дур-Шардукин, главного города Ассирии. Караван вез царю Саргону Второму подарки от месопотамских

правителей.

Долгий путь подошел к концу, теперь караванчики ночевали не на растресканной от жары земле, а на траве, под сенью финиковых пальм, утоляли жажду из чистых проточных водоемов. В один из дней вдали прекрасным миражом возник величественный ансамбль дворцов и храмов, гордо возвышавшийся на искусственно созданной террасе. Самая главная, о четырех углах башня переливалась семицветной эмалью – белой, черной, красной, серебряной, оранжевой, золотой и золотисто-красной. По бокам огромных ворот стояли быки-колоссы с человеческими головами; они пристально смотрели на всех входящих, навевая страх. Около каждой сторожевой башни, словно стражи, высились статуи людей, в левых руках которых зажаты были львы.

Главный караванчик соскользнул с верблюда, пал на колени, пробормотал привычной скороговоркой молитву в честь блистательной госпожи неба Иштар и застыл в глубоком изумлении. Он был стар, главный караванчик, и этот путь от Персидского залива проделывал не один десяток раз. Но всегда у ворот Дур-Шаррукин его встречала стража и помощник управителя царя Саргона. Сейчас лишь каменные быки бесстрастно взирали на прибывших. И это при том, что сами ворота были открыты! Купцы, погонщики, водоносы, караванные стражники робкою толпой протекли в ворота. Дворцовая площадь пугала безлюдностью и тишиной. Все еще робея, путники вошли в храм бога Солнца Шамаша, но и там не нашли ни жрецов, ни лампадариев, ни уборщиков, хотя святыни и ценности пребывали на своих местах и в своих хранилищах. Целый день путники бродили по всем тридцати дворам и двумстам комнатам дворца в надежде найти хоть одного человека. Тщетно. Тогда караванчики спустились в город, обошли жилища и лавки ремесленников. Пусто.

– Ассирийская столица лишилась населения, – услышал Циолковский голос незнакомца. – Мне представляется, что гибель Вавилона – слишком апокалиптически, не стоит смотреть. А вот трагедия майя, пожалуй, весьма поучительна...

* * *

Следующее видение представляло события, произошедшие в течение долгого времени. Какого – понять было невозможно, но как минимум столетие.

Сквозь удушающие испарения джунглей по тропе, утрамбованной тысячами и тысячами босых ног за десятилетия, непрерывно, днем и ночью шагали люди. Они несли на плечах корзины с каменным крошечком, добытым в глубоких пещерах у подножия Анд. После изнурительного дневного перехода, где носильщиков подстерегали ядовитые змеи и москиты, а с дерева в любое мгновение могла прыгнуть на шею коварная кошка – ягуар, люди попадали в белоснежный город Паленке. Длинная вереница каменосов висла между жилищ пахарей и ремесленников, огибала святилища и пирамидальные зубчатые храмы, а затем исчезала в глубоких подвалах храма Лиственного креста.

Храм так называли потому, что в главном молитвенном зале всю стену напротив входа занимал резной барельеф. На нем изображен крест в окружении сложнейшего, не поддающегося описанию растительного орнамента. В верхнюю оконечность креста вцепилась когтием сказочная птица, а по бокам вытянулись две человеческих фигуры в одеяниях, никогда и нигде у народа майя не виданных...

Каменосы по вырубленным в скальном грунте, выщербленным ступеням спускались в подвалы, чьи своды скупо освещались смоляными факелами. Каменное крошево высыпа-

лось в длинный желоб. По нему крошево необъяснимой силою двигалось само, а камненосы сворачивали в сторону и выходили вверх далеко от храма на кукурузном поле. Там каждому давали выпить зеленого настоя из глиняного черпака, после чего человек забывался в недолгом сне. Одного камненоса хватало на два десятка корзин. После двадцатого дневного перехода по джунглям человек покорно ложился на землю и умирал. Из его носа и ушей вытекала белая кровь.

Крошево через неширокое отверстие сыпалось глубоко вниз, по пути освобождаясь от пыли. Каменная струя падала в подземную реку, просеивалась через сплетенные из лиановых волокон сита. Потом – жернова, вращаемые непонятной силою. Из жерновов крошево высыпалось мелкопомолотою белесоватою мукой. Этою мукой заполнялись широкогорлые кувшины. Сверху они закрывались тяжелыми крышками и отправлялись на поддонах в печи, где гудел огонь, питаемый каменным углем. Ночь, день и еще ночь – вот сколько кувшины стояли в печи. Содержимое остужалось, формовалось в цилиндры размером с кукурузный початок. Цилиндры отправлялись в карстовую пещеру, укладывались штабельками по пятьдесят штук: ни больше, ни меньше. Почему, не знали даже жрецы, руководившие работами. Просто так было надо, и так делалось всегда. Сотни тысяч цилиндров теснились по стенам пещеры, дожидаясь своего часа. Время от времени очередной штабелек, пролежавший не менее десяти-пятнадцати лет, извлекался на поверхность. Цилиндрики приобретали удивительное свойство: если их подложить, например (всего лишь два), под тяжеленный камень, то он отрывался от земли, и его можно было перемещать на любые расстояния. На земле майя именно при помощи этих цилиндриков построены огромные города, величественные дворцы и храмы, обсерватории и библиотеки. В книжных хранилищах писцы, склонившись над листами бумаги, сделанной из луба фикуса, составляли календари, перечни празднеств и обрядов. В их книгах можно было найти пути движения планет и точнейший солнечный календарь, основы математики и архитектурные чертежи.

Но всё же главное, чем владели майя, были цилиндрики. С их помощью умельцы построили управляемые летающие сооружения, которые помогали отражать все нападения воинственных соседей – инков и ацтеков. Воины этих племен в ужасе бежали прочь при виде летающих чудовищ, изрыгающих огонь, стрелы и копья. Тайну изготовления цилиндриков знал лишь один человек – верховный жрец. Когда он умирал, то на ухо, коснеющим языком передавал заветный секрет преемнику. Так и велось многие столетия, пока не случилось непредвиденное. Однажды, складывая очередной штабелек в карстовой пещере, раб-укладчик (пленный воин-ацтек) неправильно счел количество цилиндриков: он положил в штабелек пятьдесят две штуки. Жрец-надсмотрщик пренебрег строжайшим правилом и не пересчитал количество цилиндриков. Ночью этот штабелек охватило зеленоватым свечением. Маленькие округлые молнии заискрились над цилиндриками, плавно перетекали в соседний штабелек. Скоро высоченные своды карстового подземелья засияли нестерпимым светом. По подземным ходам, мгновенно умерщвляя дремлющих стражников, свечение выплеснулось на кукурузное поле, где в тяжком сне пребывали камненосы. Они так и не проснулись. Бесшумная светящаяся смерть в мановение ока пронеслась по земле майя и близлежащих племен. На многие десятилетия обезлюдели джунгли близ подножия Анд. Одичали, заросли сорняками фасоловые и кукурузные поля, джунгли быстро надвигались на города, оплетая гибкими стволами лиан убогие жилища бедняков и величественные сооружения власть имущих, где царил мерзость запустения.

* * *

Ощущая звенящую опустошенность и даже небольшую сердечную аритмию, Циолковский напарил ополовиненную фляжку, сделал несколько глотков (отметив про себя: молодко теплое), протянул емкость незнакомцу. Тот отрицательно качнул головой, сказал:

– Нам осталось немного.

Видения сжались по времени, понеслись, сменяя друг друга, словно осколки цветных стеклышек в калейдоскопе. Высоколобые темнокожие мыслители Африки, заносящие в рукописи звездные наблюдения; тысячные толпы египетских рабов-бедолаг, тянущих каменные блоки к почти сложенной пирамиде Тутанхамона. Вот каменотесы долбят в базальте пустыни Наска многокилометровые борозды (лишь с большой высоты можно понять: борозды складываются в изображения птиц). А на другом континенте трудолюбивые китайцы строят мощнейшую, но, казалось бы, абсолютно бессмысленную в оборонительном смысле Великую стену; тут же перед взором калужского изобретателя промелькнула история древней Греции от расцвета до исчезновения. Как только растаяли в дымке тысячелетий гордые развалины Пелопоннеса и колонны Парфенона, возник Рим. Среди своих учеников на краю беломраморного бассейна восседает мыслитель Тит Лукреций Кар и вдохновенно декламирует:

«Мир ни в каком из направлений не ограничен, иначе существовал бы и его конец... Он не имеет ни границ, ни предела. Не имеет значения, в какой области всемира нам быть... необъятное пространство простирается одинаково во всех направлениях... надо признать, что материя есть повсюду».

Зыбучие пески почти погребли руины некогда самой большой в мире обсерватории близ Самарканда, чьи стены помнили талантливого внука Тамерлана, именем Улутбек...

* * *

Лениво покачивалась от теплого ветерка засеменевшая трава, по Оке в сторону Алексина шлепал плечами колесный пароход бывшего товарищества Цыпулина. Проходя мимо монастыря, судно трижды просигналило басовитыми короткими гудками (Циолковский усмехнулся, вспомнив: до 1917 года пароход назывался «Екатерина», большевики же переименовали его в «Наркома Троцкого»). Стрекотали кузнечики. Будто и не было ничего.

– Было, было, Константин, – прозвучал в мозгу изобретателя ответ незнакомца. – А теперь я расскажу тебе, зачем стоило сопереживать такие страсти и созерцать вселенские катаклизмы. Я освежил твою память коротким обзором развития некоторых народов земной цивилизации. Но развития ли? Ты сам мог увидеть и почувствовать: ассирияне, атланты, греки и римляне, шумеры и майя добились огромных успехов в различных областях знаний, в искусстве и архитектуре. И что в итоге? Эти народы исчезли во времени, современные исследователи по крупицам собирают их историю. Почему же так получилось? А вот почему, изобретатель Константин Циолковский. Каждый из этих народов в своем развитии внедрил такие сферы, которые губительны вообще для человека. Есть области знаний, к которым людям нельзя прикасаться.

«Поразительно! И что же это за знания?» – пронеслось в голове изобретателя. Он уже начал привыкать к тому, что в диалоге с незнакомцем совсем не обязательно говорить.

– Знания эти касаются основ мироздания. Я чувствую, что ты начинаешь понимать: я совсем не случайно появился рядом именно с тобой, а не перед твоим приятелем Ассоновым, например.

Ты дерзнул обратить свой взор к небу. Что, кстати, вполне естественно для человека разумного. Более того, человек разумный хотя бы раз в жизни задастся вопросом: интересно, а что там, на небе? Что это за светящиеся точки? Еще шумеры узнали: светящиеся точки – это планеты, созвездия и галактики. Эх, побывать бы там, мечтательно думали миллионы и миллионы твоих предшественников. И тут же отбрасывали эти мечтания, осознавая свое бессилие перед бездной космоса. Ты же задумал создать аппарат для практического решения извечной мечты человечества. Должен сказать, ты был далеко не первым, да и ракетный двигатель – не лучший вариант. Но это частности, я вовсе не об этом. Произведя многочисленные (и многолетние) расчеты, ты в своих математических выкладках случайно вывел две формулы. Значения им не придавал, они явились всего лишь промежуточным звеном в цепи вычислений. Да и сохранились только в рабочих тетрадах. Выражаясь понятным тебе языком, я скажу: формулы эти страшнее, чем гибель Атлантиды.

«Хм. Когда, в какой работе я мог написать подобные формулы?» – глядя в бездонные глаза незнакомца, подумал Циолковский.

– Огорчу тебя, Константин. Дело в том, что вышеупомянутые формулы – составная часть некоего энергетического принципа, проще говоря – совершенно нового вида энергии. Представь, что именно эта энергия погубила древние цивилизации. Не готово, понимаешь, не готово человечество обладать таким потенциалом...

«Да кто вы такой? Человек или...»

– С этого и надо было начинать наш разговор. Каюсь, в этом виноват исключительно я. Но, с другой стороны, если бы представился с первых минут нашего знакомства, вы непременно сочли бы меня душевнобольным. Да мне и теперь непросто отрекомендоваться.

«Почему?»

– В образном строе представлений человека нет ничего такого, с чем можно было сравнить субстанцию, каковою являюсь я. Лишь в вашем русском языке существует слово, дающее слабый намек на мою сущность. Но не буду озвучивать это слово. Считайте, что я – странник во времени и пространстве.

«Можно ли сказать, что вы – гость из будущего?»

Незнамец улыбнулся, сделал определенный жест рукой:

– Ты мог убедиться, что мне не составляет труда путешествовать и в прошлое. Время – понятие относительное, его придумали люди. На самом деле всё гораздо сложнее, равно как «небесная механика», «гравитация», «скорость» и прочие термины. Все эти понятия – плод нынешнего развития науки. Она, земная наука, в зачаточном состоянии, вы еще не скоро осознаете, что наука – это миф. Удивительно, но ваши предки предпочитали познавать мир совсем другими методами. Я бы сказал, что созерцательность давала им гораздо больше результатов, чем, допустим, манипуляции с ретортами и пробирками в лабораториях. Знайте: многие тайны космоса хранятся здесь, на Земле, их просто нужно увидеть. Ваш профессор Вернадский сделал безошибочное открытие: Земля – мыслящий организм. Когда вы, земляне, поймете, о чем она вам хочет рассказать, когда вам откроются сокровенные тайны планеты – вот тогда люди обретут настоящее представление об окружающей действительности. И слово «Бог» обретет совершенно иной смысл. Ну, как у вас говорят, мне пора. Знаешь, Константин, я не буду убирать из твоей памяти нашу встречу, хотя это положено. Ведь всё равно ты никому о ней не сможешь рассказать из опасения, что тебя признают су-

маспешдшим. Верно? (Циолковский кинул, скорбно поджав губы). А на память возьми вот эту вещичку.

Откуда-то из складок своей хламиды незнакомец извлек похожий размерами и формой на пуговицу предмет, положил на краешек спорника, где сидел изобретатель, и стал медленно удаляться, причем находясь лицом к Циолковскому. Изобретатель без всякого удивления отметил: сквозь хламиду незнакомца видна луговая трава, дальний берег Оки с деревней Горки на крутом склоне, белые кучевые облака...

* * *

Одиннадцать лет. Одиннадцать лет промелькнули, канули. В верхней части груди он чувствовал постоянную боль. Рак. Ну что ж, пора на вечный покой. Тем более что жизнь вовсе не меняется в лучшую сторону, его всё так же не воспринимают всерьез. Он откинулся на спинку низкого кресла, прикрыл глаза, лицо посетила горькая улыбка. Вспомнилось, как два года назад его, семидесятипятилетнего старика, местная чиновная рать уговаривала ехать в Москву, где в Колонном зале Дома Союзов готовилось торжественное заседание в честь его юбилея. Зачем? Долго он противился ненужной поездке, покуда к нему не наведался выбритый до синевы багроволицый функционер из губкома партии.

— Товарищ Циолковский, — хорошо поставленным голосом изрек он, — ну как же вас понимать? Родина признала вас как выдающегося специалиста, ученого в этом, как его... в ракетном деле, хочет чествовать всенародно. А вы? Срываете ответственное мероприятие.

— Юбилей — мой? — спросил ученый, развязывая тесёмки фартука (помнится, в то время стоял он у верстака: только что закончил строгать доски для книжных полок). — А поскольку мой, то и провести его я хочу исключительно по своему усмотрению. В кругу, так сказать, семьи и близких знакомых.

— Нет, многоуважаемый Константин Эдуардович, вы принципиально неправы и стоите — извините за прямоту! — на идеологически неверной позиции мелкособственнических интересов. Да поймите же: сейчас вы не принадлежите себе, вы — общенародное достояние и должны — должны! — принять участие в чествованиях. Вас должна увидеть страна!

После таких слов он понял: поездки не избежать. Его бережно доставили в Москву, поселили в роскошном номере гостиницы «Метрополь», где царил резная, красного дерева мебель, громадные расписные китайские вазы и бронзовые скульптуры — копии древнегреческих антиков. В глазах лощеной ливрейной обслуги Циолковский читал плохо скрываемое пренебрежение к собственной персоне. Сначала он отнес сие обстоятельство на счет своего возраста и провинциальности, но потом понял: причина — его одежда, точно в такую блузу-толстовку и серые брюки облачен был дворник, что по утрам мел гостиничный двор. На следующий день хмурый, с невыразительным лицом молодой человек принес в номер новый шерстяной костюм в полотняном чехле, белую рубашку, несколько галстуков и черные лакированные туфли. Ученый вяло попробовал отказаться от обновок, на что молодой человек сухо произнес, глядя мимо головы собеседника:

— Товарищ Циолковский, вы не к теще на блины приехали. Переодевайтесь. Это подарок от правительства. На торжественном заседании в вашу честь соберутся тысячи людей. Ожидаются иностранные представители, и документальную фильму наверняка снимать будут. А вы — в толстовке. Постыдились бы.

– Эт-то что еще за разговор? – слышался голос со стороны входной двери.

Там стоял невысокий блондин средних лет с коричневым кожаным портфелем. Примостив кожгалантерейное изделие на диванный валик, вошедший сделал несколько шагов к молодому человеку, негромко сказал:

– Принёс? Вон отсюда, придунок!

Циолковский ввиду глухоты не расслышал фразу, но вполне понял её смысл по тому, как изменилось лицо молодого человека и как моментально он покинул апартаменты. Блондин же перемонно поклонился, громко отрекомендовался:

– Позвольте представиться: Владимир. На время вашего пребывания в столице я уполномочен быть вам помощником, гидом, порученцем, защитником – одним словом, весь в вашем распоряжении, уважаемый Константин Эдуардович.

– Спасибо, – растерянно пробормотал ученый, – но мне не нужны помощники, я уж как-нибудь сам...

– Увы, это исключено, поверьте. Вот вам сейчас одежду принесли. Трамвайный хам, молокосос. Но – сынок партаппаратчика. Здесь таких горлохватов много. Однако, не в них дело. Москва, Константин Эдуардович, – мать городов русских, столица. Нынче газетчики пронюхают, что вы здесь, и тогда берегитесь: обложат со всех сторон, аки медведя в берлоге. А уж когда народ о вас в газетах прочтет – вот тогда вы поймете, зачем к вам помощник прикомандирован.

– И что же вы предлагаете?

– Я предлагаю для начала переодеться. Вам помочь?

– Ну что вы!

– Хорошо. Оставляю вас на двадцать минут.

Когда Циолковский облачился в хорошо подошедший костюм, Владимир вернулся в сопровождении официанта, катящего перед собою столик с завтраком. Подкрепились. Промокнув губы салфеткой, помощник легко встал, с прищуром глянул на ученого и весело сказал:

– А заснм, уважаемый изобретатель, позвольте ангажировать вас на поездку по улицам и переулкам Москвы. Авто рычит от нетерпения у самого подъезда. Возражения есть?

– Возражения? Нет! – в том же градусе улыбнулся ответно Циолковский.

Неторопливо они проехали сначала по Бульварному, а затем по Садовому кольцу. Часа через два он почувствовал боль в груди, испарина выступила на лбу. Стало трудно дышать. Он знал причину внезапно посетившей немощи: в гостинице он забыл некую вещь. Ту самую, вроде пуговицы, что подарил неведомый пришелец у Лютикова монастыря. После встречи с ним, возвратившись в Калугу, изобретатель положил пуговицу в секретный ящичек своего двухтумбового старинного рабочего стола. И на несколько лет забыл о предмете. Но как-то, мучимый приступом мигрени, он вынул «пуговицу» и – о чудо! – боль немедленно исчезла, а «пуговица» замерцала нежным фиолетовым цветом. С тех пор Циолковский, когда уж совсем невольно было терпеть всё новые и новые недуги (а ведь всем известно: к старости и забытые раны дают о себе вспомнить, и новые болячки тут как тут), доставал из тайничка заветный амулет. Помогало. В Москву он «пуговицу» тоже взял. Но оставил в номере.

– Володя, – сказал ученый, пытаясь улыбнуться, – а вы не забыли, по какому поводу я в Москве-то нахожусь?

– Обижаете. По случаю семидесятилетия.

– Вот именно. Устал я, Володя.

– Ой, Константин Эдуардович, простите! Вот дурак! Но вы тоже... Нет чтобы сразу сказать...

– Да ладно, сам виноват, засмотрелся на Златоглавую.

У дверей номера прохаживался парень с зачесанными назад темными волосами, в кожаном реглане. В руках он нервно теребил кепку-пестиклинку. Увидев посетителя, Володя обогнал Циолковского, открыл дверь и, оттеснив парня в сторону, строго сказал:

– Товарищ, вы не вовремя, ученый не совсем здоров.

– Я подожду, да и сказать-то ему хочу несколько фраз. А как скоро он сможет меня принять?

– Трудно сказать.

В это время ученый открывал платяной шкаф. Похлопал по карманам висящих там старых брюк, вытащил «пуговицу и зажал ее в кулаке, шепча: «Только бы отпустило, Господи». Долгожданное облегчение наступило почти моментально; когда Володя с озабоченным лицом появился в номере, то сразу не узнал своего нынешнего патрона. У Циолковского был свежий вид, щеки порозовели, взгляд выражал живейший интерес к окружающему.

– Ну, и что там за молодой человек маячил у дверей? – поинтересовался ученый. – Приглашай.

Молодой человек оказался режиссером с «Мосфильма», фамилия его была Журавлев. Без лишних предисловий режиссер поведал: на киностудии хотят поставить фантастическую картину со звуком, о космическом путешествии. Сценарий уже пишется, режиссуру поручили ему, Василию Журавлеву.

– Вы ведь понимаете, товарищ Циолковский, что для всего человечества космос – понятие пока что неизведанное, – горячо говорил режиссер, – а ошибок делать не хочется. У меня к вам огромная просьба: дать консультации по сценарию, когда его закончат.

– Молодцы! – воскликнул ученый. – Договорились. И как скоро ваш сценарий будет готов?

– К весне, я думаю.

– Тогда пишите мой калужский адрес. Весной приедете – и я отвечу на ваши вопросы. До встречи.

Помощник Володя оказался прав. Несколько последующих дней прошли в непрерывных встречах: его посетили делегации пионеров, юных авиамоделистов, отличников социалистического соревнования Наркомтяжпрома, ДОБРОХИМа; побывала в его роскошных апартаментах чопорная профессура из академии наук и МГУ... Полчаса пришлось уделить своему представителю по издательским делам Солодову, который настаивал на переиздании «Вне Земли» с некоторыми тактическими переделками и увеличением количества иллюстраций. По вечерам он пытался сосредоточиться, продолжать собственные труды, но куда там, в семьдесят пять это почти невозможно. Естественной реакцией организма стала сонливость. Да и самочувствование, и вручение ордена Трудового Красного Знамени с бесцветной формулировкой «За особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение для экономической мощи и обороны Союза ССР» – прошли (скорее, проплелись), не оставив впечатления праздника. Ну, конечно, конечно, он понимал: все эти помпезные мероприятия проводятся

не ради него как личности, они нужны правительству, чтобы еще раз продемонстрировать мировой общественности триумф советской науки. Ай, да что там...

* * *

Но это было почти два года назад. Вернувшись в Калугу, он быстро вошел в привычный рабочий режим, и всё бы ничего, да потерялась заветная «пуговица». Помнится, после очередного приступа грудной боли он сунул чудодейственный амулет в тайник стола, а через несколько дней его не обнаружил. Грешить было не на кого: близкие о тайнике ничего не знали. Стало быть, склероз.

Циолковский вздохнул, обмакнул перо в чернильницу-непроливайку, стал писать ответ на очередное письмо Чижевского.

3 июля 1934 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Александр Леонидович, посылаю Вам всё, что могу. Может быть, и лишнее, что у Вас уже есть. Также фото с подписью.

Кроме указанных статей, мною написана ещё сотня. Но трудно помещать в журналы и даже издавать за свой счет: в Калуге совсем не разрешают, а в Москве держат долго и не разрешают наполовину. При этом письме вкладываю ещё список работ, помещенных в журналах.

Кроме Рынина мои биографии сделаны и изданы Перельманом и Бобровым (дать не могу).

Три-четыре книги мне прислали на немецком и чешском языке, где помещены мои фото и биографии (прислать не могу). Многое, что пишут обо мне здесь и за границей, я узнаю случайно.

Печальная и трудная жизнь подходит к концу. Я не сделал того, что желал бы сделать, и потому с огорчением схожу со сцены. Что будет с моими неизданными работами, не знаю. Сделаю ещё попытку найти им выход в свет.

Ваш Циолковский.

Жить великому ученому оставалось чуть больше года. Что касалось тайника, то его секрет Константин Эдуардович узнал не до конца. Ящичек величиною со спичечный коробок имел два отделения. И когда ученый в очередной раз упрятал «пуговицу», то чуть сильнее, чем нужно, надавил на крышку. Очень тихо щелкнула пружинка, и «пуговица» упала в нижнее отделение, где полторы сотни лет скучала одинокая девичья сережка с потемневшей жемчужинкой да серебряный трехрублевик Екатерины I, отчеканенный в Санкт-Петербурге в 1726 году.

* * *

С Оки дул промозглый ветер. Он гнал по бульвару мостовых жухлую траву, шуршал в кучах бумажек, свистел в голых ветках деревьев, закручивал по закоулкам маленькие пыльные смерчи. Улицы Калуги уже несколько дней не щекотали мётлы дворников.

Да и какие там мётлы! Еще позавчера, 10 октября 1941 года, на плечах отступающих подразделений красноармейцев город покинула партноменклатура, хозяйки, прихватив с собою казенное имущество, архивы, складское барахло и наличность сбербанка. Милицеевское начальство оставило в городе десять человек сержантского состава, дабы пресекать мародерство в магазинах, откуда не успели вывезти товары. Сейчас по безлюдным улицам, под звуки приближающейся канонады рыскала полторка горкомхоза, подбирая на борт этих последних стражей порядка. Водитель, дядя Саша Колпаков, еле успел отреагировать, когда напе-

перез машине внезапно выскочил человек в распахнутом пальто. Потеряв на бегу калошу, он достиг центра проезжей части, рухнул на колени и выставил перед собою руки, будто пытаясь остановить железное детище Горьковского автозавода. Взвизгнули тормоза, стоящие на борту милиционеры только что не перелетели через кабину.

— Тебе что, жить надоело, твою мать?! — высунувшись из бокового окошка, беспечно прокричал Колпаков.

— Умоляю... родные мои... умоляю... — пронзительным фальцетом произнес человек, указуя перстом куда-то себе за спину. — Там надо эвакуировать... я технику заказывал, а она... она запаздывает...

— погоди, дядь Саш, — потирая красные от холода руки, сказал водителю усатый сержант, — я данного гражданина знаю, мы летом к нему на экскурсию ходили. Это же директор музея Циолковского, вот фамилию запомнил. Вы бы, товарищ, покинули проезжую часть, сейчас не до эвакуации, немчура вот-вот в город нагрянет. Думаю, часа через три. А то залезайте на борт, места хватит. Почти до Тарусы доставим. Дальше-то мы на фронт, а уж вы как знаете.

Директор поднялся с колен, обреченно махнул рукою и пошел восвояси.

— Галошу-то подымите, не май месяц, — крикнул вослед дядя Саша Колпаков, снимая ногу с педали тормоза. — Да вы не сердчайте, товарищ, наша машина и впрямь последняя в городе, и та на спецзадании. Вы музей-то снаружи досками заколотите — окна там, двери — авось, и не сунутся оккупанты поганые...

* * *

Накинув на плечи овчинный тулуп, в полутемных сенях курил сторож. В воздухе витали запахи керосина и моршанской махорки.

— Сколько раз говорил: дымить во двор выходи, — буквально ворвавшись в дверь, привычной скороговоркой выпалил директор. — Где все?

— По домам сидят, где ж им быть. Немца ждут. Ну, уборщица была, Маруся. Подмелась да ушла. Сказывала, к родне в деревню едет от немца хорониться с детишками: мужа-то в армию забрали.

— Так. Давай, Никифор, вставай, будем прятать экспонаты. Замок от подпола где?

— В тумбочке, на месте, — гася самокрутку о каблук сапога, неторопливо ответил сторож. — А зачем прятать-то, когда машину обещали для эва... эвакуации?

— Через два часа в Калуге будут немцы! Пошли! Не будет никакой машины, — директор сорвал с себя пальто, кинул его на спинку венского стула, повторил почти умоляюще: — Да пошли же, Никифор!

— Да я что? Пошли, коли надо. Ах ты, беда-то какая...

Скоро в основательной, обложенной камнем сарайной погребнице, накрытые старой мешковиной, затаились до лучших времен вещи, что долгие годы служили верой и правдой Циолковскому: барометр-анероид, динамомашинка, 40-кратный древний микроскоп, подозрительная труба, фотоаппарат фирмы «Меркурий», воздушные насосы и электрофорная машинка, книги, столярный и слесарный инструмент, керосиновая лампа, пресс-папье и чернильница с письменного стола, папки с рукописями и предметы совсем непонятого вида и назначения.

— Заморился, — сторож вытер потный лоб, — надо перекурить.

Сели во дворе на низкую скамеечку под сиреневыми кустами. Никифор ловко свернул

самокрутку, закурил. Прислушались. Тишину нарушали звуки не очень далекой стрельбы, ставшей привычной за последние дни.

– Позволь полюбопытствовать, товарищ директор, – негромко спросил сторож, загадочно посмотрев на собеседника, – правду ли народ говорит, али брешут, будто немцы у нас в Калуге лютовать не будут?

– Хм. Первый раз слышу. С чего бы это?

– А-а, не знаете. То-то и оно. Дело, конечно, темное, но, как говорится, за что купил, за то и продаю. До Великой Октябрьской, при царизме, расквартирован был у нас третий Ингерманландский полк. И в нем будто бы служил в офицерском чине отец самого главного фашиста, Гитлера. Только, говорят, фамилия у него была другая. Шиль... Шиль...

– Шикльгубер, – проронил директор.

– Да-да, точно И говорят, очень у нас в Калуге этому самому Шикльгуберу понравилось. Немцы – народ болтает – будто бы хвалились, что если Калугу возьмут, то этому Шиль... ну, в общем, родителю Гитлерову памятник отольют из чистого золота.

– Антисоветчину ты несешь, Никифор, чужь собачью. Всё, кончай перекур, пойдем...

Завершить фразу директор не успел: сразу с двух сторон зарычали мощные двигатели, по соседней улице прогреготала колонна танкеток, а откуда-то снизу стучали мотоциклы. Порывы ветра доносили из центра города металлический голос, вещающий из репродуктора: «Ахтунг, ахтунг! Внимание, внимание! Город Калуга оккупирован доблестными войсками фюрера! Соблюдайте порядок и дисциплину!..» Вот один из моторов зафырчал на холостом ходу рядом с воротами.

– Неужто немчура? – привстал со скамейки сторож.

– Не знаю. Сиди.

Скрипнула дверь рядом с наглухо закрытыми на засовы воротами. Согнувшись, вбежали четверо с автоматами, в грязно-зеленых плащ-палатках. Рассредоточившись, обыскали двор. Один остановился около сидевших, наставил оружие, сказал-каркнул:

– Зитцен!

– Сидеть, говорит, – спокойно прокомментировал Никифор. – Я ведь, товарищ директор, с ними еще в первую империалистическую воевал. Ничего, воевать умеют. Но в рукопашной супротив русских кишка тонка.

– Помолчи.

Автоматчики выдернули из скоб дубовые засовы, развели в стороны створки ворот. Во двор въехали два мотоцикла с колясками, следом – черное авто, отороченное снизу бахромой грязи. Из него выбрался офицер в фуражке с высокой спесивой тульей. Держась за ручку дверцы, несколько раз присел, разминая ноги.

– Театр абсурда, – прошептал директор.

Офицер разложил на капоте авто карту, всмотрелся в нее. Поднял глаза, поманил кого-то пальцем. С заднего сиденья одного из мотоциклов прыгнул русопятого вида мужичок в телогрейке и зеленом картузе, подбежал к офицеру.

– Так это ж... товарищ директор, это ж Васильев из... – начал сторож, показывая на штатского.

– Да замолчи ты! – прервал директор. – Без тебя знаю. Пальцами показывать некультурно. А в наших с тобой обстоятельствах, Никифор, вообще опасно для жизни.

Мужичок тем временем на сносном немецком начал что-то объяснять офицеру, водя

пальцем по карте. В конце своего монолога он обернулся к сидевшим музейщикам, потом подошел к директору, сказал:

– Тебя господин офицер зовет.

– С каких это пор мы с тобой на «ты», Васильев?

– А с сегодняшнего дня, – с нескрываемым торжеством ответил тот. – Всё, кончилась ваша власть, коммуняки! И заруби на носу: стоит мне только намекнуть, что ты из коммунистов, тебя шлепнут прямо здесь. Давай иди, господин офицер ждать не любит.

Директор подошел к машине. С оценивающим прищуром офицер посмотрел на него, сказал несколько фраз.

– Ты – директор музея? Дом не заминирован? Отопление – печное? Телефонная связь есть? – перевел Васильев.

Столь же лаконично ответив, директор кинул взгляд на карту. Ну да, это была карта Калуги «кунд Умгегенд», то есть с окрестностями. Добротная, со всеми подробностями, включая водоразборные колонки, отдельно стоящие деревья и чуть ли не голубятни. В Калуге таких карт не имелось. Он подумал: да, немцы подготовились к войне весьма основательно. Офицер пролаял еще несколько фраз (вообще-то речь его была окрашена во вполне благожелательную тональность, просто сам язык содержал какие-то лающие слова).

– Пошли в дом, покажешь самые ценные экспонаты, – подтолкнул его в спину Васильев.

* * *

Еще через несколько часов во дворе стояли тентованные грузовики батальона связи. Солдаты вермахта разгружали катушки с телефонным кабелем, части коммутатора, провиант и амуницию. Аккуратно складировали имущество в сарае, причем первый ряд ящиков ставили прямо на люк, ведущий в подпол. Спальные помещения решили оборудовать в нижнем этаже дома.

Осень выдалась холодная, ветреная. Скучного запаса дров в поленнице хватило немцам на неделю: обе печи топились круглые сутки. Особо прожорливой оказалась старинная изразцовая в гостиной. Ну, а когда дрова кончились, в ход пошло всё деревянное, что попадалось под руку. Фашисты разобрали ворота и часть забора, раскурочили сennую пристройку. Дом сжался, оцепенел, страхась полного разрушения.

А оно было возможно. Ибо механизм третьего рейха дал сбой. Блиц-криг не состоялся, и не то что топлива – питания не стало хватать. Фуражиры разъезжали по оккупированным селам и реквизировали у крестьян съестное. Связистам в этом смысле было проще: они тянули связь там, где еще не прошла всепожирающая пехота. В колясках мотоциклов по вечерам стали привозить живых кур и гусей. Под их временное пристанище, недолго думая, приспособили непонятного вида и назначения мастерскую на втором этаже дома. В ней было тринадцать окон, у одной из стен стоял большой верстак, а под потолком висело несколько странных конструкций из гофрированного железа, напоминающих кузнечные меха.

В начале ноября в гости к командиру взвода напросился земляк, лейтенант, штабист Отто Вигель. Распили бутылку трофейного армянского коньяка, посудачили о том о сем.

– Знаешь, Руди, я ведь о существовании этого городишки узнал из штабных карт, – глядя на свет семилитровой керосиновой лампы через пустую бутылку, сказал штабист. – Жаль, что всё хорошее быстро кончается, как этот коньяк.

– Ты прав. А что, есть желание продолжить?

– Естественно. Ты говоришь таким тоном, будто под этим домом есть винные погреба, – невесело пошутил Отто. – Как в Бургундии, помнишь?

– Это незабываемо. Увы, мон шер, русские не занимаются виноградарством, не тот климат. Однако, – Руди сделал паузу, поднял вверх указательный палец, – русских не стоит недооценивать, они не только квас употребляют. Поэтому для продолжения банкета имею честь предложить вам, герр оберлейтенант, образчик местного веселящего напитка, именного самогона. Не против?

– Ну-у, не знаю...

– Причем, ту его разновидность, что зовется «перватч». То есть вундербар, экстра-квалитет.

– Э-э, давай, земляк! На войне нужно ценить каждый день жизни. Тем более что завтра мне предстоит поездка на фронт, а там... да что говорить, пробуем, чем там русские скрашивают досуг.

– Отто, а что ты говорил насчет этого городишки? – слегка заплетающимся языком спросил комвзвода, когда выпили по две рюмки чистого, как слеза, «перватча».

Штабист похрустел пайковой безвкусной галетой, промокнул губы носовым платком:

– Насчет этого городишки именем Калуга скажу следующее. Я квартирую на улице Суворова, номер 32. Хозяйку зовут Маргарита Даниловна Петрова. Учительница. Прилично знает наш язык, с ней есть о чем поговорить. Кстати, в ее доме неплохая мебель, великолепная библиотека. Например, прижизненные издания Гёте и Шиллера. И живопись. Она – вдова офицера. Весьма недурна собой, между прочим, хотя ей за сорок.

– Конечно, штабистам всегда везет, – ухмыльнулся Руди. – Ну, и как они, русские бабы?

– Я не об этом. Хотелось, хотелось бы и об этом, но увы. Она сказала сразу: если я буду приставать, она или пожалуется моему начальству, или покончит жизнь самоубийством. Да-а, здесь точно не Франция. Ну так вот, я упомянул о живописи.

– Говоришь, вдова офицера? – прищурился связист. – Наверняка коммунистка. Ты не спросил, в каком томе Шиллера она прячет партбилет?

– Ее муж был царским офицером. Он, правда, воевал против нас, но то была первая мировая война. Маргарита Даниловна не прожила с ним в замужестве и года.

– Отто, я всё же подозреваю, что ты испытываешь к мадам да-алеко не ненависть: ишь, с каким придыханием произносишь «Маргарита Даниловна»...

– Не перебивай. Ее муж был боевым офицером, таких я уважаю. Она рассказала, что он участвовал в русско-японской войне и привез оттуда в качестве трофея две японские картины. Это пейзажи удивительной красоты в резных палисандровых рамах с элементами барельефов. Он подарил ей эти картины в день помолвки. Дня три назад возвращаюсь я со службы и что же вижу? В гостиной с «вальтером» наперевес стоит гауптман из роты хозяйского обеспечения, а напротив – хозяйка, прикрывая собою один из пейзажей (второй уже снят). Этот наглец-мародер отвечает, что, дескать, по законам военного времени имеет право брать трофеи в домах городских обывателей.

– Гауптман Киршер? – связист наполнил рюмки. – Знаком, знаком с убожеством. О нем идут веселые слухи. Неплохо устроился в купеческом особнячке, забил его под потолок награбленным барахлом. Куда смотрит кригсплицай?

– Примерно об этом я ему и сказал и добавил, что если он сно же минуту не уберется вон,

то напишу докладную о его делишках на имя начальстаба. После чего он ретировался. У моей очаровательной хозяйки случился обморок. Впрочем, легкий. За вечерним чаем я задал ей вопрос: стоило ли рисковать жизнью ради картин, пусть даже столь ценных. А она ответила в том смысле, Руди, что дело не в картинах, а в памяти. Нельзя же быть скотами, сказала она. И после таких слов я зауважал ее еще больше. Русские – сильные люди.

– Кто спорит? Ну, прозит? – связист поднял рюмку. – За победу германского оружия!

– Прозит!

Когда выпили, штабист невесело улыбнулся и поднял на приятеля глаза:

– Ты знаешь, какой сегодня день?

– Седьмое ноября 1941 года от Рождества Христова, герр оберлейтенент. А что?

– А то, что наши штабные переводчики слушали, как всегда, русское радио. Представляешь, в Москве на Красной площади проведен праздничный парад!

– Парад? То есть пир во время чумы? Ну безумцы!

– Я бы не сказал. Во-первых, сегодня у коммунистов очередная годовщина революции. Наши армады обложили Советы со всех сторон, а они, как ни в чем не бывало, маршируют около Кремля, сотрясая прах лежащего в мавзолее их главного идеолога Ленина. Это, Руди, дорогого стоит. Еще один штришок: сразу с парада солдаты пошли на огневые позиции, а не за праздничные столы. Кстати, именно сегодня по каналам вермахта прошла еще одна небезынтересная информация: скотина Рузвельт подписал-таки закон о распространении ленд-лиза на СССР. Капиталисты собираются помогать коммунистам оружием и продовольствием в борьбе против «фашистской Германии». Каково?

– Да, это сильно. Пропаганда у русских тоже на высоте, нашему Геббельсу надо взять на заметку. Надеюсь, ты не наступишь на мое преступное словоблудие в СД?

– Успокойся, сам такой. Что-то я всё о себе да о себе. Ты-то как живешь? Дом, смотрю, не из самых плохих, даже изразцовая печь и второй этаж наличествуют. Только вот обстановка какая-то...

– Отто, ты не поверишь, это не просто дом: это дом-музей! Жил тут некий полячишка по фамилии Циолковский. Говорят, что-то там изобретал. А когда несколько лет назад сыграл в ящик, то благодарные горожане сделали из его жилища этакое большевистское капище, ибо православную религию предали анафеме, а верить во что-то надо.

– Погоди, погоди. Циолковский, говоришь? Зря ты так легкомысленно о нем. Мой фатер рассказывал, что он был весьма и весьма... Он был гений, Руди! Да-да, я вспомнил: Циолковский изобретал ракеты! Что же ты мне раньше не сказал?

– А ты и не спрашивал, – пожал плечами связист. – Надо же! Я-то откуда могу что знать? Да и некогда. Приволакиваешься затемно, пожрешь – и в койку, а утром опять на передовую. Война, земляк. Ну и что, изобрел он эту самую ракету?

– Представь себе, изобрел. Сделал теоретические выкладки, так сказать. Осталось построить. Мой фатер, если ты помнишь, инженер-механик, в фирме «Опель» был не на самом плохом счету. Сам понимаешь, положение обязывало его штудировать техническую корреспонденцию, он был в курсе многих открытий и изобретений. В нашем великом фатерланде, конечно, тоже есть светлые головы. Помнится, отец рассказал такую историю (я тогда учился в штабном училище, до войны с Польшей оставалось два года). В 1923 году в Мюнхене вышла книга профессора Германа Оберта «Ракета к планетам». Там говорилось, что с помо-

пью техники можно достичь космических скоростей. Профессор описал машины и аппараты, доказал расчетами, что человек может выдержать путешествие к Луне, Марсу и прочим звездам. Одним словом, сенсация. Но оказалось, что это вовсе не ново: еще в 1903 году – за двадцать лет до этой книги! – в русском журнале «Научное обозрение» без всяких сенсаций именно этот самый Циолковский опубликовал работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Со всеми выкладками и расчетами...

– Ты меня шокировал, Отто. Я словно выпил залпом бутылку «перватча», – пытаюсь сфокусировать раздваивающиеся предметы, проговорил связист. – Неужели мы в доме того самого Циолковского? – Получается так. И теперь я понимаю, почему здесь такая необычная мебель и обилие витрин. Кстати, а что это за жестяные воронки на подоконнике?

– Хм. Кто-то мне сказал, что хозяин дома бы туговат на ухо и сам смастерил себе эти слуховые трубы. Наши водители нашли им применение: удобно заливать бензин в баки.

– Космос... – задумчиво произнес штабист. – Ты знаешь, Руди, в доме ученого такого направления должно быть много книг, как минимум один телескоп и самые разнообразные приборы. Где это всё? Или ты пошел по кривой дорожке гауптмана Киришнера, а, негодяй?

– В мыслях не держал. Вон висят часы. Не Бог вещь что, «Павел Буре», но механизм надежный, в хозяйстве пригодится. Я ведь их не взял, верно? Нет, Отто, я не мародер. Подозреваю, что упомянутые тобой предметы большевики успели эвакуировать в тыл. Где их в любом случае захватит в качестве трофеев наша доблестная армия. Грустно констатировать, но даже «перватча» близок к исчезновению. Разливаю по последней.

– И никаких рукописей, бумаг?

– Абсолютно. Хотя... Помнится, в углу под кроватью валялись какие-то брошюры, – Руди наполнил слегка дрожащей рукой рюмки, определил пустую емкость на подоконник рядом с жестяными воронками слуховых трубок.

Покачиваясь, прошел в темный угол комнаты, встал на колени перед железной кроватью, пошарил под нею и вытянул за уголок лист крафт-бумаги. На нем лежало несколько блекло-синих брошюр.

– Вот они, – громко объявил связист. – Но это, скорее всего, какие-нибудь инструкции.

Он встал с колен, опершись на визгливо заскрипевший пружинный матрас, принес брошюры.

– «Мо-ни-зм Все-лен-ной», «При-чи-на Кос-мо-са», – по слогам прочел оберлейтенант. – Автор – К. Циолковский. Издано в Калуге в 1925 году. Ничего себе! Глобально! А ты говоришь, инструкции. Парень обсуждал, точнее, размышлял о вопросах мироздания. Ты не будешь против, земляк, если я отдам всё это нашим переводчикам?

– Бери! – барским жестом дополнил согласие Рудольф. – А теперь выпьем за успешное завершение осенней наступательной операции.

– И за то, чтобы не погибнуть.

* * *

На следующий день оберлейтенант Отто Вигель сопровождал на фронт колонну пополнения. Шоссе было забито техникой и пешими колоннами, по обочинам на только что выпавшем снегу щерились черные скелеты сгоревших машин. Откуда было ему знать, что в покореженном танке, завалившемся набок в двух сотнях метров на взгорке, сидит уже который

час снайпер. Он пропустил колонну грузовиков, высмотрел в прицел черную легковушку. Когда на повороте она снизила скорость, снайпер поймал в перекрестье молодое, несколько одутловатое лицо офицера («Небось, с похмела», – подумал снайпер), задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок.

Командир взвода армейской связи Руди проснулся со страшной головной болью.

– Перватч и коньяк несовместимы, – хрипло простонал он самому себе и выбрался из-под одеяла.

Во дворе стоял гогот. Это веселились вернувшиеся с очередного задания линейные надсмотрщики, устранявшие неисправность на линии Белев-Перемышль. В одной из изб связисты обнаружили спрятанную в подполе свинью. Хавронья выдала себя хрюканьем, после чего была немедленно вытащена на веревках, связана, погружена в мотоциклетную коляску и доставлена к месту временной дислокации. Во дворе свинья немыслимым образом избавилась от пут, и сейчас за нею бегал весь наличный контингент. Когда мало что соображающий Руди вышел на крыльцо, свинью, наконец, поймали. Четверо держали ее за ноги, пятый осторожно подходил сбоку, держа в руке штык-нож. Лезвие вошло точно под левую лопатку. Животное закричало тонко, почти по-человечески, и задергалось в конвульсиях. Рядовые были, что называется, от сохи, из сельской местности, так что не прошло и часу, как освежеванную тушу втащили в дом. Руди успел умыться, сбрить щетину и выпить кружку желудевого кофе. И в ту минуту, когда он хотел дать указания насчет дальнейшей судьбы хавроньи, во двор влетел вездеход-амфибия комбата, порученец прокричал, открыв дверцу:

– Герр лейтенант, срочно к командиру!

Руди махнул рукой и побежал к вездеходу.

– Ну, наш патрон убыл, – облегченно вздохнул стоящий на крыльце рядовой. – Ценных указаний не будет. Затаскивайте, парни, свинку на пищеблок.

Оказалось, что рубить тушу не на чем. Решили притащить на кухню (она же – столовая) большой двухтумбовый стол, что праздно стоял в гостиной. Втащили, обдирая краску с дверных косяков, содрали со столешницы тонкий зеленый материал (весь в чернильных пятнах, но на портянки в самый раз). Водрузили пятипудовую тушу, разделили.

Руди возвратился вечером. Солдат-дневальный, разбивающий топором книжную полку при свете мотоциклетной фары, доложил:

– Герр лейтенант, свинья разделана по всем правилам, ужин готов, только что подогрели.

Кивнув, Руди вошел в дом. Видно, весь день топились обе печи: его сразу окружило тепло. В столовой связист увидел письменный стол, столешница которого была изувечена топором. Плохо отмытая кровь делала его чем-то похожим на истерзанного человека. Связист прислонился к стене, постоял немного в задумчивости. За порогом загрохотали сапоги, вошел дневальный с охапкой дров, и до Руди только сейчас дошло: в доме тихо.

– Рядовой Штольц, где взвод? – спросил он, когда дневальный уложил дрова на железный лист перед печной дверцей.

– Личный состав отбыл в город на просмотр кинохроники о победоносных боях под Москвой, – отпраповал солдат. – Вам ужин здесь подать?

– Неси в комнату, где мы вчера с оберлейтенантом беседовали. А кто догадался стол изуродовать?

– Свинью не на чем было разделывать. Но это ведь не имущество вермахта. Тем более

что русским письменные столы больше не будут нужны, мы их заставим пахать. Ведь так, герр лейтенант?

– Идиот. Ладно, неси еду и занимайся своими делами. И не умничай, когда тебя не просят.

В комнате Руди стащил с ног отсыревшие сапоги, поставил сушиться на кафельную лешанку. Переобулся в валенки с отрезанными голенищами, похожие на обувь гномов, фигурки которых отец ставил под рождественскую ёлку. С апшетитом поел жареной свинины с картофелем, сдобрив мясо огненной горчицей. Сапоги дневального зацокали по узкой лешенке на второй этаж: он с лукошком зерна шел кормить кур, о чем вскоре подтвердили ку-даханье и хлопанье крыльев.

Руди вернулся в столовую, его чем-то притягивал стол. Открыл левую дверцу, хотел выдвинуть ящики. Но они оказались запертыми на ключ. Охватило любопытство: как же так, мои мародеры-подчиненные не поинтересовались содержимым! Замки оказались хлипкими: воспользовавшись специальными бокорезами, входившими в инструментарий связистов, он довольно легко открыл ящики. Они были пусты, если не считать нескольких обивочных гвоздиков с позеленевшими латунными шляпками, да в самом нижнем он обнаружил фотографический снимок. На плотном картоне был изображен мальчик в матросском костюмчике, снятый явно в ателье: он стоял, облокотившись о капиталь гипсовой колонны. На обратной стороне типографская надпись гласила: «Фотография Адамович Степан Антонович, г. Калуга». От руки темно-коричневыми чернилами нанкосок размашисто: «Дедушке Косте от внука Володи». Ничего этого Руди, конечно, прочесть не мог. Но снимок положил в карман кителя, рядом с офицерской книжкой.

В ящиках правой тумбы он также ничего не нашел. Сидя на корточках, зачем-то стукнул бокорезами по внутренней стороне левой тумбы, и она вдруг отозвалась тонким серебряным звоном. Странно. Хотя, впрочем, ничего странного, стол-то старинный, вполне может оказаться где-то потайной ящичек. У матери в трюмо, например, был такой. Она хранила там прядь его детских волос. Простучав несколько раз тумбу, Руди нашел место, где звон прослушивался особо отчетливо. И вскоре обнаружил тайничок. Вначале пальцы нащупали нечто круглое, оказавшееся женской серьгой. Затем на свет была извлечена серебряная монета с профилем дородной матроны и цифрами «1726». Сунув пальцы в невидимое пространство тайничка еще раз, лейтенант ощутил предмет, также смахивающий на монету по размерам и форме.

Он выцарапал ее из тесного нутра, положил на раскрытую ладонь. И тут произошло нечто. Предмет засиял грозным, нестерпимым для глаз фиолетовым сиянием и протёк сквозь ладонь, как сквозь воду, оставив аккуратное отверстие. Ударившись об пол, предмет покатился по половице и провалился в щель около стены. Руди поднял ладонь на уровень глаз. Сквозь дырку посмотрел на злосчастный стол. Странно, рана не кровоточила и не болела. Зато свет стремительно померк, окружила темнота. И ужас.

– Эй, Штольц, сюда! – кричал лейтенант, срываясь на фальцет.

* * *

В госпитале связиста тщательно обследовали. Врачи констатировали наступление полной слепоты ввиду ожога роговицы, каковой может произойти разв в том случае, если человека продержат пару часов с открытым глазами в полуметре от мощного прожектора. Лей-

тенанта списали вчистую и отправили в голодный фатерланд.

Гитлеровцы хозяйничали в Калуте недолго: под Новый год их выбила 258-я стрелковая дивизия, что входила в состав 50-й армии под командованием генерала Болдина. Еще дотлевали в городе пожарища, снег в промерзшем бору не успел прикрыть черные зигзаги окопов и дыры канониров, а музей Циолковского начали приводить в порядок.

Первого января уборщица Маруся пришла на службу, как всегда, рано. Миновала бесстыдную прореху в заборе, где недавно стояли ворота, увидела разрушенную сennую пристройку, прошептала:

– Это что ж дется-то, Господи!

Вошла в дом, засветила принесенную с собой лампу, осмотрела комнаты обоих этажей, где царил полный разгром. Села в уголке на стул с поломанной спинкой и заплакала навзрыд. Однако пора было приниматься за работу. Всё ещё всхлипывая, стала сметать в кучки мусор, деревянной бадейкой выносила его во двор, к выгребной яме. Когда забрезжил рассвет, в доме появился сторож. Постукивая самодельной можжевелевой палкой, обошел замороженные помещения, пробормотал:

– Четыре дня не топлено, ёшкин кот, не меньше.

Услыхал шаги на лестнице, обернулся. Вниз спускалась уборщица с очередной бадейкой смёта. Завидев сторожа, тихо проронила:

– Здравствуй, Никифор. Что дом-то не сторожил? Вишь, что наделали фашисты.

– Не болтай. Дров-то совсем нету?

– Какие дрова? Ворота – и те пожгли. Ты что хромаешь, ай ногу повредил?

– Повредил. Ладно, пойду. Жди, скоро возвращусь, – и Никифор захромал к выходу.

Ближе к полудню сторож привез на санках десяток березовых чурбаков, расколол их во дворе. Протопили печи. Покурив у вьюшки, Никифор заглянул в сарай. На люке, ведущем в погребницу, лежали пять зеленых ящиков, вроде снарядных, с черными трафаретными свастиками и надписям на нечитаемом готическом шрифте. В ящиках оказались галетные батареи для полевых телефонов. Вывалив в угол белёсые пачки галет, обернутых вошеной бумагой, сторож порубил клейменные ненавистным паучьим знаком ящики на дрова, занес в дом. Потом спустился в подпол. Чудо! Все спрятанные экспонаты оказались нетронутыми.

– Живем, Марся! – победно покрутил ус Никифор. – Не сообразила немчура поганая в подпол спуститься. Завтра плотники обещались придти. Горкомхоз посулил достать стекло, а то разве это дело – половина окон картонками забита, ветер гуляет.

До вечера они в четыре руки наводили порядок. Оставшись один, сторож заперся изнутри, сел у печи. Приоткрыл дверцу, долго смотрел на малиновые сполохи. Подождав, пока уголья прогорят и подернутся теплом, Никифор затворил дверцу и задвинул вьюшку, дабы до утра сохранить тепло. В темноте на ощупь передвинул табуретку к боковине печи, прислонился к ней спиной; закурил сигарку, прикрыл веки и стал слушать. Дом жил своею потаенною жизнью: потрескивали стеновые бревна, шебуршились за перегородками мыши, в верхней угловой светелке скрипели тихонько половицы под махонькими лапоточками Луканьки-домового. «Надо же, немцев переждал, озорник», – с усмешкой подумал сторож, открывая глаза.

Без особого удивления отметил, что темнота отступила. Из-под подоконного плинтуса пробивался всером неземной желто-оранжевый радостный свет. Некий внутренний го-

лос возвестил, что свет этот вовсе не от пожара, а он, Никифор, вполне может покемарить до утра. А к утру его хромота исчезнет. Повинуясь этому голосу (а вроде и не голосу), сторож погрузился в полудремотное состояние, каковое, впрочем, хорошо знакомо опытным сторожам. Проснулся он от стука в притолоку: это тарабанила Маруся. Ночной дозорщик встре- пенулся, бодро запыхал до двери, отвел в сторону щекотку, выпустил уборщицу. И только тогда до него дошло: нога-то не болит!

* * *

За два дня до празднования столетия со дня рождения великого ученого (было 15 сентября 1957 года) у ворот дома-музея Циолковского остановился автомобиль с московскими номерами. Вышел из него представительного вида мужчина в черной шляпе и коричневом кожаном плаще. Посмотрел на низко плывущие над бором и Окой облака, снял шляпу, бросил ее на заднее сиденье. Туда же отправился плащ.

– Ну что же, Костя, здравствуй, – негромко произнес мужчина, направляясь к зеленым воротам; при этих словах налетевший из-за угла ветер швырнул ему в спину облако придорожной пыли.

Приглаживая волосы, посетитель прошел через двор, остановился у входной двери, позвонил в старинный валдайский колокольчик.

– Ой, Сергей Павлович, это вы! – всплеснула руками вышедшая на порог экскурсовод. – А мы вас ждали чуть позже.

– Здравствуйте и извините. Какой нынче день пыльный, – отряхивая рукава пиджака, заметил академик Сергей Королев (а это был именно он – главный конструктор ракетно-космической техники, лично знакомый с Циолковским еще с 1929 года). – Пока, голубушка, я тут отряхиваю пыль земную. Но смею предположить, что очень даже скоро вы будете встречать гостей, которые будут отряхивать с себя пыль Марса или Венеры. Ну-с, ведите меня в обитель гения.

Королёва в прихожей поджидала стайка представителей прессы из облрадио, местной «молодежки», газеты обкома партии «Знамя» и некоторых столичных СМИ. Мягко говоря, журналистский люд академик не жаловал: ну, во-первых, из-за секретности своей работы, а главное – уж очень бесцеремонна была эта братия, уж очень любила покопаться в грязном белье.

– Вот что, товарищи, – глядя мимо журналистов, твердо сказал Королёв, – я сюда не интервью давать приехал, а для того... Одним словом, сегодня, как вы знаете, в сквере Мира будет митинг, вот там и отдамся я вам на растерзание. А сейчас убедительно прошу оставить меня в покое.

Меж мастеров пера прошелестел негодующе-удивленный шепоток. Однако он был ментально пресечен двумя ниоткуда появившимися немногословными людьми, чьи одинакового покроя серые костюмы недвусмысленно указывали на принадлежность к компетентным органам.

Искоса отследив ретирующихся журналистов, Королёв облегченно вздохнул и, наклонившись к уху экскурсовода, прошептал:

– Знаете, милая девушка, хотелось бы побродить здесь в одиночестве. Договорились? Я ведь Константина Эдуардовича лично знал. Надеюсь, вы меня понимаете.

Та коротко кивнула, ушла. Он посмотрел на часы, пробормотал: «Ну, сорок минут мой» и по крутой лесенке стал подниматься на второй этаж. Долго и поспешно академик бродил по деликатно скрипящим половицам и трогательным домотканым дорожкам. Словно пытаясь найти нечто сокровенное, вглядывался в корешки книг на самодельных полках, прикасался к предметам, всю жизнь сопровождавшим Циолковского. С удивлением отметил: в доме отсутствует специфичный музейный запах, в воздухе витал аромат свежих яблок.

Спустившись вниз, Королёв также неспешно обозрел гостиную, погладил веселые изразцы печи. Подойдя к прихожей, повернул налево, в столовую. В углу, перед кухней, висела небольшая икона с образом Христа Вседержателя, слегка прикрытая длинным расшитым рушником. Академик приблизился к предмету культа. Воровато оглянувшись, быстро перекрестился и прошептал, глядя на золотистые лучики нимба:

– Ты-то как мыслишь, Всевидец: всё пройдет хорошо? Ведь претворяем в жизнь идеи хозяина дома, как-никак.

Вдруг из-под пристенного плинтуса веером пробежало разноцветное сияние, и в голове академика (именно в голове, а не в пространстве) прозвучало:

Ты можешь быть спокоен, Сергей, это состоится. Только стартовую площадку необходимо модернизировать...

Преодолев внезапную оторопь, Королёв всмотрелся в лик Христа. Глаза Творца выражали бесстрашие, посеребренный оклад с незатейливым орнаментом был вполне земной, кое-где сквозь амальгаму проглядывала позеленевшая латунь.

– Видно, перетрудились, – про себя констатировал академик.

В ответ в мозг прозвучало:

– Это немного не то, что ты предполагаешь, но похоже. Успокойся. В свое время Константин Циолковский воспринял меня более адекватно...

Через несколько дней главный конструктор летел в самолете в Казахстан, в мало кому известное место Байконур. Ночью четвертого октября степь на несколько километров вокруг озарилась яркой красно-оранжевой вспышкой. Люди планеты Земля приступили к штурму космоса. И первый спутник просигналил об этом Вселенной.

* * *

Сын колхозного плотника из села Клушино, что на Смоленщине, купался в лучах славы. Еще бы: первый космонавт планеты! Любая страна, каждый континент приглашают его в гости. Его, Юрия Гагарина. В Советском Союзе не было ни одного тридцатилетнего человека, объехавшего столько стран, как он. Это, что греха таить, приятно, хотя порою и утомительно. А то и вообще станет неважно от экзотики, до дрожи в коленках захочется послать к некоторой матери разные там пальмы и чудеса, очутиться в тихом березовом перелеске с лукошком грибов. И чтобы кланялись от ветерка медуница с мать-и-мачехой да воркотала тихоструйная речка.

Юрий подошел к стене, оторвал листок календаря. Ну вот, наступил май. А значит – скоро в Калугу. И побывать, наконец, в заветном доме. Да, три года тому – через два месяца после полета в космос – он удосужился посетить этот прелестный город. Но тогда расклад оказался другим. Тогда... Помнится, сразу после возвращения его посетил Королёв. Они сидели на открытой веранде и пили холодный яблочный компот. Главный конструктор спро-

сил с настороженным любопытством:

– И как тебе показалась Калуга?

– А-а, Сергей Палыч, – отмахнулся Юрий, – разве это поездка? Я практически ничего не увидел, график получился напряженный.

– Быть того не может. Давай, давай, рассказывай.

– Ну, несколько моментов разве случилось забавных, – и первый космонавт улыбнулся своею ослепительной улыбкой, растиражированной в десятках и сотнях миллионов экземпляров на обложках журналов, первых газетных полосах и плакатах.

Отхлебнув для прочистки голоса компоту, Гагарин поведал, как 13 июня 1961 года на заполненную калужанами площадь Ленина въехал открытый лимузин, и областное начальство повело тогда еще не привыкшего к огромным аудиториям двадцатисемилетнего Юрия на трибуну. Она была устроена в фасадной части старинных Гостиных рядов. Поднявшись на высоту второго этажа, Юрий увидел море голов, а за ними – освещенные солнцем заокские дали. «Да ведь здесь жил Циолковский!» – мысленно воскликнул он, и в ту же секунду забылся текст выступления, написанный специально для этого случая каким-то умником из идеологического отдела ЦЦ партии. Тогда Юрий плюнул на условности, заговорил своими словами, и народ внимал им с восторгом, с искренними слезами.

Потом лимузин медленно поехал через арочный каменный мост по старинной улице Пушкина, сопровождаемый эскортом мальчишек. Они бежали за величавым «зисом» и кричали хором: «Летит, летит ракета, летит по белу свету, а в ней сидит Гагарин, простой советский парень!» Машина остановилась в Загородном саду, где и состоялось главное действо, ради которого был организован визит в Калугу. Юрию вручили мастерок, он зачерпнул им из корытца цементный раствор и заложил первый кирпич в здание будущего музея космонавтики (не забыв, впрочем, прежде кинуть на счастье монетку).

– Вот и всё, – закончил рассказ Гагарин.

– И что, в доме Константина Эдуардовича не побывал? – удивился Королёв.

– Вот именно, что не побывал. Челядь обкомовская потащила на торжественный обед, то да сё. Не смог, Сергей Палыч. Да ладно, не последний день живем, да и Калуга не на Северном полюсе: по Киевскому шоссе три часа ходу на легковушке.

– Ну да, ну да. Как побываешь, Юра, обязательно мне расскажи о впечатлениях. Хорошо?

* * *

Она была тяжело больна, Мария Константиновна Циолковская. Но когда ей сказали, что в Калугу приехал первый космонавт Гагарин и хочет с нею встретиться, неожиданно для самой себя согласилась. Гагарин вошел в комнату, внеся с собой свежесть молодости, его улыбка и добрая синева лучистых глаз расположили к себе страдающую женщину, у нее сразу поднялось настроение. Уже через несколько минут они разговаривали, словно старые знакомые. В какой-то момент Юрий, смущаясь, сказал:

– Дорогая Мария Константиновна, мне крайне неловко, но я хочу подарить вам плод моих неуклюжих писательских потуг. Не судите строго, сам понимаю, что до таланта вашего отца мне, как до Солнца.

– Ничего, Юра, глаза боятся, а руки делают, – попыталась улыбнуться дочь ученого. – Но название многообещающее – «Дорога в космос».

– Сознаюсь, название придумали редакторы. Я бы до такого не додумался. Ну, назвал бы «Первый шаг», к примеру...

– Вот смотрю я на вас, Юра, и вижу: не испортило вас испытание славой. Молодец! Что бы вам-то такое подарить?

Гагарин покачал головой:

– Ничего не надо, Мария Константиновна. Самый дорогой подарок преподнес мне ваш отец. Это – его идеи, книги, творчество и сама жизнь, достойная подражания и восхищения. Но это общие слова, я скажу о вещах конкретных. Уже после полета я осознал: то, что произошло от старта до приземления, ваш отец каким-то непостижимым образом пережил сам! И описал в своей как бы фантастической повести «Вне Земли». Вы понимаете? Я – свидетель тому. Более того, не сомневаюсь, что когда земляне посетят Луну, а потом прочитают эту повесть, будут утверждать: Константин Эдуардович там уже успел побывать.

* * *

В дом-музей Юрий приехал в несколько минорном настроении. Видимо, из-за этого обстоятельства жилище калужского гения показалось ему снаружи оскорбительно убогим. «Надо же, – идя по двору, мрачно думал он, – три года назад заложил в Калуге музей космонавтики, а дом-то что? С него надо было начинать. Как-то возвеличить, что ли. Ведь рассказывал мне один абориген, что еще в тридцатые годы американцы хотели домик этот купить, раскатать по бревнышку и увезти в Штаты, а там опять сруб восстановить и накрыть хрустальным куполом...»

Но когда он вошел внутрь, мысли эти исчезли, ему стало стыдно за свои несвоевременные воспоминания и доверчивость к псевдофольклорным байкам. И еще он понял: дом этот бережно хранят руки потомков. Впечатление такое, будто Циолковский здесь, вот сейчас он войдет в свой кабинет, сядет за основательный стол, придвинет поближе чернильницу – и углубится в привычный, как дыхание, научный поиск. Коллеги-космонавты – Андриан Николаев, Папа Попович, Валера Быковский – рассказывали, как уютно чувствовали себя здесь. Покуда, правда, Гагарин если что и ощущал, то некоторое раздражение от перегруженного подробностями рассказа экскурсовода.

–...А вот здесь на столе ученого еще один необычный предмет, – раскрасневшись от удовольствия от собственной осведомленности и присутствия рядом именитого экскурсанта, щебетала экскурсовод. – Как видите, это слуховая труба ученого. Иногда в кругу семьи Константин Эдуардович с горечью говорил: «Мое единственное изобретение, которое приносит реальную пользу, да и то только мне одному – это слуховая труба». А поскольку, уважаемый Юрий Алексеевич, с годами ученый слышал все хуже, то он из плоских жести стал делать самые разные слуховые трубы, распределяя их по всем комнатам. В семье трубы получили название «слухачи». Теперь мы перейдем...

– Простите, а можно мне минуток двадцать побродить одному? А потом вы продолжите свой содержательный рассказ. Вы не против?

– Не против, – растерянно протянула женщина.

Гагарин весело подмигнул ей, пошел из кабинета к лестнице, спустился на первый этаж. Постоял у изразцовой печи с лежанкой, представил, как зимой от этой печи веет теплом, и пожалел, что сейчас май и топить не надо. Вспомнилось свое деревенское детство, в кото-

ром была большая беленая печь и лежанка со старым овчинным полушубком. Он вздохнул, направился в сторону кухни, которую уже показывала обогащенная знаниями экскурсовод... Но Юрий хотел молча побыть там, поскольку тесное помещение населяли предметы из его собственного детства. Сел на добротно сколоченную низкую пристенную лавку, неторопливо огляделся. Коряго для шинковки капусты, в котором покончалась сечка с полукруглым лезвием; чугунные утюги, покрытые застаревшей окалиной; молочные крынки, черные от печеной копоти чутуны; с выюпки на лыковой веревке свисал латунный безмен... А вон на стене крашенная свинцовыми белилами посудная полка незатейливой конструкции; на вбитых в торец нижней доски гвоздочках сушились пучки зверобоя, мелиссы, чабреца и петрушки, что никак не походило на музейный оживляж. Рядом с полкой, в самом углу, тускло блеснула икона в облупившемся позолоченном киотце. «Так ты, Константин Эдуардович, в Бога верил?» – подумал первый космонавт планеты, недоверчиво глядяваясь в темный лик Христа.

«Да, Юрий. Скоро ты поймешь, что это вовсе не пережиток», – услышал он беззвучный ответ.

«Кто это?» – мысленно спросил Гагарин, обшаривая глазами окружающее пространство.

«Не суть важно. Я тебе напомню, что ты видел из иллюминатора на околоземной орбите. Ведь это твои слова: «Самым красивым зрелищем был горизонт – окрашенная всеми цветами радуги полоса, разделяющая Землю в свете солнечных лучей от черного неба. Была заметна выпуклость, округлость земли. Казалось, что вся она опоясана ореолом нежно-голубого цвета, который через бирюзовый, синий, фиолетовый переходит к иссиня-черному». Твои?».

«Мои, слово в слово».

«Теперь смотри, как было».

И Гагарин с восторженным ужасом увидел, как из-под плинтуса появилась вышеозначенная цветовая гамма, неизвестно как транслируемая. Как?

«Это тоже не важно. Ты правильно поговорил с Костиной дочерью Марией, она сейчас в хорошем настроении. Она умрет в этом году, то есть правильнее – закончит земную жизнь».

– А я?! – вырвалось невольно из пересохшего вадут горла Юрия.

«Ты? Ты еще поживешь. Но по большому счету свою миссию на Земле ты выполнил. Опасайся самолетов».

При этих беззвучных словах цветные всполохи втянулись под плинтус. Словно пораженный громом, Гагарин немного постоял перед иконой на ватных ногах. Из-под лавки вальяжно вышел черный кот. Шумно выдохнув, именитый экскурсант по-военному сделал поворот через правое плечо, скрипнув подошвами по крашеным половицам, и вышел из кухни.

* * *

Через три дня позвонил Королёв.

– Юра, ты? Приветствую, – донесся из трубки глуховатый, измененный расстоянием голос академика.

– Здравствуйте, Сергей Палыч.

– Ну, как живешь-можешь, герой космоса?

– Все системы в порядке, полет нормальный.

– Пресса пишет, посетил ты колыбель космонавтики. Надеюсь, не врут?

– Истинная правда, товарищ академик.

– Стало быть, в доме Константина Эдуардовича побывал наконец?

– Так точно.

– Коротенько поделись, как тебе там показалось, – сквозь эфирные шорохи Гагарин услышал в голосе Королёва те же любопытно-настороженные нотки, как и тогда, на веранде.

– Дом, Сергей Палыч, меня очаровал. А впечатлениями я переполнен, как... ну, как весенний сад цветочными ароматами. По телефону такое не расскажешь. И уж тем более без пол-литры не разберешься.

– Эж загнул, космонавтчик! А вот скажи, тебе ничего не показалось необычным?

– В каком смысле?

– В самом прямом, Юра. Ну?

Наступила долгая пауза. Ариаднины нити проводов казалось, вот-вот лопнут от напряжения, шорохи эфира усилились и почти били по перепонкам. Гагарину на миг помстилось, что его собеседник звонит из невозможной дали, чуть ли не с другой планеты.

– Да не было ничего особого, Сергей Палыч, – медленно выдохнул в трубку Юрий. – Разве что кот встретился на кухне. Рыжий такой.

– Понятно. Ну ладно, до встречи.

* * *

Через неполных четыре года, в конце марта 1968 года, потерпел катастрофу реактивный самолет. Он выполнял обычный тренировочный полет. Оба летчика погибли. Одно из них звали Юрий Гагарин.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Инна Теплова

Взахлёб

Мне пришлось уехать из тебя, как из города,
Даже не собрав, не взяв ни единой вещи,
Протрястись по рельсам две луны, будто гордая,
Просмотрев в пути два с лишним сна, вроде вещей.
Мне пришлось убраться из тебя, будто с паперти,
Словно кто, разбежавшись, дал пинка под зад.
И теперь учить себя надо бы заново грамоте,
Вспоминая, как ногами ходят, чтоб прийти назад.
Отсверкало, отремело, отлило и просохло всё,
Будто не было ничего, вот и солнце светит.
А я сижу в мокром платье, думаю то да сё,
Думаю, что ты остался там, на другой планете.
Мне напели, для чего тебе новые тапочки,
Что наденешь их, пойдешь от меня в другую женщину.
А я сожмусь в старый плащик и в тебе знакомой шапочке
Побегу и устрою из себя белогвардейщину.

Осенние

Осенние – они такие, чуть-чуть невыглаженные,
Забрызганные до колен, без стрелок, всегда чуть влажные.
Прилипнут к телу, помалкивая пристыженно,
И в них – раз плюнуть, обратно – уже не каждый.

Осенние – они все в жёлтом. Медучреждения,
Их стены, люди, глаза, даже капля пшённая.
Чернеют влагой крыши, и вот ты “уже не я”,
А что-то желтоватое, изрядно ума лишённое.

Инна Теплова родилась в Костроме. Выросла в Калуге, где и начала писать стихи. Несколько лет жила в Санкт-Петербурге, принимала участие творческих встречах поэтов города. Сейчас живёт в Калуге, занимается поэтическим творчеством, является вокалисткой и автором текстов песен группы Aylostera. Её стихи публиковались в литературных альманахах «Натали», «Зерно», а также в печатных сборниках крупных поэтических соцсетей. Автор сборника стихотворений «Неслучайно», выпущенного в 2018 году.

Осенние – они из желчи и кропотливости,
Ещё из газа едкого, бессилия, унижения.
И что тут говорить, снаружи их нет почти,
Они нутро грызут... Осенние стихотворения.

* * *

Я знаю, память – временное решето.
Она не памятник, не крестик на ладони,
Не каменный колодец, что бездонен,
Не просто то, что пребывало до.

Она просеивает время и меня.
Я рассыпаюсь незаметно, постепенно,
Спокойно принимая перемены,
Покорно им навстречу семеня.

Я рассыпаюсь непредотвратимо
На месяцы, недели, дни, часы,
На части речи, слоги, на азы -
На буквы сетевого псевдонима.

Мир распадается, и это не ново,
Исчезнет все в решетчатом тумане,
Как исчезает все в открытой ране
Дырявого кармана моего.

В и к т о р К а н а е в

* * *

Закрой глаза и думай о собаке,
О женщине, дороге и пальто,
О тишине, заползшей в буераки,
О ельнике, о рыбе под мостом.

О том, что страха нет, но есть движение,
Так ледакол бросается на лёд,
Что будет каждому последнее сражение,
Но это небо всё переживёт –

Что снегопад – есть праздник урожая
Жестокой всепрощающей любви,
И что тебе ничто не угрожает,
Что жив твой пёс. И ты, дурак, живи.

* * *

Волосы пахнут персиком,
Осень – железом.
Обновись до последней версии –
Стань для нее полезным.

Лето кончается быстро,
Юность в коротком платье.
Я ревную ее к таксистам,
Партам, своей кровати...

Время сыплется по кирпичику,
Холодными искрами с веток.
Я люблю его даже за выцветом
Грусти, вина, таблеток...

Осени ждать не велено,
Но почему-то хочется.
Лето кончается медленно...
И никогда не кончится.

* * *

В тридевятом царстве с той стороны зимы
Ленивые логопеды обучают ворон
Выговаривать правильно “любимая, милая, мы”,
Но глупым птицам, конечно же, все равно.

И, наверно, поэтому я так люблю февраль,
Чуть больше – тебя, чуть меньше – свое пальто.
Говори. Пока я не сплю, говори,
Пока под натиском неба синее окно.

Закат на вкус кажется чем-то простым,
Как губы девчонки в ту позапрошлую жизнь.
Я ни за что... ни за что не умру молодым,
Покуда февраль – сине-белый тетрадный лист.

Покуда зима пляшет на площадях
И роняет под ноги свой пуховый платок.
“Проходи же. Ну что ты застрял в дверях?
Не выпускай остатки тепла за порог.”

... И, наверно, за это я так люблю метель,
Нежные пальцы в гуще моих волос,
Тридевятое царство размером с твою постель
И пластику тел, пьянящую как наркоз.

Н а т а л ь я Г о л о в а т ю к

* * *

Однажды ты заговоришь
Понятным языком,
Пока же гулишь и урчишь,
И пахнешь молоком.

Тебе всё только предстоит
Прочувствовать, познать,
А у меня душа болит
Всем матерям под стать.

Я вся молитва, я – броня,
И тень любой беды
Прошу направить на меня,
Ну а твои следы

Пушай ступают по земле
Счастливой и благой.
Я за двоих была во мгле,
Мой птенчик дорогой.

Я отстрадалась за двоих
И в том не вижу зла:
Просить у ангелов твоих
Лишь света и тепла.

Наталья Головатюк родилась 25 мая 1978 в городе Юхнов Калужской области. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Стихи пишет с детства, осознанно после школы. Занималась в студии «Дар». Печаталась в коллективных сборниках, альманахах. Работает на «Нике ТВ», один из авторов и ведущая программы «Культурная среда».

Я знаю, каждому свой крест
Начертано нести,
Тебе не избежать тех мест,
Где трудно на пути.
Соломки мне не подстелить
Под каждый твой пажок,
И та, что между нами нить,
Намотана в клубок, –

Её сквозь пальцы пропускать
Учусь, разжав кулак.
Тем самым жизни доверять,
Без этого никак.

* * *

Пьяница покупает боярышник,
Тётя – корвалол,
Пустырник – хрупкая барышня,
Гипертоник берёт дибазол.

...А мы стоим за лакмусовой бумажкой,
Нам обоим немного страшно.
Утром встану, надену халат неброский
И узнаю: одна или две полоски.

* * *

Едва не спросила:
Хочешь,
Я буду любить тебя вечно?
Но подумала:
А вдруг Вечно –
Это слишком мало?!
И промолчала.

В л а д и м и р К о р м и л ь ц е в

* * *

Как беззащитен дом ночной,
Многоквартирный и квадратный,
Застывший серой, аккуратной
И монолитною плитой

На той окраине пустой
Района нового жилого,
Где дальше – ничего живого
В холодной ветреной дали.
Окраина – как Край Земли,
А может – новая основа
Иного мира, внеземного,
Где как пустыни, пустыри
Непроходимы и безлюдны,
И страхи, спавшие подспудно,
Порхают, как нетопыри...
Но только дом – живой внутри!
И неизбежно взгляд привлёк он,
Включив цветные слайды окон;
И молча мрак ночной глядит
На кафель кухонь, шторы спален,
В мир, что зеркален и хрустален,
И что незримо состоит
Из сотен судеб, чувств, желаний,
Мечтаний и воспоминаний...
Всё это дом в себе хранит,
И он стоит, и знать не знает,
Что целый мир в себе вмещает
Один, наивный исполин...
Стоит, и – не Москва ль за ним?..

А л е к с а н д р З о р ь к и н

* * *

Что ждать...
Холодный, мокрый шквал
Берёзкам в парковой оградке
С дрожащих пальчиков сорвал
Листву,
как желтые перчатки.

Александр Зорькин родился в 1942 году в Хабаровске. Врач, подполковник м/с Советской Армии. После увольнения живёт в Калуге. Стихи сочиняет с юности. Печатался в периодических изданиях Куйбышевской (ныне Самарской) области, а также Еврейской АО, Приморского края и Калуги. Автор трёх поэтических сборников: «Я так вижу», «Клипер», «Роза ветров». Член Российского союза профессиональных литераторов.

Что ждать...
Меня дождём прожгло.
Но душу ветры не отпели.
Хотя, ох! как ей тяжело
В моём давно осеннем теле.

Что ждать...
Очередной весны?
Но время не играет в прятки.
Не зря же с зяблой белизны
По лужам жёлтые перчатки.

Деревенька

Да, воздух чист. Но он давно не наш.
И утренняя свежесть не во благо.
Полуслепых домишек ералаш
Устало замер на краю оврага.

А что овраг? Он стар,
но он растёт.
В ручей, роняя глинистую смолку,
Овраг гнильём щелистых пней жуёт
И горб ручья, и тощую ветёлку.
Ветла нагнулась низко, до воды.
Косичками за струйки задевает.
Щекотно! —
и от пней, и от ветлы
Ручей с ворчаньем в поле выползает.

И — на простор, в котором без затей,
К зелёной кромке молодого леса
Пришила прочно пустоши полей
Кручёной ниткой, синей ниткой
Ресса.

Но пустоши не может воскресить:
Домишки слепнут, ждуг к себе жар-птицу.
У новизны нет соков, чтобы быть;
У старого нет сил, чтоб завершиться.
... чтоб завершиться.

Виктор Лареев

* * *

После звона будильника, охнув,
Наблюдаю из-под простыни,
Как с квадратов Малевича в окнах
Начинаются зимние дни.

За окном то ли плачет ребенок,
То ли кошки озвучили тьму...
Бестолковые галки спросонок
Затевают в ветвях кутерьму.

Утро медленно, нехотя брезжит,
И брюзжит, просыпается день.
Зимний двор по углам крепко держит
Над навесами робкую тень.

На кривые деревья и крыши
Давит неба тяжелого слизь.
На дорогах с раскисшею жижей
Начинается серая жизнь.

Лишь по нашим сияющим лицам
Все поймут, как прекрасны они –
Коль судьба осчастливит влюбиться –
Эти серые зимние дни...

* * *

Разметал я замок на песке
И совсем забыл к нему дорожки,
Но от этих мест недалеко
Встретил след знакомой легкой ножки.

Значит, снова нас трона свела.
И твои глаза подолгу ищут
Прошлого сердечного тепла –
Искорки живой на пепелище.

Виктор Лареев родился в 1957 году в д. Улышино Дзержинского района Калужской области. В 1982 году закончил литфак Калужского педагогического института им. К. Э. Циолковского и проработал несколько лет учителем сельской школы, затем служил в органах МВД. Автор двух поэтических сборников: «Я иду прозрачным коридором» (2016) и «Своей любви я строю этажи» (2017).

Так и будем приходить поврозь,
Словно беспокойные виденья,
К прошлому, в котором не сбылось
Наших душ простое совпадение...

Светлана Соколова

Память детства

Бродит детство в закоулках мая,
Сердцем вымеряя каждый шаг.
Наяву и в беспокойных снах
Память снова, милости не зная,
Едкой солью на моих глазах.

Каждый раз отчётливо виденье:
День Победы празднуем семьёй,
За столом галдим наперебой,
Мамины вкушая угощенья,
Полон солнца сад и дом родной.

В лёгкой дымке тает двор у дома,
Сеют свет в заборе горбыли,
Над сиренью толчеей шмели...
Жаль, от судьбоносного излома
Мы сберечь всё это не смогли.

Думалось, очаг семейный вечен,
Не оставят нас отец и мать...
Кабы всё заранее бы знать!
Но тепло, что было в наших встречах,
Никому на свете не отнять.

Светлана Соколова (Сидорова) – автор восьми книг поэзии и прозы, журналист, организатор областного конкурса патриотической поэзии имени А. Твардовского «Есть имена и есть такие даты...», редактор и составитель всероссийских альманахов «Литера», «Крымский мост», «Искры юмора и смеха». Произведения опубликованы в журналах «Автограф», «Участковый», «Ветеран МВД», «Калужское слово», альманахах «Сущівіт», «Зоряна криниця», «Многоточие...», «На земле Бояна», «Русский смех». Лауреат и дипломант всероссийских литературных фестивалей и конкурсов. Председатель калужской организации Российского союза профессиональных литераторов.

Эхо войны

Вспоминают ветераны
Дни войны.
В них сражения и раны.
Болью сны...

Сердце чаще ноет что-то,
Не стерпеть...
Вновь уставшую пехоту
Косит смерть.

Рвутся с грохотом снаряды –
Пушка бьёт.
Уж вторые сутки кряду...
Гибнет взвод.

Лагут вражьи автоматы,
Спасу нет!
И последняя граната –
Танку вслед.

Будь, война, вовеки клята –
В пух и прах!
Гнев отборнейшего мата
На губах.

Чахнет солнце в чёрном дыме,
Небо – мглой.
Не остаться им живыми!
Страшен бой...

В горле горечью потери,
Жжёт слеза.
И взметнулись птички трели
В небеса!

...Над землёй заря багряна.
Тих рассвет.
Глохнет сердце ветерана
В эхе лет...

Татьяна Азарова

* * *

Ах, эта осень, эта осень
Опять незваною пришла,
А сердце просит, сердце просит
Ещё немножечко тепла,

Ещё немножечко погреться
Под небом бледно-голубым,
Ах, неужели песня спета
И всё растаяло, как дым.

Оркестрик в парке нам сыграет
О чём-то грустно и легко,
И саксофон вдруг зарыдает...
Ах, да, последнее танго.

А лето знойное пылало,
И мы горели, как в костре,
Нас часто танго увлекало,
И где теперь то лето, где?

Над головою кружат листья,
Мы расстаёмся навсегда,
И эти листья – будто письма
Из ниоткуда в никуда.

Татьяна Азарова – автор сказок, стихов, рассказов о творческих людях. Состоит в Российском союзе профессиональных литераторов. Публиковалась в журналах «Русич» (Обнинск), «Кораблик» (Боровск), «Калужское слово», коллективных сборниках, литературно-художественных альманахах «Патриот России», «Искры юмора и смеха». Издано 18 книг. Создала серию книг «Калужские писатели – детям». Член Российского союза профессиональных литераторов.

Александр Киселёв

РОЯЛЬ

Условия задачи

Если когда-нибудь совершенно случайно вы окажетесь в деревне Непрухино, то не поленитесь дойти до заброшенного сада, где увидите малюсенькую древнюю сторожку со скрипучей дверью, за которой нет даже сеней, а стоит старинный рояль, такой огромный для крошечной горницы, что, обходя его, постоянно будете встречаться со стенкой и задаваться вопросом...

Вопрос.

Откуда в деревенской хате взялся этот рояль?

Дополнительный вопрос.

Как его занесли в избушку? Крышу, что ли, снимали? Или поставили рояль, а потом вокруг него построили домик?

Решение задачи.

Задача решается в несколько действий, происходящих в стародавние времена.

Действие первое

В этом действии действуют действующие лица: князь Непрухин и Обида.

Откровенно говоря, князь Непрухин был хоть и князь, но большая скотина. Особенно когда получал почту из Петербурга. В этот день он получил письмо, из которого узнал, что бывший его приятель стал министром и получил из собственных Его Императорского Величества рук золотую табакерку с бриллиантами. Старая обида явилась тут как тут. «Николка! Николка-ябеда министерией заправляет! В пажеском корпусе и за человека не считали, водиться никто не хотел: сопливый, золотушный, из ушей гнилью воняет», – думал Непрухин, сам метивший на министерское место, да отставленный за воровство со строжайшим повелением сидеть у себя в деревне и носу в столицы не казать. Как можно служить и не воровать, Непрухин не понимал, а свою отставку считал происками недругов. Тот же Николка донос и написал! Непрухин так поверил в эту мысль, что едва успокоил взволнованную душу легким мордобоем. Вся прислуга знала, что только активные физические упражнения спасают барина от разлития желчи, и покорно подставляла щеки и затылки под тяжелую господскую руку. Окончательно успокоился Непрухин к обеду. Обида убралась на конюшню – до следующего раза.

Александр Киселёв родился в Ленинграде или Киеве (мнения мамы и паспорта разошлись), стал лужанином. Учитель русского языка и литературы. Работал в средней и высшей школе. Кандидат педагогических наук. Автор школьных учебников литературы. Написал ряд книг для взрослых и детей: познавательных, научно-популярных, художественных. Последние – «Герои истории. Англия XV-XVII веков», «Суровые римские сказки», «Три солнечных волоска». Еще несколько готовятся к печати в московских издательствах.

Действие второе

Действующие лица: князь Непрухин, княжна Агриппина, Нстойка Домашняя, Зависть Черная.

Князь Непрухин обедал по-деревенски – рано. Он посмотрел рюмку на свет, согласился с цветом жидкости и выпил – всю, но с чувством. Подождал, с удовольствием отметил, как где-то внутри организма развязался последний узелок и повлажневшими от глубокого удовлетворения глазами посмотрел на дочь.

– Каково почивали, Агриппина Дмитриевна?

Агриппина была в меланхолии. Ковырнув вилкой ветчину и не поднимая головы, она пробасила:

– А к грязновским француз приехал...

Грязновские – это три барышни, дочери соседского помещика Грязнова, старшая из которых была ровесницей Агриппины. Француз – приехавший к ним учитель музыки, танцев, языков и вообще манер. Грязновские дочки были для Агриппины как Николка-министр для Непрухина. А сейчас они обскакали ее на три версты по пыльной дороге. Сказав обиду, Агриппина вздохнула могучей грудью, так что вылепленный ею хлебный шарик покатился по скатерти в сторону князя.

– Что за беда, – весело сказал князь, с уважением глядя на сдобные формы и пшеничную косу дочери. – Эка невидаль – француз! Сильвупле на сопле. Мы немца выпьем. Немец, он увесистей.

Действие третье

Действующие лица: княжна Агриппина, Фридрих Дидерихс, садовник Прохор, Немецкая Тоска.

Так в имении Непрухино появился Фридрих Дидерихс. Был он худ, высок и юн. После безуспешных попыток втолковать Агриппине музыкальную грамоту он смирился и стал обучать ее механическому тыканью пальцами в клавиши, чтобы получались самые простенькие мелодии. Для этого он рисовал на клавишах мелом и угольком цифры в нужной последовательности. Агриппина краснела от натуги, стараясь попасть указательным пальцем в нужные места, а когда выходила «музыка», радостно гытыкала. Князь, прислушиваясь к дочкиным экзерсисам, шелкал лакея по лбу и убедительно говорил: «Европа, дурак!» Грязновские могли утереться.

Фридрих смотрел на гренадерскую спину ученицы и тосковал. Тосковал он по ряду причин.

Первая причина была родители: нежная мамаша и добрый папаша. Когда Фридрих уезжал, мамаша прижала к глазам голубой платок, а папаша высморкался в красный. Потом ушел в свою мастерскую и скоро вернулся с тяжелым мешочком. «Приедешь в Россию, – сказал он, – купи себе добрую лошадь и теплую шубу». Он знал, что в России нет дорог и лета. Фридрих горячо благодарил доброго папашу, но тот махнул рукой: «Потом вернешь». Когда Фридрих обернулся с дороги, мамаша стояла на крыльце, а папаша не было. Из мастерской доносилось жужжание токарного станка. Отец был скрипичным мастером.

Второй причиной тоски была Анна-Мария, или, как называли ее соседи, «наша маленькая Анхен». У нее с Фридрихом была любовь. То есть они танцевали на праздниках, держась за руки, и Анхен дарила возлюбленному на Рождество собственноручно вышитые салфетки, а расставаясь, вручила теплый шарф. Отец Анхен тоже был мастер, только кукольный, и лучшей его куклой была собственная дочь. Как сейчас, видел Фридрих ее пухлые ручки белее дрезденского фарфора, глаза берлинской лазури и белокурые локоны под кружевным чепчиком. Губки у Анхен были алые, щечки румяные, носик правильный, а мысли прямые, честные и короткие.

Третьей причиной была карьера музыканта, о которой на родине мечтал Фридрих, а здесь предстояло о ней забыть, оставшись простым учителем музыки и растратив свой талант на бездарных учениц вроде Агриппины.

Ни с ней, ни тем более с ее отцом Фридрих Дидерихс не сблизился.

Единственным его приятелем был отставной солдат, садовник Прохор, побывавший в прусско-австрийских походах и усвоивший пару десятков немецких слов. Впрочем, почва для сближения была другая. В описываемое время табак был еще новостью в деревне, и во всем Непрухине трубочки покуривали лишь двое: Прохор, потому как солдату чарка водки и трубочка царским указом положены, и Фридрих – потому что немец, следовательно табакур.

Частенько сидели они в барском саду вечернею порой, пуская дым, и не столько разговаривали, сколько молчали, но и этого для родства душ было достаточно. Прохор с удовлетворением посматривал на плоды рук своих. К своему новому занятию он относился по-солдатски. Деревья и кусты он сажал как роту строил, обрезал нещадно, перпендикулярно и параллельно, поливал в самое пекло, а про удобрения и знать не знал. То есть действовал по-суворовски, против всех законов природы. Тем не менее все росло, размножалось и плодоносило – должно быть, тоже по-солдатски, подчиняясь дисциплине через не могу.

Фридрих, которого Прохор называл Федор Федорычем, был обычно погружен в неопределенные грезы и предавался томлению духа. В его голове носились неясные музыкальные фразы, подсказанные весенними скворцами, а прелестное личико Анхен, как ни пытался увидеть его внутренним взором Фридрих, с каждым днем все больше и больше терялось в тумане яблоневого цвета.

После заката они расходились, причем Прохор, придя к себе в крошечную сторожку, служившую ему, неженатому и бездетному, жильем, и укладываясь спать, подводил итог:

– Вот поди ж ты: немец, а тоже человек.

Действие четвертое

Действуют и бездействуют все те же и Татьяна.

Когда Прохор вернулся со службы в Непрухино, из всех родственников в живых оставалась только сестра – вдова с дочерью. Племянница Татьяна часто приходила к Прохору, прибиралась в сторожке, варила еду. Прохор называл ее дочкой и мастерил ей забавные игрушки: мужиков на дощечке с веревочкой – потянешь, и они попеременно машут топорами; кукол с крутящимися руками и ногами; домики для кошек, сбегавшихся к Татьяне со всей деревни. Но больше всего Татьяна любила балалайку Прохора. Тот ворчал, что, мол, не бабское это

дело – на балалайке дербенишь, но потихоньку выучил ее всем приемам игры, какие знал. Такой, десятилетней, и увидел ее Фридрих. Время от времени Татьяну звали в барский дом и давали швейную работу. Она с малолетства научилась вышивать не хуже матери, а когда та заболела глазами, стала и копейку в дом приносить. Однажды Фридрих, проходя мимо кабинета, где стояли клавикорды, услышал звуки. Агриппина сама бы к инструменту никогда не подошла. Он приоткрыл дверь и увидел Татьяну. Она на слух подбирала мелодию, которую Фридрих уже месяц безуспешно разучивал с Агриппиной.

Увидев немца, Татьяна бросилась к двери. Учитель хотел остановить ее, сказать, чтобы не боялась, но русских слов ему не хватало, и девочка прошмыгнула мимо. Вечером, у Прохора, Фридрих снова увидел Татьяну. Прохор еле заставил племянницу сыграть на балалайке. Фридрих смотрел на длинные тонкие пальцы, склонившуюся головку девочки, и прежняя тоска сменялась другим чувством. Он верил, нет, он знал, что из этой маленькой русской дикарки выйдет настоящий музыкант, и он, Фридрих, сам вылепит это чудо, вложит в нее свою душу, и она зазвучит под этими талантливыми руками.

С этих пор жизнь изменилась. И русский язык стал даваться легче. Даже Агриппина не вызвала раздражения. Закончив с ней занятия, Фридрих разбирал привезенные из Германии и раньше казавшиеся ненужными ноты. Вечером он приводил в пустой класс Татьяну. Что думала эта девочка? Он не знал, но чувствовал, что ее душа заполняется любовью к музыке. Для нее он и сам стал сочинять: сначала легкие ученические пьески, потом все сложнее и сложнее.

Князь на эти чудачества немца смотрел сквозь пальцы. В том мире, из которого его позорно изгнали несколько лет назад, многие завели моду на собственные театры и оркестры из крепостных актеров и музыкантов. Непрухина тешило, что и он не хуже прочих. «Выйду из опалы, – думал он, – устрою праздник с иллюминацией и фейерверком, а музыкантишек в кустах спрячу. То-то подивятся, как музыка грянет, марш какой-нибудь. А Николку-министра нарочно приглашу, силком затащу. И виду не подам, что про доносы его знаю. Пусть видит, что Непрухин не лыком шит».

Так прошло три года.

Действие пятое

В этом действии на сцену выходит главная героиня – Судьба.

Итак, прошло три года. Фридрих нарадоваться не мог на ученицу. Татьяна из сопливой деревенской девчонки превратилась в длинноногого подростка, стала стесняться своих бо- сых и грязных ног. Фридрих по секрету дал Прохору денег, чтобы тот как бы от себя купил племяннице обувь, чтоб не хуже, чем у барышни. Глаза ее смотрели на мир с тихой радостью, да и вся она была тихая. Собственно, шуметь и веселиться, как прочим, ей было некогда. Днем работа, вечером занятия с учителем. Фридрих с горечью смотрел на драгоценные руки, то красные от стирки, то исколотые игой, то огрубевшие от прополок. Маленькая Анхен за это время успела выйти замуж, Фридрих узнал об этом из письма матери. Честно говоря, вспомнил он о ней, лишь получив это письмо. Волновало его другое: руки Татьяны, в которых была судьба его собственных сочинений (а кому еще он мог их доверить?), ее задумчивость, а главное – дурацкие клавикорды, из которых ученица выросла, как из детских

пеленок. Нужен был рояль. Тогда этот инструмент даже в Европе был редкостью, а в России и подавно. Князь был вполне доволен успехами Агриппины, которая бойко наступать на клавишах несколько мелодий, и если бы услышал о рояле, то даже не понял бы, кому и зачем он нужен. Фридриха он выгонять не собирался, ему приятно было, что он, не хуже прочих, содержит в доме иностранца-музыканта, который не обьест, лишнего не попросит и поведения скромного.

Между тем Агриппине стукнул двадцать один год. Вот незадача-то! Девке замуж давно пора, а женихов не было. Хорошие, с точки зрения князя, на созревшую девицу и глядеть не хотели: знали, что папаша на приданое скуп, а на слово груб. Плохие, из бедных и окрестных, были, стало быть, плохими. Агриппина же томилась, как щи в печи, и вызывала беспокойство. Ее большое тело хотело любви. И чем бы это кончилось, неизвестно, если бы в двери княжеского дома не постучалась судьба.

Темной осенней ночью, когда князь Непрухин видел злой сон, как пытается ударить смеющегося ему в лицо лакея Петрушку, а рука бессильно повисает в воздухе, когда Агриппина тяжело ворочалась на перинах в мутной и потной духоте, когда Прохор дрыгал ногой, пытаясь во сне прогнать залезшую на кровать кошку, Фридрих лежал в темноте с открытыми глазами, тихо-тихо, стараясь не спугнуть рождающуюся в сознании мелодию, но не столько слышал, сколько видел ее, представляя освещенную залу и женщину за роялем, а Таня видела... да кто же знает, что видит во сне тринадцатилетняя девочка? – в это самое время, за сотни верст от Непрухина, под треск множества горящих свечей, в низком и сыром подвале молодой бледный офицер сидел на корточках над телом маленького человека, который смеялся мертвой улыбкой ему в лицо. «Кончился», – сказал офицер, поднимаясь и вытирая о шарф руки.

Через три дня в Непрухине узнали о кончине императора и начале нового царствования. Князь был сам не свой. В церкви он бывал каждый день, а вечером напивался от страха и лупцевал Петрушку, приговаривая: «Отольются мышке шишкины слезы». Еще через неделю курьерским письмом его вызвали в Петербург. Князь должен был выехать на следующий день. Утром неизменный Петрушка вошел в спальню князя с чашкой неизменного горячего шоколада. Князь смотрел на Петрушку страдальческими глазами, мычал и мотал головой. Правая рука плетью свисала с кровати. «Приболел, барин?» – спросил Петрушка, снял с подноса чашку и медленно вылил раскаленный напиток на грудь Непрухина.

Непрухин завыл, мотая головой и глядя мимо Петрушки остановившимися глазами. Из-за Петрушкиного плеча на него смотрела Судьба и улыбалась мертвой улыбкой. Потом повернулась и вышла из комнаты.

Действие шестое

В этом действии задача похожа на шахматную, только в ней начинают и выигрывают не белые, а черные.

Зачем новый царь вызывал Непрухина в Петербург, так и осталось неизвестным. Молодой и энергичный, он затеял преобразования в государстве. О них спорили в столичных салонах. Министры со страхом ощупывали под собой кресла. Создавались комиссии по улучшению и преобразованию. Однако уже в тридцати верстах от Петербурга жизнь шла своим чередом,

как и прежде. Непрухино же было гораздо дальше. Но как раз там и произошли перемены.

Первое время после смерти князя жизнь текла по старому руслу. Разве воровать стали больше: лакеи – на кухне, мужики – в господском лесу, а управляющий – везде. Новая владелица непрухинских просторов ничего этого не замечала. Не от горя, а от расслабления души и избытка телесного зуда. А тут и жених подоспел. Был он не из местных, называл себя бароном Фонзейским и показывал издалека и мельком какие-то бумаги, подтверждавшие древность рода и наличие недвижимости в отдаленных краях, недавно присоединенных к обширной Российской империи. Когда Фридрих попытался заговорить с ним по-немецки, жених его не понял, зато рассказал о том, что на родине он был наследником престола, но враги хотели его убить во младенчестве, поэтому семья вынуждена была бежать в чужие края, и он вырос на островах среди дикарей, вот их язык он знает, но говорить не с кем, потому что всех дикарей съели соседние дикари, а родителей убили, а он снова бежал, ловил кенгуру на Аляске, а потом уже с грузом кенгурятины попал в бурю и его выбросило на берег Варшавы, где он блистал на балах, прежде чем поступить на русскую службу, он не уточнял какую, но намекал, что важную и секретную, но опять же – враги, враги, враги, клевета и происки... В этом месте Агриппина пустила слезу, и вопрос о женитьбе был решен в правильную сторону. Грязновские барышни снова были посрамлены. На следующее за венчанием утро, когда Агриппина даже во сне была счастлива от своего нового, дамского, законного состояния, муж ее был на ногах с рассвета. Он потребовал расходно-приходные книги, а потом вызвал управляющего – богатого крестьянина и торговца из того же Непрухина. Управляющему он набил морду – не потому, что обнаружил что-нибудь в книгах, а потому что все управляющие воруют и им всегда есть за что морду набить. Управляющий отнесся к экзекуции одобрительно и ожидавшей его впечатлений о барине прислуге сказал коротко и уважительно: «Одно слово – деловой». Нового хозяина в книгах заинтересовало другое: значительные расходы на прислугу, белошвеек, конюхов, собачников, егерей и прочее. Практичный ум барона никак не мог постичь разорительный образ жизни русского барина. Свое мнение он высказал за обедом Агриппине. Та смотрела мужу в рот и была согласна с каждым его словом, даже «дура».

Кстати, Фридрих в этот день впервые не был зван к обеду, зато после обеда вызван к барону. Тот сообщил учителю, что более не нуждается в его услугах. Да, отвечал Фридрих, он все понимает, он очень благодарен и т.д., но есть у него одна просьба... Не мог бы он пожить здесь еще некоторое время за свой счет и воспользоваться инструментом, чтобы продолжить музыкальное образование одной здешней девушки... Барон откинулся в кресле и подмигнул Фридриху. Нет-нет, его не так поняли, это бедная деревенская девочка, сирота, еще подросток, у нее большие способности... Барон снова принял важный вид и сухо сказал: «Я подумаю». Он думал до следующего утра. Решение было такое. Известно ли Фридриху, что Татьяна шьет для барыни? Что долгое время ее обучали мастерству, кормили, поили, спасали от голодной смерти? Цена ее, таким образом, высока. Готов ли Фридрих выкупить белошвейку за означенную цену? Барон назвал сумму, которая бедному учителю и не снилась. Нет? Тогда прощайте, счастливого пути.

И Фридрих отправился в счастливый путь.

Действие седьмое

Которое можно пропустить, поскольку ничего нового, кроме женских слабостей и немецкой чувствительности, здесь не происходит.

Вечером, накануне отъезда, Фридрих прощался с Прохором и Татьяной. Прохору он подарил 10 рублей, а Прохор Фридриху – выточенную из вишневого корня трубку.

Таня сидела боком, как чужая.

– Таня, я обязательно вернусь, – толковывал ей то на русском, то на немецком Фридрих. – Все будет хорошо. Только обещай мне... Нет, не мне. Вот. Это не рояль. Но...

И Фридрих протянул Татьяне скрипку – самое дорогое, что у него было.

– Еще ноты и канифоль. Только каждый день, да? Таня! Ты меня понимаешь?

Прохор забурчал:

– Ну, каменная прямо. Ты чего? Хоть кивни: «Благодарствую, мол, Федор Федорыч!»

Девочка подняла голову, посмотрела на него неживыми глазами, и по ее щекам потекли слезы. Она открыла рот, судорожно прижала ладони к губам и, чуть не опрокинув тяжелую скамью, бросилась вон. Но у самой двери остановилась, ухватившись за косяк, и сползла на пол.

– Прорвало, слава Богу, – с облегчением отметил Прохор и засуетился, приводя девочку в чувство.

Так и запомнил их Фридрих: маленькую избушку в окружении тяжелых яблоневых ветвей, и на пороге – Прохор и высокая тонкая девочка с инструментом, будто с ребенком.

Такая чувствительная картинка отпечаталась в памяти Фридриха.

Отказавшись от предложений учительства у соседних помещиков, Фридрих уехал на родину. Его настойчиво звал отец, чтобы передать семейное дело – скрипичную мастерскую.

Действие восьмое

В этом действии ладья бьет черную пешку, да так, что та вылетает за пределы доски, чтобы больше на нее не вернуться.

После отъезда Фридриха барон с удовольствием отметил сокращение расходов. Через год умерла мать Татьяны. Прохор как мог помогал девочке, да та и сама крутилась веретеном. Но каждый вечер она приходила в сторожку Федора и брала в руки инструмент. Хотя Прохор не очень понимал смысл этого занятия, относился к нему с уважением, а частенько, заслушавшись, застывал на несколько минут, забыв, что у него в руках лопата, или топор, или бурав, а потом, словно просыпаясь, встряхивал головой и кричал: «Забирает».

Между тем Тане минуло 14 лет. Прижимистая натура барона этот факт восприняла по-своему. Возраст такой, что по тогдашним обычаям и замуж пора. Еще одно крестьянское хозяйство – добавка к доходам. Управляющий получил распоряжение найти Таньке-белешвейке жениха. Тот далеко ходить не стал, поскольку Татьяну знал за девку работающую, к тому же вхожую в господский дом. И предложил повенчать ее со своим младшим сыном Павлом, которому только-только исполнилось 13. Отец прочил его по торговой части. Узнав о таком раскладе, Прохор бухнулся в ноги Агриппине, но та и думать не могла идти против мужниной воли, раз и навсегда отключив свои заплывшие мозги от хозяйственных за-

бот. Делать было нечего. Таня, как всегда бессловесно и безропотно, подчинилась судьбе. Свадьба была назначена на святки.

За неделю до сочтения Павел катался с мальчишками на салазках с крутого берега речки Непрухи. И случилось так, что, выехав на лед, он провалился в затянутую ночным морозом полынью. Парня вытащить успели, но избежать жестокой болезни не удалось. Три недели он пролежал в горячке между тем и этим светом, выкарабкался на берег жизни, но тронулся головой по военной части. Он вообразил себя солдатом, повсюду ходил с палкой вместо ружья, выделял всякие военные артикулы, то есть упражнения, стрелял во всех подряд, а деревенскую мелкоту строил в шеренгу и водил в атаку. Прохор сделал ему барабан, и пределов Пашкиному счастью не стало. Каждое утро он бил зорю, поднимая спросонок всю семью, и кричал всякие команды. Тем не менее, жениться ему, по мнению управляющего и барона, ничто не мешало. Свадьба Татьяны и Пашки-енерала, как его прозвали в деревне, состоялась осенью. Батюшка, не смея ослушаться барина, обвенчал молодых, а после венчания, сняв облачение, отойдя подальше от храма и оглянувшись, с досадой плюнул и прошептал: «Прости, Господи!» Однако, выпив на свадьбе знаменитой непрухинской настойки, говорил, что «блаженны нищие духом», вспоминал святых юродивых и окончательно успокоился, сообщив себе и присутствующим, что «поспешествовал заповеди: плодиться и размножаться».

Молодых проводили в избу Татьяны и уложили на кровать покойницы матери. Закрыли дверь и с песнями отошли. Татьяна в белой сорочке, закрыв глаза и вытянувшись в струну, и сама лежала точно покойница. Пашка-енерал возился в темноте и что-то отрывисто бормотал. Хлопнула дверь, и наступила тишина. Татьяна открыла глаза. Мужа не было. Он побежал в отцовский дом за барабаном. Вернувшись, он застучал утреннюю зорю, поднял Татьяну и заставил босиком маршировать по избе, поворачиваться направо, налево и кругом. Потом, устав, лег на кровать и заснул, обняв барабан. Татьяна до утра пролежала на жесткой скамье под сопение и сонные выкрики Пашки. Этим супружеская жизнь и ограничилась.

А вскоре произошло еще одно событие, принесшее Пашке-енералу радость, его отцу выгоду, а Прохору хлопоты.

В деревню приехал генерал. То есть настоящий, со звездами. Был он в свое время любимцем славного Суворова, а в настоящее время, когда Россия готовилась к войне с Наполеоном, ведал рекрутским набором и заготовками для армии.

Прибыл он в Непрухино по делам службы с несколькими молодыми офицерами и небольшой солдатской командой. Конечно, Пашка-енерал пропадал у них все время, развлекая служивых своими дурачествами, и ведать не ведал, какая перемена готовится в господском доме.

Когда генерал, мужчина исполинского роста и даже в старости силы невероятной, вошел в гостиную, первый, кого он увидел, был барон Фонзейский, представший во всем блеске славы и богатства. Он уже открыл рот, чтобы приветствовать генерала, но не успел сказать ни слова. Генерал шагнул к барону, и тот во внезапно наступившей тьме увидел необыкновенной красоты фейерверк.

Лакей Петрушка выронил поднос с рюмкой гостевой водки и тарелкой осетрины.

Генерал легко поднял за шиворот огулшенного барона и коротко приказал адъютанту:

– В конюшню его. Всыпьте ему полсотни горячих, потом ко мне.

Через четверть часа Агриппина узнала, что муж ее – вовсе не барон, а бывший генеральский денщик, сбежавший из армии в итальянском походе. Она восприняла эту новость с бессмысленно отвисшей челюстью. Потом молча ушла к себе, и прислуга услышала грохот. Агриппина изо всех данных ей природой сил громила супружескую спальню. Наконец швырнула в зеркало ночной вазой, упала на распоротую перину и завывала по-звериному. Пух прилипал к трясущимся мокрым щекам, а она выла и выла...

Генерал оглядел накрытый стол и решил: не пропадать же обед. Петрушка носился как угорелый, ужом скользил с бутылками и тарелками и был на седьмом небе: баронскую подлость даже он не одобрял, а перед тяжелой генеральской рукой испытывал холопский восторг.

Отобедав, генерал подозвал Петрушку и спросил:

– Скажи-ка, братец, садовник Прохор в деревне вашей проживает?

– Да недалече, ваше высоко... сиятельство! Позвать изволите?

– Сам пойду. Проводи, – сказал генерал, кивнул адъютанту и пошел в сад.

– Здравия желаю, вашество! – отчеканил Федор, приложив ладонь к вылинявшей бескозырке.

– Какого полка? – с удовольствием отметив выправку и подумав: «Старая школа!», спросил генерал.

Прохор ответил.

– А скрипит там у тебя кто?

– Племянница, вашество, скрипку пользуется. Дурь у нее, да я не препятствую. Так, баловство, дитё еще.

– Ага, значит, немец диспозицию точно обозначил, – обернулся генерал к адъютанту.

Тот кивнул и протянул Прохору портфель и письмо.

Прохор развернул бумагу, повертел так и этак и протянул назад.

– Не обучен, ваше благородие...

– Я прочитаю, – сказал адъютант и стал читать письмо, по ходу переводя с немецкого.

В письме и портфеле были хлопоты Прохора. Письмо было от Фридриха, с которым в немецком походе познакомился адъютант. Фридрих писал, что, когда мастерская отца перешла к нему, занялся, кроме скрипок, изготовлением нового, равного, по его словам, целому оркестру инструмента – рояля. Его мечта – построить рояль для Татьяны. Сбудется ли она? Сбудется, если ему поможет Прохор, если он сделает это не для него, Фридриха, не для себя, а ради будущего его племянницы, ради искусства («Эк его, опять занемечил», – крикнул про себя Прохор). И вот он, Фридрих, просит его приступить к созданию рояля для Татьяны, чертежи и деньги в портфеле, который вызвался при случае передать Прохору благородный русский офицер и проч. А Фридрих приедет, как только появится малейшая возможность, а сейчас, когда в Европе идут войны и дороги перекрыты для мирных путешественников, он надеется лишь на Бога и русского друга.

– Понял суть? – грозно спросил генерал.

– Да я... – замялся Прохор. – Это ж ремесло тонкое, не по мне. Не смогу...

– Ты, служивый, что, забыл, что для русского солдата таких слов нет? «Не смогу...» Тебе честь оказана, а значит – соответствуй. Не для тебя, дурака старого, человек старается, а для этой твоей. Понимаешь? Исполни. А я солдатское слово даю: проверю. И гляди у меня!..

Генерал поднес к носу Прохора кулак размером с небольшой арбуз, разжал его. На ладони лежала ассигнация.

– Это от меня. Сделаешь – прощу должок, не сделаешь – я его вместе со шкурой твоей назад получу. Племянницу покажи.

Увидев Татьяну, генерал цокнул языком:

– Для такой девки не то что рояль, а фрегат срубить можно. Марш!

Действие девятое

Здесь появляется И. О. Судьбы – Время, которое, как известно, лучший лекарь и калекарь.

Генерал уехал. Барон исчез вместе с ним, и, будем надеяться, навсегда. Агриппина успокоилась на крестовом валете. Им оказался управляющий. В свою очередь, и его охватила страсть. Не к Агриппине, конечно, а к ее деньгам. Жена подняла было голову: «Ах ты, кобель старый, у тебя же волос уже седой, тебе внуков скоро тетешкать, а не...» Управляющий сказал как отрезал: «Дура! Для них же стараюсь».

Впрочем, от младшего – Пашки – внуки не ожидалось. Татьяна скользнула как тень из избы в барский дом, из барского дома в сторожку Прохора, играла свой ежедневный урок, летела домой, готовила, убирала, доила, чистила, кормила, маршировала на сон грядущий под Пашкин барабан и засыпала как ангел, без обиды на судьбу.

Судьба же не дремала. Управляющий был равнодушен к добру. К тому, что плохо лежало. Таким плохо лежащим добром была Татьяна. «Пропадает девка!» – думал управляющий. Хотя, по тогдашним деревенским меркам, Татьяна не была красавицей: высокая («долговязая»), тонкая («гощая», «сухотка»), лицо имела продолговатое, а не круглое, кожу смугловатую, а не кровь с молоком, да еще эти ее странности: дружба с немцем, музыку играла, книжки читала, ровно барыня. «Зачитается», – прочил ей будущее деревенский люд. А главное – порченная, потому как детей не было.

Управляющий же был на коне. Все ключи, да и сама Агриппина были в его руках. Ошалеv от свалившейся на него власти и безнаказанности, он решил приударить за невесткой, благо знал: никому ничего Татьяна не скажет. Он подкарауливал ее то в одном, то в другом месте, угощал краденными барскими сладостями, дарил дешевенькие коралловые бусы и обнимал-целовал, как он выражался, по-родственному. Татьяна робко отбивалась, а управляющему хотелось думать, что боится она не его, а посторонних глаз и ушей. И в один прекрасный день или ближе к вечеру приступил к самым решительным действиям. Татьяна сопротивлялась и только тихо, как собачка, поскуливала, когда свекор затаскивал ее в кладовую.

А в это же самое время лакей Петрушка, почтительно склонившись над Агриппиной, шептал, что, мол, батюшка ваш велел порядок в доме блюсти, а он, Петрушка, уж так князюшку любил, так любил, что просто смотреть на эти безобразия не может, что вот сейчас, в сей момент, в шаге отсюда творятся. Какие безобразия? А вот извольте видеть, барыня-благодетельница, вам только дверочку открыть... Не прогневайтесь только, что о Степане Фомиче речь...

Агриппина не только открыла дверь, но даже дошла до кладовой. Таким образом, благодаря Петрушке Агриппина своими глазами смогла увидеть беспорядки и безобразия.

На этот раз она вела себя совсем иначе, чем с бароном. Она молча выслушала сбивчи-

вую речь управляющего, повернулась и ушла, велев Татьяне идти за ней.

Через полчаса Петрушка принял должность управляющего именем. А на следующий день Агриппина объявила, что отправляется пешком, как крестьянка-паломница, по святым местам аж до Киева, а товаркой берет с собой Татьяну.

Узнав о таком решении, Прохор пошел к батюшке, с которым в последнее время сблизился, так как тот помогал ему, неграмотному, разбирать чертежи Фридриха. О чем они говорили, неизвестно, знаем только, что, провожая Прохора, батюшка несколько раз назвал его блаженным виноградарем, а обозревая свод небес, указал на Большую Медведицу и изрек: «Кто с ковшом к нам придет, тому воздастся по мере его!» И, прежде чем войти в дом, долго беседовал с рыжим псом.

На следующий день он имел беседу с Агриппиной, в ходе которой благословил ее на хождение и уговорил, чтобы она разрешила Татьяне взять с собой скрипку, ибо «в музыке греха нет, а красотой душа цветет», приведя в пример Давида-псалмопевца.

Действие десятое

В этом действии количество действующих лиц сокращается, зато дается ответ на поставленные в задаче вопросы.

Итак, Агриппина и Татьяна, одетые темно и бедно, отправились странствовать: Агриппина – замаливать свои грехи, Татьяна – свои и чужие. Впрочем, бывают ли чужие грехи?

Прохор строил рояль, сопровождая работу сплевыванием сквозь зубы слюны и слов: «ишь, учудили», «да где ж я тебе итальянскую сосну найду», «какие еще миллиметры удумали» и проч. В итоге рояль он делал так же, как ходил за садом. Немецкие «миллиметры» считывал на глазок, указанные породы древесины заменял по своему усмотрению березой, липой и елкой, лак варил не по рецепту, а по вдохновению. В душе он сознавал важность работы, поэтому превратил свою сторожку в мастерскую. Не в сарае же роялю стоять. Жить приходилось в тесноте, пробираться боком, а спать утыкаясь носом в ножку рояля. Прошло время – не скажу какое, но немалое, – и рояль был готов. Оставалось только вставить струнный механизм и клавиши. Но все эти внутренности обещал привезти Фридрих. А Прохору изделие и так нравилось. «При случае, и корабль построю», – думал он, вспоминая слова генерала. Теперь, когда громада рояля стояла в убогом жилище Прохора, как военный многопушечный парусник в тесной гавани, он все чаще представлял себе Татьяну, Фридриха и пытался вообразить звучание инструмента. Он придирчиво оглядывал лакированную поверхность, проводил кривым мизинцем по швам и, кажется, ни в чем не мог себя упрекнуть.

В то же время в жизни Татьяны произошли изменения, хотя она об этом и не знала. Оборвалась нелепая жизнь Пашки-енерала. Произошло это так.

Понимая, что оставлять дурачка в пустой избе нельзя, управляющий, чертыхаясь, взял Пашку к себе. Его жена, Пашкина мать, присматривала за домишком Татьяны, время от времени протапливая печь. Как-то, возвращаясь с победой из очередного похода, Пашка по привычке свернул к Татьяниной избе. Он был голоден и знал, что Татьяна всегда накормит. В доме было пусто. Пашка заглянул в печь. Тлели угли – мать ушла совсем недавно. Пашка начал ворошить в печи, но еды не было. Разозлившись, Пашка стал возить кочергой так, что угли выпали на пол. Не замечая дыма и не обращая внимания на текущие из глаз слезы, за-

мерзший и оголодавший Пашка продолжал орудовать кочергой. Горшка с кашей он не напел. Но согрелся и захотел спать. И Пашка заснул. Как выяснилось на следующий день, навсегда. Бывший управляющий на отпевании и похоронах вид имел весьма скорбный и даже не напелся на поминках. Впервые после своего позорного падения он ощутил, что фортуна, то есть счастье, поворачивается к нему лицом: с одной стороны, с заливка соскочил лишний едок, с другой, оставалась пустая изба – еще крепкая, которую ежели раскатать да на сторону продать... Управляющий переходил на расчеты в уме, отчего и имел скорбное лицо.

И еще прошло время. Оно прошло, а за ним пришло письмо от Агриппины, написанное рукой Татьяны, в котором она извещала Петрушку, что находится на обратном пути и через неделю, много через две, будет дома. Петрушка в панике бросился наводить порядок в доме, надеясь хоть на первое время скрыть пропажу столового серебра, фарфора, белья и недостачу в винном погребе.

Но оставим Петрушку с его заботами. Занятый ими, он даже не заметил, как вечерней порой проехала мимо господского дома по дороге, ведущей в сад, легкая повозка. Преодолев границы и пылающие на карте Европы военные костры, в Непрухино приехал Фридрих.

Действие одиннадцатое

Проход и радовался приезду Федора, и боялся: как-то оценят его работу? А Фридрих несколько дней устанавливал клавиши, натягивал струны, дзынькал камертоном. А потом нажал клавишу – ту самую ноту, по которой настраивают свои инструменты музыканты. И собранный по немецким чертежам безграмотным русским отставным солдатом, когда на глазок, когда чутьем, но больше любящим сердцем, – рояль ответил. И малиновое затухающее «и-и-и» пролетело над вечерним Непрухино, смешавшись со стрекотом кузнечиков и криком загулявшего петуха, с запахом навоза и первых, терпких еще яблок.

И в эту ночь и Проход, и Фридрих впервые заснули тихо-тихо, спокойно-спокойно, и сны их отражались в светлой воде одиночества.

А утром, когда Проход открыл глаза, в золотом проеме двери он увидел темный тонкий силуэт. Татьяна, боясь потревожить спящего, подошла к роялю и положила руку на его прохладное тело. Рояль замер под прикосновением ее пальцев.

Вслед за ней вошел Федор.

- Вставай, Проход, утро для дела, вечер для мыслей, – начал было он и осекся, увидев девушку.

Татьяна, не сводя с Фридриха огромных своих глаз, сказала по-немецки:

- Я так ждала тебя.

«Сказала!» Быть может, читатель заметил, что это первые слова, сказанные Татьяной на протяжении нашей правдивой хроники. Больше того, это первые слова, сказанные ею с шестилетнего возраста. Тогда князь Непрухин, возвращаясь с охоты, для потехи спустил борзых на игравших у дороги детей. Псари до крови не допустили, но Татьяна, уже бойко и складно говорившая, онемела.

«Сказала!» Скорее, выдохнула с этими словами все эти годы. А может, и не сказала, а только подумала. Но Фридрих услышал и понял.

И Проход понял. Хотя говорила (или думала?) Татьяна по-немецки. Он вскопчил со ска-

мы, похлопал себя по карманам, что-то забормотал и, схватив зачем-то лежащий у косяка топор, выскочил во двор.

Брызнул в лицо водой из кадки, достал, но так и не набил трубку, сердито бросил топор и запагал в сад.

Через час-другой он вернулся к сторожке.

Из-за двери доносились звуки рояля и скрипки. Скрипка тянула из Прохора душу туда, где он еще никогда не был, а рояль говорил ему: «Не бойся, не бойся, иди!»

А потом раздался какой-то нелепый, уродливый аккорд, и рояль замолчал. Скрипка еще летела там, в вышине, и вдруг, ощутив свое одиночество, затрепетала в испуге и, кувыркаясь, сорвалась вниз.

Прохор вошел в комнату. Фридрих сидел за роялем, и голова его с открытыми глазами покоилась на клавишах.

Действие двенадцатое

Это действие является последним, лишним и ничего не добавляет к решению задачи.

Спустя две недели после описанных событий Прохор возвращался домой от попа Ивана, с которым, пользуясь отсутствием попадьи, они помянули раба Божьего Феодора. Несмотря на горечь повода, настроение у Прохора было приподнятое. Он шел по невидимой в ночи закадычной тропинке и пел разухабистую солдатскую песню:

Собирала с Кузего
Я цветы лазоревы.
Вышла мне конфузия,
А ему виктория.

Радость Прохора была сердечной. Поп Иван сказал ему слова, которые солдат, может быть, и чувствовал, но выговорить не мог. Это были давно известные, написанные в главной Книге слова, но, произнесенные к месту, они обратили душу Прохора к Вечной Радости и Жизни Вечной.

– Что есть слезы человеческие? – закончил свою речь поп Иван. – Воспоминание о грядущем – вот что есть слезы чистые.

Слова «слезы» и «чистые» вызвали у попа Ивана другой, гораздо более земной образ, и он потянулся к бутылке...

Дойдя до сторожки, Прохор присел на крыльцо и поник головой, думая сразу обо всем: о Татьяне, о Федоре, о себе. Падали звезды, падали яблоки, и казалось, что это падающие звезды достигают земли, с глухим стуком исчезая в траве.

Вздохнув, Прохор заговорил:

– Так-то вот... Надейся на Бога, а не ропщи. Меня, к случаю, возьми. Я вот... – тут голос его сомкнулся и соскочил на мгновение в другой регистр. – Я вот не ропщу. Думал, барыня, она ж теперь совсем другая стала, отпустит Танюшку на вольную. Поженятся они с Федей... А что веры разные, так Бог один. И цари наши на иноверках женились. Уехали бы к Фридриху. Про себя-то мне грезилось, что и меня, старика, к себе возьмут. Я бы по столярной

части работал, да, на них глядя, душой бы грелся. Садик бы я там разбил. Они, немцы, это любят. У них перед каждой избой такой садик есть, не для пользы, а для красоты, будто у господ каких. Кому здесь, в Непрухине, скажешь, не поверят: цветы сажают! А я теперь понимаю: красота и простому человеку нужна. Потому и музыку играют. Правильно батюшка говорит: не хлебом единым. Церковь, сжели подумать, тоже ведь для красоты. Да... Да мало ль чего я хотел. Вишь, какие картинки старый хрыч себе нарисовал, а вышло не по моему хотению, а по Божьему соизволению... Теперь о другом думать надо: что с Танюшкой-то будет? Неужто в монастырь пойдет? И останусь я один, как...

Прохор задумался, вспоминая забытое слово. Не вспомнил и махнул рукой.

Пожелаем ему, и Татьяне, и всем добрым людям доброй ночи и завершим на этом нашу невероятно правдивую историю. Она правдива, потому что если бы автора спросили, что же произошло дальше с нашими героями, он бы искренно ответил: «Не знаю». То, что происходило и будет происходить в Непрухино, открывается ему случайно, какими-то кусками, пунктирной, так сказать линией, ведущей, как и положено в нормальной задаче, из загадочного пункта А в таинственный пункт Б, потому что откуда-то и куда-то должна же идти дорога времени.

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК



Марина Улыбышева

Праздник. Полотняный. Пушкин

В 1978 году впервые на территории Полотняно-Заводского парка, некогда родового имения дворян Гончаровых, где прошли юные годы музы поэта Натальи Николаевны Гончаровой, впервые был проведён литературно-музыкальный Пушкинский праздник. Там торжественно отметили день рождения человека, про которого Виктор Шкловский сказал: “Александр Пушкин создан Россией для осознания себя”. Набатом для нас звучат вдохновенные и бессмертные пушкинские строки: “Россия, встань и возвышайся!” Или такие: “Да здравствует солнце, да скроется тьма!” Мы – нация Пушкина! Поэзия Пушкина вошла в душу каждого русского и каждого культурного человека из многочисленных народов, населяющих Россию.

С тех пор минуло четыре десятилетия. Праздник давно известен всей России и традиционно собирает лучшие писательские силы страны. Несмотря на сложные девяностые, когда многим было не до литературы, он не угас, а в наши дни переживает по сути второе рождение. Сейчас год от года он становится всё более интересным, насыщенным, постепенно возвращаясь к своему лучшему периоду, когда гостями его были Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Валентина Невинная, Николай Панченко и другие знаменитые литературные звёзды 70-80 годов. Также традиционно туда приезжали потомки Гончаровых и Пушкиных, краеведы, литературоведы.

Центр праздника – литературная площадка у Пушкинской беседки. Несмотря на то, что сейчас эпоха интернета и интерес к книге перешёл в виртуальную плоскость, всё равно звучащее слово востребовано и не теряет своего значения. В настоящее время мы стремимся соединить лучшие писательские силы Калуги и области с представителями других городов России.

У нас выступали известные ныне поэты Г. Калашников, М. Ватутина, А. Логвинова, А. Гамага, А. Ивантер, М. Кудимова, Б. Кутенков, пушкиновед В. Есипов, современный издатель и поэт А. Переверзин, И. Кабыш, автор и исполнитель А. Крамаренко и другие.

Предлагаем подборку стихотворений о Пушкине гостя 39-ого Пушкинского праздника поэта и культуртрегера Андрея Коровина.

*Организаторы литературно-музыкальных
творческих встреч Пушкинского праздника
Марина Улыбышева и Дмитрий Кузнецов*

А н д р е й К о р о в и н

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ПУШКИНИАНА

* * *

Пушкина отравили
Собратья по литературному цеху
Каждый насыпал ему в тарелку
По земляному ореху
Всякого яда
Кто-то своих стишков
Барышни испанских мушек
Даль своих порошков
Каждый хотел как лучше
Каждый смотрел в глаза
Никто не сказал ему
Пушкин
Кушать это нельзя
А Алексансереич
Наивнейшая душа
Кушал отраву кушал
Медленно не спеша
И запивал шампанским
И хохотал в ответ
Пишут всё на шаманском
Пушкина на вас нет

Андрей Коровин родился в Тульской области (1971). Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Автор восьми поэтических книг. Стихи публикуются в поэтических антологиях, журналах «Арион», «Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь» и других изданиях, переведены на десять языков мира, в том числе на английский, немецкий, польский, армянский, грузинский и другие языки. Руководитель Международного культурного проекта «Волошинский сентябрь», литературного салона в Музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва) и других культурных проектов. Лауреат премий литературных журналов, Кавалер Золотой медали «За преданность Дому Максимилиана Волошина» (2010). Живёт в Подмоскowie.

* * *

Я достаю свои брокгаузы и ефроны
За томом том идут на фронт эшелоны
Глубоко эшелонированная оборона библиотек
Пушкин лучший стратег

В моих библиотеках под командованием юнкера Пушкина
Книги добра продолжают сражение со злодеями прошлого
Антигерои истории собирают свои войска
Буквы свистят у виска

Белые корешки за наших красные за чужих
Стоны на правом фланге капитана Де Сада
Кружится юнкер Пушкин рубится как мужик
Это на левом фланге ждала засада

Мир невозможен завтра была тоска
Завтра была война полные книги крови
Миленький юнкер Пушкин не отводи войска
Всюду они они надо быть наготове

* * *

Так широко так тяжело так телесно
Шагает дождь по свежей мостовой
Так грузно переваливает чресла
Над Пушкина железной головой

То в западных шагнёт микрорайонах
То на восток наступит не спеша
И прячутся в подъездах и балконах
Собравшиеся выпить кореша

Стекает в хлам побелка и известка
Плывут куда-то письма и зонты
Но нам-то что мы сделаны из воска
А гибнут только люди и цветы

* * *

Чернеют ушки на макушке
Ночных озябнувших ветвей
Но почему чернеет Пушкин
Наш африканский соловей

Ему б стоять в старинной феске
В адис-абебовском Крыму
Но он как призрак генуэзский
Стоит ко всем и ни к кому

Стоит на Пушкинском бульваре
Стихи под снегом затая
Но сны одетые в шальвары
Нет
Перед ним не устоят

* * *

Год отморозился день отошёл
Тянется снежная взбучка
Что ты такого здесь вправду нашёл
От января до полочки

Делакруа или Ларошфуко
Господи кто эти люди
Едут по городу в драных трико
Впрочем от них не убудет

Где-то ваганты поэзию рвут
На переводческих струнах
Там и поэты тихонько живут
Меряют ценники в рунах

Снежные вихри как будто крутя
Пушкин по городу едет
Что ему вихри ведь Пушкин дитя
Он куда не доедет

* * *

Пить
Детей рожать
Томиться
В пыльном городке
Недалёко от столицы
С Пушкиным в руке

Засыпать и просыпаться
С солнцем в голове
Самолётам улыбаться
Лёжа на траве

Иван-чай сушить болталивый
По грибы ходить
В речке мелкой и сварливой
Пескарей удить

И не бредить об удаче
Не писать стишки
Всё могло бы быть иначе
Полные мешки

**Русская теогония,
или Отваливающиеся буквы**

– да будет Космос, – сказал Циолковский
– да будет Циолковский, – сказал Космос

– да будет Русь, – сказал Есенин
– да будет Есенин, – сказала Русь

– да будет Пушкин, – сказал Пушкин
Молчание было ему ответом

– эй, что за фигня?! – вскричал ...Ушкин
– ... что за фигня
..фигня
...гня
...няня,
– отвечало эхо

Тогда ...Шкин обиделся
И пошёл стреляться с Дантесом
Которого вообще никогда не было

* * *

Слишком долго слишком сложно слишком высоко
Закипает летний дождик словно молоко
По сиреневым бульварам рядовой Москвы
Едут разные романы разных духовых

Утлый ослик лопухий как троллейбамбас
Пересказывает слухи в образах гримас
Вот и Пушкина убрали кто теперь поэт
На Тверском стоял бульваре
А теперь уж нет

Всё закончится однажды Пушкин и Москва
Все закончатся однажды важные слова
Пусть скорее закипает дерзкий летний дождь
Каплет каплет заливает молодую дрожь

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОСМОДРОМ



Проект под таким названием стартовал в Калуге в 2018 году.

Его цель простая: искать таланты среди пишущей молодёжи и помогать им состояться в качестве литераторов.

Сегодня в этой рубрике представлены четыре поэта.

Молодость – время поисков и экспериментов.

Пусть не смутит читателя альманаха неклассический образный строй этих стихов, их порой отступающие от канонов русского стихосложения метр и рифмы, отказ от норм орфографии. Всё это – попытки найти новые средства выразительности, создать свой поэтический язык, понятный и близкий молодому поколению.

Насколько удачны эти поиски – судить читателю

А н н а П а ш к о в е ц

Мы сошлись разве что в неприязни к Иванам Ивановичам.
А расходимся мы во всех остальных точках.
Может быть, потому, что тогда тебе сил не хватало, мам,
Ты так яро теперь балуешь мою дочку?

Я под лупой, как сыщик, исследую все твои промахи.
Я, наверно, сама твой в каком-нибудь смысле промах.
Когда все мы расходимся прочь – вытворять подвиги, –
Сколько сотых тебя остаётся нас ждать дома?

Я намного смелее, чем ты, и, конечно, куда современнее.
Я умею бэкапить ненужные фото и тексты.
Одружишь мне искусство твоё (или сдай на хранение!) –
Быть готовой всегда отдавать – ни за что и не вместо?

Я спрошу, а ответ не пойму – до поры и до зрелости:
На четыре любовь нужно было делить или множить?
Запрещая себе досыпать – о себе пожалела ты?
Мам, мы выросли – что ж ты теперь спать спокойно не можешь?

Анна Пашковец родилась в 1986 г. в городе Севске Брянской области. Окончила социально-экономический институт БГУ. В Калуге с 2011 года, работает на заводе. Финалист калужского Литературного конкурса молодых авторов 2015 г., в 2018 году на момент подготовки публикации вышла в полуфинал Фестиваля молодой поэзии имени А. А. Филатова (конкурс продолжается).

* * *

То ли вмёрз календарь в холода ноября и
Там застрял до весны, — а весна не вернётся.
То ли слово стихает, тупится, теряет
Смысл, вкус и другие полезные свойства,

То ли сердце заглохло, то ли небо оглохло.
То ли я на распутье ошиблась в маршруте,
То ли мне не распутать вопросов о сути.
То ли всё в самом деле не так уж и плохо?

Небо смотрит в мой дом через грязные стёкла.
Говорят — не бывает, чтоб небо оглохло,
А бывают закрытые слишком плотно
Окна.

* * *

Персональные добрые вести
Разлетаются в поисках цели.
Бьются в стёкла. В наушники, щели
Проникают. Куда-то на свете

Прилетают в марте, щебечут звонко,
Гонят прочь ворон с их тревожным криком.
Пробивают снег первоцветом диким.
Рассвetaют в чёрных проёмах окон.

Лечат плачущих и виноватых.
Освежают любую рутину.
Воскрешают любые руины.
Восполняют собою утраты.

Их не сдержат стены, решётки, двери,
Пограничник с самой большой овчаркой.
Есть лишь две разновидности их фиаско:
Адресат не дожил... и не поверил.

Евгения Шабеева

* * *

Рыбак молился Посейдону
О рыбаках, попавших в шторм,
О всех, кого морским драконам
Свои отправили на корм,

О лесорубах фараона,
Что на чужбине ищут смерть...
Кого из них придавит кроной?
Кого настигнет жар и бред?

О всех, гниющих на галерах
Среди семи морей красы...
«Да, я в тебя почти не верю –
Но больше некого просить».

О всех, о ком забыли дома,
Чья в битве дрогнула рука,
Рыбак молился Посейдону.
И Яхве слушал рыбака.

* * *

Слава Тебе, Господь, сотворивший птиц,
Слава Тебе, Посылающий птиц к карнизам
Окон больниц, военных бойниц, темниц...
Птиц, всем нелепым границам бросающих вызов.

Слава Тебе, Отец, сотворивший свет,
Всепроникающий свет – сквозь хрущёвок ветошь,
Всепроникающий свет – сквозь больничный бред,
В самое сердце тьмы – сквозь тяжёлые веки.

Слава Тебе, Господь, сотворивший день,
День, запятые творящий из жирных точек;
День, размыкающий зубы любой беде,
Что наловила невинных минувшей ночью.

День побеждает ночь. Взмах твоих ресниц
Свет пропускает в сердце твоё – таблеткой.
Слава Тебе, Господь, сотворивший птиц
В наших грудных – а может, душевных – клетках...

* * *

Выдернуть шнур – и долго давить на стекло,
Если водитель не слышит: «Остановите!»
Кто-то уснул – и не знает, что мост разнесло.
Кто-то уснул – и кажется, это водитель.

Господи-Боже, скажи, куда Ты несёшь?
Что Ты несёшь? Я не слышу, в автобусе грохот.
Я понимаю, не стоит внимания вошь.
Но этой воши в поездке становится плохо.

Господи-Боже! Ну надо же, что за маршрут...
Останови! Я пешком, я никак... мне неважно!
Надо разбить пару окон – и враз заберут.
...Не остановишь? За буйство не высадишь даже?

Ну же, смелее! Дай знак, что хотя бы не спишь!
Выдернуть шнур... Мы не выдержим бомбардировку.
Бог забирает мой плеер – вливается тишь.
«Что ты кричишь? Я скажу тебе Сам остановку».

* * *

Шёл третий год зимы. А значит, Жизнь
Спала тихонько – при корнях деревьев,
В застывших водоёмах, заложив
Последний грош – за то, чтоб поскорее
Весна разбила, растопила нас,
Всю эту зиму с миром воевавших...
Но, посинев на всё лицо, страна
Мороз терпела (умножая даже).

Сто семьдесят второго февраля
Вонзился в воздух звонкий детский голос:
«Вы поглядите, голая земля!
И только наш король ещё не голый-с»...

Об этом некто негде написал,
И в честь него назвали некий город...
Но, видимо, разверзлись небеса –
Иначе не понять, куда так скоро
Исчез мальчишка, так нелепо вслух
Сказавший всё, что в воздухе морозном
Витало – как в старинном замке дух
Проклятий, нафталина и артроза...

А был ли мальчик?
..... Нет, была зима.
Была война, а где война – там холод.
И мы замёрзли и сошли с ума,
Не понимая, что же в том плохого...

Софья Семина

Спотыкнулись все буквы в письме,
В четырех словах,
Запечатлевших первые порывы,
Попытки обращения
К речи
Письменной, признания
Пусть не в трёх листах,
Томах,
Но объяснение
Первого желания
Что-либо ухватить
И выразить,
И в данном случае
Мою любовь к тебе.

Софья Семина родилась в 2000 году. Стихи публиковались в различных сборниках, в 2013 году вышла первая книга стихотворений. Софья – участница многих конкурсов и фестивалей, один из организаторов поэтических мероприятий от культурного проекта «Среда», а также координатор музыкально-поэтического фестиваля «Slova fest». Победитель городского калужского конкурса «Юный поэт-переводчик», лауреат Всероссийской конференции «Юность, Наука, Ю!» в секции «Литература» и городской конференции памяти Чижевского в секции «Литературное творчество». В 2016 году имя Софьи Семиной вошло в книгу «Ими гордится Россия».

Пусть же автор
Данного свидетельства
О том, что человечество
Способно к письменности,
Более не узнаваем мной
Ни в одном из зеркал.

Пусть она носила
Размером меньше
Обувь,
Была мала,
Чтоб полноценно
Сесть за стол,
Имела и не столько сил,
Но кровь
Ее течет во мне,
Ведь ДНК
Имеет память крепче.

Пусть глагол
Ее был проще,
Голос выше.
Я интонации
Ее способна
Слышать,
Где-то в внутри себя.

Пусть нас зовут по-разному,
Но наши имена
Все же имеют общий корень.
И
Взгляд
Похож
До боли —
Темно-карие-зеленоглазый.

Я буду всегда согласна
С тем опусом —
Первым простым
Письмом.

Пусть буквы спотыкнулись в нем -
Строка мягка,
Они не разобьют коленки.
Я их писала —
Девочкой,
Едва забыв,
Как ходят,
Держась за стенки.
Да и простит
Буква «я»,
Повернутая
В нем с запада на восток.

Гласит тот,
Маленький, мятый листок:

«Мама я люблю тебя»

* * *

Прятались сказки в старушках
И детских санках,
В липкой манке
И белых чепках,
В пешках и королевах,
Вперемежку лежавших
На дне клечатых ящичков,
В диванных и подстольных крепостях,
В елках на городских площадях,
В новогоднем снеге, который ловится языком.

Ведь все это было... здесь,
Где мороз жуёт каждый нахохлившийся
Дом,
Где в санки не влезть,
Где королевы презрительно смотрят на пешек
С полки повыше,
Где спешны
Стрелки разгаданных часов.
Все не серебряно,
Но серо.

И только в ультрафиолете
Гирлянд и ламп,
Как
Маленькие силуэты
Тёплых рождественских диорам,
В Будде, в поэте,
В Сиде и в Нэнси,
В Обломове,
В Иисусе Христе

На просвет видны наши дети

Внутренние.
Все в накипи и зиме.

Храни их последний вечер декабря.

Д м и т р и й Г о р е н с к и й

* * *

А.С.

Оттого, что колёса трещат, путь петляв,
То не лебедь, не щука, не рак, сторона,
Неизвестная карте, под уздой не каурый,
А вешние годы летят, колёс циферблатной.

Как когдатошний я, завсегдатай холстин
Посейчас, гордый посвист пера в толчее грифонажей,
Тёртой грифельной пылью на белый простор просочась,
Ты становишься новым пейзажем.

За обрывками слов, за корявою феней души,
Там, где почерком брошены тысячеверстные дали,
Где изгибом клинка помутневшей реки
Небосвод над отчизной протянут

Дмитрий Горенский – поэт, переводчик. Родился 30 мая 1993 года в Калуге. Окончил КГУ им. К. Э. Циолковского, физмат. Жил и работал в Германии. Стихи публиковались в различных сборниках и альманахах. Организатор проекта «Kunst Fr Alle».

Схоронится тоска, из открытого сердца вспорхнет
Не зореча, чтоб в отсвете кануть
Под шумок убегая, в эскизы несчастной любви
Наши музы про нас не вспомнят

Береги себя, словно хороший портрет
На стене для потомственной чести
Избегай лишних взглядов, всеобщей молвы
Дезертируй от собственной лести

Мы рождаемся помнить, а дальше вперёд
Как бы ни было сиром да горько
Что зачала бутылка, продолжит стакан
В крайнем случае горло.

* * *

Февральский дождь, собачья шерсть особняков
Очажный щебет проступает в тихих шторах
Слетка кивая головой, я шёл домой
Глядясь в озябшие ладони остановок

Там у подстенья шелестел афишный прах
Клочки былого, раскрошившаяся купа
Нетопырём зонты дремали по рукам
Слонялись птицы, что рассыпавшийся уголь

Троллейбус мешкал повинившимся бельмом
Как псы у ног, валялись тучные баулы
И прочил чаяниям продрогших, светофор
Себя неспешно, но безвременно баюкать

В оцепенённой анфиладе серых дней
Незлобной шатней своих погасших мыслей
Вспоминая, как волнуется сирень
За летним театром, встревоженные лица

Вторгаться взглядом в обесцвеченный пейзаж
Где всё длинней толпа надежд, уткнувшись в небо
Где сквозь тебя проходит пара карих глаз
Где что-то в голосе твоём, осиротело

* * *

Из визитёров лишь невыключенный свет
Конец зимы, снег брошен полотенцем
Соседский кот заночевал в подъезде
Свернувшись сердцем промеж ребёр батареи

Подбитой птицей тихо грянулось пальто
Картель из пуговиц едва заметна взору
Шлица хвоста серпом распластана на пол
Крылом рукав в карман заронен

Что струйкой крови, за подол, разлился шарф
Перчатки лап застыли, вянет след, расплывчат
И больше некуда лететь, спешить, бежать
Кругом нестомчивая тьма, где молкнет пищик

* * *

Дай мне второе сердце, чтобы прожить дотла
Сызнова вопреки, горю благодаря
И я спущу в зрачках, ягод седых напасть
Укорочу до слов, гибель ненужных фраз

Чтоб на погудку дней, голос раскинуть в звон
Перетолмачить взгляд, шелест судьбы пустой
Не омрачить тоской, прожитых лет берега
Письма горят черно, в красном мешке огня

Расцеловать плечом, вчуже толпу людей
Я не берусь, зане, морем своих потерь
Вёсел не зная, плыл, там где вода мутна
Взор окостя песком, солью гортань кляня

Ты уж прими таким, стёршимся до киклада
Бьющимся вопреки, а приглядишь, за так
Преодолевшим плоть, мысль твою, себя
Речи неясный вид, город, судьбу, года

Ты уж прими таким, я заплатил сполна
За особливость дум, мне не простят меня
Ты уже поверь на миг, в эту тряпичность слов
Преодолевших жизнь, развоплотивших всё.

Nihil novi

Стих – это последовательность метрической структуры речи, спорадически формирующаяся в знаковой, эмоциональной, идиолектической и интеллектуальной парадигме человеческого сознания. Складывая это определение, что ребёнок кубики, я не чувствую живой ткани языка. Я чувствую себя чужим, иностранцем, чей слепой палец скользит по щекам словаря. Слеза ненайденного слова – как часто поэт чувствует это...

Эссе ли это, сочинение, рядовой паратакис, пролегомена тишины и отчаяния, не знаю. Ибо акт письма – это форма веры. Мне хочется верить, что это живая речь.

Стих – это улица души. Силлабо-тоника – это кладка этой улицы, по которой идёт, надеется и скользит – просодия. Поэзия – это адрес несходства. Поэт – свидетель разницы, жизни названной и случившейся. Я волен полагать, что поэзия – это поступок сердца, его желание быть не зрителем времени, а его соперником.

Довольно жалким представляется мне то зрительское место, которое заняли поэты нашего города. Легко вести нить собственного мнения, зиждясь исключительно на блеске недостатков, но хочется присмотреться. Важным для меня является момент метрической и стилистической разности авторов. Легко обнаружить ангажированного глухой и безнадежной архаикой автора, безвкусного историко-политического параклета, романтика, признающего в себе жертву, блаженных графоманов, помешавшихся державцев, множество грубых тщеславий звучат в нашем литературном процессе, но звучат, как мне кажется, безвкусно, безответственно и безнадежно. Смешивая себя с историческим, религиозным, эстетическим, мусическим контекстом, историей, если угодно, они забывают, что всё это не больше чем раскраска, оттого я крайне дорожу людьми свободного цвета мысли.

Впрочем, это проблема моей эстетики, но, на мой взгляд, большинство современных поэтов, которых мы чудесным образом, на всё согласной случайности слышим, совершенно не готова к разговору, критике и рефлексии. Давайте говорить честно, это просто люди, которые освоили механику рифмы и пафос принятия или отрицания себя, всю жизнь репетирующие свой автограф. Довольно инфантильная помесь, не правда ли? Никакого поиска новых форм, критики, переводов, сомнений, прогресса одним словом, не происходит.

Позволяя себе право называть вещи своими именами, я позволяю себе мнение. Большая надежда хранит меня в том, что когда-нибудь возникнет не жалкое собственничество мнений и литературных студий, а большой и смелый разговор о поэзии, преемственный и не глухой, разговор, выходящий за рамки собственных эстетик. Полагаю, что для этого достаточно однажды просто встретиться без страха.

ЛИТЕРАТУРА И СУДЬБА



Юрий Холопов

Я СЛОВО ВСЛУХ ПРОИЗНЕСУ...

Памяти Алексея Петровича Золотина
(1936–2017)



Большинство людей знало А.П. Золотина как высокопрофессионального журналиста. Много лет он работал в областной газете «Знамя». Не будучи по убеждению демократом, он, тем не менее, выделялся из всей среды партийной газеты именно своим демократизмом, в лучшем понимании этого слова. Алексей Петрович был лишен всякого высокомерия, был внимателен к своим коллегам-журналистам, особенно к начинающим. А что касается поэтов, то они пользовались его особым вниманием и даже любовью. Через его руки – руки ответственного секретаря областной газеты, а затем и её редактора – прошли за долгие годы его работы в газетах, наверное, миллионы стихотворных строк, и творчество каждого он помнил, а многих знал лично.

18 декабря 2017 года, в день прощания с Алексеем Петровичем на сельском Корекозевском кладбище, почему-то вспоминалась не журналистская, а его творческая работа, его стихи, посвященные природе, родным местам, где он родился и где написал свои первые стихотворные строки. Теперь он стал неотъемлемой частью любимой им земли. И это немало утешает.

Вспомнилось, как в 1985 году, когда я только пришел работать в областную газету «Молодой ленинец», Алексей Петрович, узнав, что, помимо газетных статей, я пишу еще и стихи, первым подошел и попросил показать ему то, что у меня к тому времени накопилось. Чуть позже он опубликовал подборку моих стихотворений, присовокупив к ней свои добрые, обнадеживающие слова. Как важна тогда была эта поддержка! И это было не в последний раз. Уверен, что подобную ситуацию могут вспомнить и многие другие калужские поэты, уже имеющие свои книги стихов.

Алексей Петрович Золотин – автор пятнадцати поэтических сборников. Как он умудрялся заниматься творчеством, будучи постоянно привязанным к конвейеру журналистской работы – до сих пор остается тайной. А между тем, стихи его печатались в балтийских (Калининградская область), калужских, тульских и московских коллективных сборниках, в журналах «Огонек», «Смена», «Наш современник», «Советский моряк», «Пограничник», «Гражданская авиация» и др.

Гражданская лирика – особая веха в творчестве Алексея Петровича. Он любил и знал Россию, немало поколесил и полетал по её просторам: от Балтийского моря, где в молодости служил в рядах военно-морского флота, до Дальнего Востока. Он понимал величие и мощь России, но он также осознавал и её большие проблемы. Один из последних его стихотвор-

ных сборников не случайно называется «Боль». И главная боль автора – судьба русской деревни, судьба земляков, тревога за их будущее, за нашу национальную культуру, за наш великий русский язык. Бездушная власть денег, ставящая превыше всего личную наживу, собственное благополучие за счет обнищания ближних, была глубоко противна ему. И в этой своей нравственной установке А.П. Золотин был не одинок.

В знак признательности Алексею Петровичу за его человечность, доброту и чуткость к людям, несколько лет назад я посвятил ему стихотворение, которое, знаю, пришлось по-эту по душе.

На Оке

Алексею Золотину

В белой пене небесная влага,
Яркий свет на покров шалаша...
В том искус и великое благо,
Что привязана к телу душа.

Да, не мыслям постичь эту вечность,
Коли жизнь не дана на века,
Оттого и мила мне беспечность,
Что несут над рекой облака.

Оттого мне пожизненно святы
Васильки и ромашки полей,
И старинные серые хаты
Вдоль аллен седых тополей...

Все, что видно мне здесь, с косогора,
Словно птица в полете паря,
Обнимаю душою и взором,
С духом жизни без слов говоря.

Юрий Холопов,

член Союза российских писателей

Алексей Золотин

СТИХИ

* * *

От имени невоевавших
Всем воевавшим говорю:
Любую боль эпохи вашей
Мы ощущаем как свою.

О, время, время,
Дымкой пенной
И в мелочах не затумань
Покрытый пеплом
Сорок первый
И весь в цветах
Победный май.

Те, сорок первый – сорок пятый,
Не просто времени кусок,
Отмеченный кровавой платой
В эпоху новую бросок.

Уже траншеи фронта, тыла
Порой нельзя и различить,
А боль людская не остыла,
Её ничем не залечить.

Каким же огненным каленьем
Калилась ваших душ броня,
Когда и в третьем поколеньи
Нам жарко от того огня!

Рождение зари

Вы видели рождение зари?
...Ночное небо – как крыло воронье,
Но постепенно, словно изнутри,
Сереет –
Подсыхает ткань болонья.

А на востоке,
Палевый слетка,
Весь горизонт –
В подпалинах белесых,
Зазолотились снизу облака,
И вздрогнули листочки на березах.

В кустах прибрежных щелкнул соловей
И разбудил малиновку-зарянку.
И началось!
Кто звонче, кто смелей,
Кто спеть сумеет лучше спозаранку?!

Духмяный воздух –
Хоть пригоршней пей,
Особенно когда с лугов повеет,
А небо между тем
Все голубей,
Макушки тополей –
Все розовее.

Как девица, румянится восток
И, ожидая с солнцем скорой встречи,
Прихорошился,
Расписной платок –
Золототканый –
Натянул на плечи.

И вот,
Как на столешнице цветной
Огромная краюха каравая,
Явилось солнце,
Предвещающая зной,
Начало дню грядущему давая.

* * *

Июльской ночью прихожу
«Лечиться» на Толстову гору.
Сажусь поближе к шалашу
И – радуйся, душа, простору!

Лечись, душа,
Добром лучись!
Здесь невозможно быть недобрым:
И ночь тиха,
И воздух чист,
И все – родное, рядом с домом.

Лоснится озеро внизу.
За ним – луга, Оки излука.
Я слово вслух произнесу,
И вновь – ни пороха, ни звука.

Сверкнет падучая звезда,
Да облако луну заденет.
Какая в мире красота!
Любуйся – просто так, без денег.

Всего-то надо полчаса –
И ты увидишь, не иначе,
Как прорезаются глаза
В душе, вчера еще незрячей.

Сирень-черемуха

Валентину Ермакову

Весною в нашей местности,
Не зная выходных,
Пьяным-пьяны окрестности
От запахов хмельных.

Ни шелеста, ни пороха,
Когда в зените день.
Какая здесь черемуха!
Какая здесь сирень!

Ты помнишь весны юности,
Шальная голова?
Играем и балуемся,
И все нам трын-трава.

Идем к Марному омуту,
Где запахи сильней.
Ты – обрывать черемуху,
Я – обрывать сирень.

Кидали кипень пенную
В стихи – для красоты.
И были перлы первые,
Как те цветы, чисты...

Те весны беспшашные
Далеки-далеки.
Теперь, где безопаснее,
Мы ходим вдоль реки.

А у Марного омута
Нам и гулять-то лень.
А там все та ж черемуха.
А там все та ж сирень.

Ларисе

Устав от беспросветной суеты,
Я глянул вверх – как будто бы спросонок –
И увидал там ровный свет звезды,
Зазывный свет среди сплошных потёмок.

Я до сих пор на этот свет иду
И чувствую: дорога мне посильна.
...Ты мне напоминаешь ту звезду –
Ты светишь так же ровно и зазывно.

* * *

Мне снова отпуск выдался зимой,
Но я не еду к побережьям южным.
Иду в поля –
Дорогой не прямой,
Но большаком, наезженным и людным.

Какая это, право, благодать –
Наедине со снежною равниной
Остаться
И с пристрастьем наблюдать
Её порядок, вечностью хранимый.

Здесь все, как в прошлый, позапрошлый год:
И даже эти разветвления тропок,
И одинокий лисий след вон тот,
И эти вот косицы на сугробах...

Читаю книгу мудрости зимы,
Понятную, как пушкинские строки,
Пытались, знаю, многие умы
Постигнуть этой мудрости истоки.

О, гобеленов снежные холсты!
Искать в них ню, подтексты – не спешите,
Ведь разночтения нет у простоты,
Её у ложной сложности ищите...

К РОССИИ

Снова ливни летние землю оросили.
Вновь заголосили в роще соловьи.
Я пою сегодня песни о России,
Песни о России, лучшие свои.

Извините, девушки, парни, не взыщите,
Что не на лирической нынче я волне.
Мать Россия-Родина просит о защите,
Ну, а плохо Родине – каково-то мне?

Никакую нацию сроду не обидел,
Никакую землю сроду не хулил,
Но – одна-единственная Родина-обитель,
Та, что простирается до самих Курил.

Бесшабашно-радостно разве что бахвалу.
У меня ж от горестей все нутро светло.
Больно рекам северным, тягостно Байкалу,
А селу российскому ой как тяжело...

Из каких бутылицей выпущены джины?
Вместо звуков песенных – микрофонный рык.
Гибнут от коррозии во поле машины,
Гибнет от коррозии прадедов язык.

Представляясь в обществе, забываем отчество.
Так и про Отечество мудрено ль забыть?
Впрочем, что – пророчества?
Крикнуть криком хочется
И в набатный колокол иступленно бить...

...Снова ливни летние землю оросили.
Вновь заголосили в роще соловьи...
Непшто обессилели сыновья России?
Ну-ка мати Родина, кликни-позови!

«СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ. ВСЁ – ПО СУДЬБЕ»

«Люди – не ангелы», но к поэтам это расхожее выражение подходит в особой степени. Их повышенная душевная ранимость, постоянное стремление к всё новым и новым творческим пределам, необходимость внутренней свободы часто оказываются плохо совместимыми с добропорядочной жизнью. Нередко бывает, что талантливый поэт трудно уживается со своими близкими, его отвергает общество, но стихи, написанные им в минуты творческого прозрения, ещё многие годы пробуждают в людях лучшие чувства и становятся достоянием национальной и мировой культуры.

В этой публикации мы вспоминаем двух поэтов с трудной судьбой: самарца Михаила Анищенко (1950 – 2012) и калужанина Вячеслава Щетинникова (1947 – 1995). Они познакомились в Литературном институте, в котором оба учились заочно – долго, с перерывами и всевозможными драматическими коллизиями. В их характере, поведении, отношении к жизни и поэзии было много общего, что укрепило их дружбу на многие годы. И хотя позже связь между ними оборвалась, чувство дружбы не утратилось. Не случайно в одном из писем М. Анищенко говорит о В. Щетинникове: «Мой старый друг».

О жизни и творчестве Михаила Анищенко сегодня можно найти немало материалов, но чтобы представить читателю альманаха этого замечательного поэта, мы выбрали отрывок из статьи Евгения Евтушенко «Веничка Ерофеев из Самары», опубликованной десять лет назад в газете «Новые известия»:

«...Когда я прочел три его стихотворения, напечатанные Олегом Хлебниковым, то сразу понял, что наконец-то пришел долгожданный большой русский поэт. Михаил Анищенко – лучший подарок читателям поэзии за последние лет тридцать, если не больше.

Михаил родился в рабочей семье. Родители были литейщиками, да и он сам – поначалу. Но крестьянская кровь предков сказалась в характере, потянула к природе, к народным песням, а потом уже и к собственным стихам. В 1977 году его приняли в Литинститут. В 1979-м вышла в Самаре первая книга – «Что за горами». ЦК комсомола дал ему премию Николая Островского. Комсомольским боссам требовались поэты, которых можно было бы выставить против шестидесятников. Но Анищенко не давался в руки, как, впрочем, и Рубцов, с которым у меня была самая братская дружба.



М. Анищенко



В. Щетинников

Но, как Есенина и Рубцова, московская псевдобогемная воронка закрутила, завертела Мишу. Его трижды исключали из института — за что, объяснять не надо, — и он получил диплом лишь в 1988 году. Каким-то образом во время перестройки стал одним из помощников самарского мэра. Но, увидев, как люди не выдерживают испытания властью и деньгами, проникся идiosинкразией к политике. Уехал в деревню, несколько лет пытался жить одним огородом. Раздражал своей откровенностью и непохожестью тех, кто любит паханствовать. Из зависти и в отместку его начали преследовать, даже избивали. Когда я дозвонился до него и спросил, чем он занимается, невесело ответил: «Бомжую...» А потом прислал мне две дискеты со стихами — одно лучше другого. Я тут же составил его книгу, назвал ее по одному из стихотворений — «Оберег». Ищу издателя.

Такие люди иногда валяются на дорогах.

Но такие поэты на дороге не валяются.

Не прогляди этого поэта, Самара. И ты не прогляди, Россия. Мы же тебя называем Рос-
сией-матушкой. Так будь матерью своим поэтам».

(«Новые известия», 3 августа 2007 года)

Александр Трунин

Неделя переписки с Михаилом Анищенко

Впервые я услышал о Михаиле Анищенко осенью 2010 года одновременно от двух литературных дам, которые встретили его на встрече выпускников Литинститута.

Одна из них описывала эту встречу так: «Гляжу, сидит в коридоре у стенки маленький человек со стопкой книг, смотрит жалобно и говорит всем: «Я поэт, возьмите мою книжку...» Никто к нему не подходит. Я подошла, разговорились. Он рассказал немного о своей нелёгкой жизни в деревне. Дал мне книгу. И как оказалось, поэт он просто замечательный...»

Другая дама всё видела совсем иначе: «Иду по коридору, вдруг слышу громкий голос: «Что проходите мимо поэта... Возьмите книгу. Слышите, возьмите книгу». Думаю: «Что за наглый тип...» И скорее мимо прошла. Так это и был ваш Анищенко?».

Ситуация показалась забавной, но личность поэта меня заинтересовала. Я нашёл его стихи в интернете и был так поражён их силой и свежестью, что – впервые в жизни – решил написать поэту, с которым не был знаком лично. Электронного адреса его найти не смог, но увидел в интернете, что живёт он в селе Шелехметь Самарской области. На этот краткий адрес и отправил я письмо по обычной почте без всякой надежды получить ответ. У меня было ощущение, что пишу я на деревню дедушке. В письме указал свой электронный адрес. И к моему безмерному удивлению, недели через две на него пришло письмо от Михаила Анищенко.

* * *

24 декабря 2010

Здравствуй, Александр.

Был рад вашему письму. Но вынужден огорчить вас, поскольку моих книг вы нигде купить не сможете. Если же вас интересует моя нынешняя работа, то можете почитать стихи на сайте “Литературная губерния”, а в начале января на сайте “45 параллель”. А ещё высылаю вам небольшую подборку, которая только что опубликована в Канаде. Может быть, какие-то стихотворения вам уже знакомы, но не огорчайтесь: как-нибудь порадую вас и другими стихотворениями.

Передавайте привет женщине, что помнит меня. Спасибо.

Всего доброго.

Михаил Анищенко

Не за то...

Не смотри, не смотри ты вослед журавлю,
Не грусти у ночного порога...
Все равно я тебя больше жизни люблю,
Больше Родины, неба и Бога!

Возле мокрых заборов, соломы и слег
Я люблю тебя тихо и нежно -
Не за то, не за то, что, как дождик и снег,
Ты была на земле неизбежна.

Не за то, что сгорала со мною дотла
И неслышно в сторонке дышала,
А за то, что все время со мною была,
И, как смерть, — мне ни в чем не мешала!

* * *

Год за годом. Каждый год
Нет тебя. И карта бита.
Это — выход, это — вход,
Суть разбитого корыта.

Днем и ночью, там, где ты,
Нет ни выхода, ни входа.
Надоело рвать цветы,
Ждать нелепого исхода.

Год за годом тот же сон,
Те же отзвуки бессмертья.
Тихо падает с икон
Пыль прохожего столетья.

В черной комнате беда,
Худоба одна худоба.
Тихо тянутся года
От подгузников до гроба.

Днем и ночью... Черт возьми!
Всюду морок да изъяны...
Перед тем, как стать людьми,
Долго плачут обезьяны.

Я воду ношу

Я воду ношу, раздвигая сугробы.
Мне воду носить все трудней и трудней.
Но как бы ни стало и ни было чтобы,
Я буду носить ее милой моей.
Река холоднее небесного одра.

Я прорубь рублю от зари до зари.
Бери, моя радость, хрустальные ведра,
Хрусти леденцами, стирай и вари.
Уйду от сугроба, дойду до сугроба,
Три раза позволю себе покурить.
Я воду ношу — до порога, до гроба,
А дальше не знаю, кто будет носить.
А дальше — вот в том-то и смертная мука,
Увижу ли, как ты одна в январе,
Стоишь над рекой, как любовь и разлука,
Забыв, что вода замерзает в ведре...
Но это еще не теперь, и дорога
Протоптана мною в снегу и во мгле...
И смотрит Господь удивленно и строго,
И знает, зачем я живу на Земле.

Опала

Встань, пройди по черноталу
И, планиду не коря,
Полюби свою опалу,
Как награду от царя.

Тучи, демоны, враги ли —
Помни, падая без сил:
Ни одной слезы Вергилий
В круги ада не пролил.

Через годы, беды, даты,
Сквозь божественную муть,
Жизнь проходит, словно Данте,
Позабыв обратный путь.

Но, стена и тоскуя,
За соломинку держись
И люби её такую,
Непохожую на жизнь.

Не сдавайся лилипутам.
В темноте вороньих стай
Пей проклятую цикуту
И Сократа поминай.

24 декабря 2010

Спасибо, Михаил, за стихи! Редко в последнее время так бывает, чтобы от современной поэзии наворачивались слёзы и захватывало дух... Надеюсь, когда-нибудь и книги Ваши выйдут таким тиражом, чтобы они дошли до всех желающих. Но интернет тоже выход. Буду следить за публикациями.

Всего Вам доброго.

С глубоким уважением,

Александр Трунин

24 декабря 2010

Спасибо, славный человек Александр!

Мне так же радостно, как и вам. Постараюсь к Новому году подарить вам новые свои стихотворения.

И вот ещё что... Не знаете ли вы, как умер в Калуге мой старый друг Слава Щетинников? Я совсем недавно узнал о его смерти. Если что-то знаете, напишите, очень прошу вас.

С уважением,

Михаил Анищенко

26 декабря 2010, 18:08

Спасибо, Михаил! О таком щедром новогоднем подарке, как Ваши стихи, я и не мечтал. Что могу написать о Славе Щетинникове... Я приехал жить в Калугу лет 12 назад, и уже не застал его в живых. Мне рассказывали о нём как о хорошем поэте, ярком человеке. Погиб он трагически. Заснул, оставив непотушенной сигарету, от неё загорелся матрац... Среди моих знакомых есть несколько человек, которые его знали лично. Если Вас интересуют подробности его жизни в Калуге, могу порасспрашивать.

Всего доброго.

Александр Трунин

26 декабря 2010

Спасибо, Александр.

Слава Щетинников был очень дорог мне, хотя судьба каким-то образом развела нас на несколько лет, именно в это время он и погиб. Постараюсь написать стихи, посвящённые ему. Может быть, и ваши друзья напишут воспоминания о нём? А я постараюсь опубликовать всё это на каком-нибудь хорошем поэтическом сайте, поскольку, пребывая в нищете, не могу даже думать, чтобы издать его книгу.

Всего доброго. Если бы не было таких людей, как вы, наверное, я давно бы уже не жил.

Спасибо. Всего доброго!

Михаил Анищенко

Горе моё

В мире нелепостей и подзатыльников,
Жил, воспевая былые грехи...
Как ты на небе, Слава Щетинников,
Всё ещё плачешь и пишешь стихи?

Пусть там немного Авдеев подвинется,
Место твоё, как всегда, у окна.
На Добролюбова, девять-одиннадцать,
Виден твой парусник в море вина.

Память горчит, шельмоваты радения.
Только твой парус белесет в судьбе.
Девять-одиннадцать: мой день рождения,
Нужный, как помнится, только тебе.

Господи, как же мы жили неистово!
Слава и Миша... И крысы – шуршат...
Впрочем, ещё у Володи Денисова,
В час твоей гибели стыла душа.

Всё после нас на земле перепахано.
Трудно ли горе в труху истолочь?
Чуть не забыл. Но у Вити Чувакина
Лопнул сосуд в ту же самую ночь.

Вот я и выполнил своё обещание. Может быть, вам, Александр, удастся напечатать его в каком-нибудь издании в Калуге?

“Девять-одиннадцать” – адрес общежития Литературного института и это же дата моего дня и месяца рождения. Чтобы было понятно.

Всего доброго.

Михаил Анищенко

27 декабря 2010

Хорошее трогательное стихотворение, Михаил! Очень хочется его опубликовать. Может быть, удастся действительно подборку материалов сделать. В январе будем встречаться – предложу всем, кто знал Вячеслава, подумать над этим.

А люди, названные в стихотворении, это ваши друзья по литинституту? Когда вы там учились? Меня миновала сия достойная участь. Но здесь немало его выпускников.

Александр Трунин

27 декабря 2010

Здравствуйте, Александр.

Да, все эти люди – друзья по Литературному институту. Я учился с 1977 года по 1988 год, разумеется, в разных семинарах. Заканчивали учёбу мы вместе со Славой Щетинниковым. Да, Александр, чуть не забыл: вчера один мой состоятельный друг, Виктор Чувахин, спрашивал о жене и дочери Славы. Не бедствуют ли они в нищете? Не знаю, но, может быть, Виктор смог бы им чем-то помочь.

Может быть, мы приедем в Калугу, чтобы почтить память хорошего человека и нашего друга.

До свидания.

Михаил Анищенко

28 декабря 2010

Добрый вечер, Михаил! О жене и дочери Славы постараюсь узнать. Тогда напишу. Хорошо, что есть люди, готовые помочь в трудную минуту. Приезжайте в Калугу... Поговорите с теми, кто знал вашего друга достаточно близко. А ещё – если вы не против, организуем ваш поэтический вечер. Мне очень хочется, чтобы вас услышали здесь. И ещё одно предложение. Я сейчас говорил с хорошей поэтессой Мариной Улыбышевой, которая входит в редколлегию тарусского журнала “Траектория творчества”, так вот она спросила, не дадите ли вы подборочку стихов в этот журнал. Он, к сожалению, безгонорарный, находится ещё только в стадии становления, вышло несколько номеров. Тираж 1000 экз. Будет желание – присылайте.

Удачи вам.

Александр Трунин

28 декабря 2010

Спасибо, Александр. Как хорошо, что есть незнакомые люди, что, как родные, понимают всё с полуслова. В Калугу постараемся приехать. Когда – не знаю. Пока обстоятельства сильнее меня. В тарусском журнале напечататься с удовольствием. Я очень люблю Николая Заболоцкого, и у меня есть цикл стихотворений, посвящённый ему. А на стихотворение “Небо” написана очень хорошая песня группой из Тулы – “Два начала”. О гонораре беспокоиться не надо.

А почему бы, Александр, вам не отдать Марине Улыбышевой стихи, которые я прислал вам. Или вы их не получили?

Всего доброго.

Михаил

28 декабря 2010

Да, Михаил, все наши знакомые и даже близкие когда-то были незнакомыми)) Вы имеете в виду “Русские стихи” с пометкой “Канада”? Я их получил и прочитал с большим воодушевлением. Михаил, подтвердите на всякий случай, что речь идёт именно об этой подборке. И ещё разрешите переслать ваш e-mail Марине, чтобы информацию о публикации вы могли иметь из первых рук.

Александр

28 декабря 2010

Александр!

Я рад нашему знакомству. Случайностей не бывает. Всё – по судьбе.

Да, я говорю именно об этой подборке. Если же Марина пожелает что-то другое, охотно пойду ей навстречу. Адрес мой, конечно же, надо дать.

С уважением,

Михаил Анищенко

29 декабря 2010

Я тоже очень рад, Михаил, нашему знакомству!

Всё же полезная вещь компьютер, когда он в хороших руках. Конечно, в традиционной переписке была своя прелесть – ожидание, волнение, конверт с марками, почтовая бумага, почерк, запах письма... Я одно время увлекался изучением эпистолярного творчества Чехова и других писателей – это громадная и важная часть жизни, запечатлённая в слове. Зато теперь можно обменяться посланиями в несколько секунд. Что-то теряем, увы, но что-то находим.

Стихи и адрес я Марине переслал. Буду очень рад за читателей журнала, если в нём появятся ваши стихи.

С уважением,

Александр

31 декабря 2010

С наступающим Новым годом, Михаил!

Прошедшему – я благодарен за то, что он подарил мне встречу с Вами. Это встреча с живым воздухом поэзии, которым не надышишься. Желаю Вам большого творческого счастья, а к нему – всех необходимых благ. Ну и для знакомства – несколько старых стишков. Всего Вам доброго и светлого.

31 декабря 2010

С Новым годом, Александр!

Будем верить, будем жить. Чем меньше сокровенного русского становится в нашей жизни, тем больше нашего будущего впереди. Как пишет замечательная девочка Мария Протасова: “Империя сдохла? Шип! Мечтатели, не дождётесь!”

А ещё радостно, что вы не просто человек, понимающий поэзию, но и к тому же хороший поэт. Об этом можно с уверенностью говорить даже по нескольким вашим стихотворениям. Музыка, вибрации, как у Николая Рубцова – хорошо, Александр. Пишите, пишите. Помните, что то, что сможете написать вы, не сможет написать никто другой. Это главная тайна поэзии.

Всего доброго. Кошка – зверь свободный, магический. Что-то будет!

Михаил.

И подарок вам: стихи, написанные нынче ночью. Я их ещё не правил, черновики. Но всё равно – дарю.

Русский дом

Ночью, в России, ловлю отголоски
Ропота черни и звона цепей.
Холодом каторги папа Домбровский
Дышит над чёрной лежанкой моей.

Где-то жуют ананасы буржуи,
Жареных рябчиков в глотки маня...
Мама Цветаева корку ржаную
Парит в горячей воде для меня.

Жалкие плечи, седеющий локон,
Пёрышко лука на зимнем окне;
И фотография дедушки Блока
Вместо иконы на жёлтой стене.

Беглость объятий и лёд поцелуев,
Запах картошки на ржавом ноже.
Вот и двоюродный дедушка Клюев
Тоже от голода пухнет уже.

Больше не слышится голос кукушкин,
Зябликов ловят голодные пси.
Месяц на небе сияет, как Пушкин,
Лермонтов выюгой идёт по Руси.

Будто бы тысячу вечных вопросов,
От золотой головы отстраня,
В печку кидает парик Ломоносов,
Чтобы согреть хоть немного меня.

Я в неизвестность гляжу из тулупа,
Вижу другую Россию сквозь мрак.
Где-то в тарелках горячего супа
Плавает ранний и злой пастернак.

Я уже плачу, но плача не слышу.
Мама тревожно глядит мне в зрачки.
Бродят в потёмках голодные мыши,
Мёрзнут за печкой ручные сверчки.

Нет у нас хлеба, свечей и одежды,
Только вода на седьмом киселе...
Гибель любви, прозябанье надежды,
Видишь ли, Господи, Ты на земле?

Чу! За окном суматоха и ржанье!
Кто-то идёт, раздвигая пургу...
Дверь открывается. Входит Державин.
Весь в золотом Царскосельском снегу!

Господи Боже! Горят канделябры!
Мёд вересковый течёт по устам!
Значит, пора мне вставать и карябать
Вечным пером по тетрадным листам.

Значит, ещё нас косой не скосил,
Значит, ещё нас не выжгли огнём.
Дедушка, бабушка, мама, Россия,
Любим, надеемся, верим, живём!

Юрий Холопов

О жизни и смерти поэта Вячеслава Щетинникова

(к 70-летию со дня рождения)

Вячеслав Михайлович Щетинников родился 28 сентября 1947 года в Калуге. Отец его, участник Великой Отечественной войны, Михаил Сергеевич Щетинников, был родом из Бабынинского района. Немало его родственников проживало в старом селе Муромцево, что и поныне стоит на трассе Калуга – Вязьма. Семья калужских Щетинниковых была небольшой: Слава – старший ребенок, рядом росла младшая сестренка.

В детстве и юности Слава нередко бывал в Муромцево у бабушки и у других родственников. У него остались добрые воспоминания об этом русском селе, расположенном недалеко от Угры в очень красивом месте.

Писать стихи Слава Щетинников начал рано, еще в пионерском возрасте. В 1960-х годах он печатался в областных газетах: комсомольской «Молодой ленинец» и партийной «Знамя».

По складу своей души начинающий поэт был лириком, его поэтический мир во многом родственен поэтическому миру уроженца Вологодчины – Николая Рубцова. Поэт-калужанин этого не отрицал, но всегда говорил, что у него свой собственный голос. Так оно и было.

Вячеслав Щетинников был человеком повышенной эмоциональности, вспыльчивым, но отходчивым, по природе своей добрым, способным поделить последнюю копейкой, и порой очень доверчивым. Был он чуть выше среднего роста, худощавым, жилистым. Волосы имел темно-русые, носил черные усы, которые ему очень шли. Его карие глаза при оживленном разговоре часто искрились. В общении был прост и обаятелен. Но мог сказать и резкое слово.

В середине 1960-х он стал студентом факультета русского языка и литературы Калужского государственного педагогического института им. К.Э. Циолковского, но, проучившись около года, оставил учебу.

Трудовая книжка поэта Щетинникова изобилует записями различных отделов кадров всевозможных предприятий и организаций Калуги. Всего таких записей более тридцати! Есть и «волчья статья» – об увольнении за нарушение трудовой дисциплины. С точки зрения советского трудового законодательства, перед нами типичный «летун». Он работал механиком на швейной фабрики им. Н.К. Крупской (ПШО «Калужанка»), литературным сотрудником Ульяновской районной газеты «По заветам Ленина», радиокорреспондентом Калужского машзавода, слесарем Калужского радиолампового завода, сторожем ОВД, редактором заводского радиовещания КЗТА, мастером лесотранспортного цеха, слесарем Калужского автотремонтного завода...

Поэт не был бездельником, но он не успел в молодости получить высшего образования, а рабочая среда была все-таки не его средой, хотя с ним запанибрата были многие калужские работяги. Он много читал, постоянно занимался самообразованием, имел хороший вкус, но отсутствие высшего образования не только отодвигало его от среды интеллигенции, но и самого поэта сильно угнетало. А одновременно учиться и работать было ему очень нелегко...

Трагедия состояла в том, что совсем молодым, в возрасте 22 лет, Вячеслав Щетинников стал на всю жизнь инвалидом. Как-то летом 1969 года они вдвоём с другом Юрой взяли в продуктовом магазине Калуги бутылку портвейна и зашли в подъезд соседнего дома, чтобы ее осушить. К ним пристали два молодых хулигана, после короткой перебранки они стали избивать Юру. Щетинников бросился на помощь другу: он легко справился с одним, но другой выхватил нож и принялся, стоя выше на ступенях, с остервенением наносить Вячеславу удары ножом в голову и плечи. Когда вооруженный хулиган убежал, жители подъезда вызвали скорую помощь.

В больнице врачи едва спасли жизнь молодому поэту. Он долго лежал в нейрохирургическом отделении областной больницы, ему делали трепанацию черепа. Вышел «на волю» Щетинников уже инвалидом II группы.

Но судьбе было угодно нанести Вячеславу еще один удар. Может быть, более страшный: пока он проходил долгий курс лечения в больнице, его молодая жена изменила ему с тем же самым Юрой, за которого он, заступившись, так сильно пострадал. Узнав об измене, Вячеслав пришел к жене на работу (она работала в отделе писем областной газеты «Знамя») и устроил супруге разборку с применением физической силы. На шум сбегались журналисты областной партийной газеты. С этого времени путь молодому поэту в областную газету был надолго закрыт, а его самого коллеги-журналисты вскоре исключили из Союза журналистов СССР «за аморальное поведение».

Все это сильно отразилось на здоровье и психике поэта. Бывали времена, когда он чувствовал себя физически и морально очень плохо.

А в хорошем, здоровом расположении духа Вячеслав был обаятельным, словоохотливым и очень интересным собеседником (разумеется, не с каждым). Хорошо знал русскую литературу, хранил в памяти множество стихов. Для него поэзия была единственным делом, которому можно служить всю жизнь. Щетинников хорошо разбирался в людях и сразу угадывал, стоит ли начинающему поэту дальше продолжать работать над словом или лучше сразу бросить. Он не стеснялся говорить об этом прямо, чем наживал себе недоброжелателей.

В калужской писательской организации поэта Щетинникова знали еще задолго до его вступления в Союз писателей СССР. Отношение к нему писателей было различное: одни жалели, любили и ценили его (это были более даровитые), а другие (те, что поплотше) не любили, относились к нему свысока. Вячеслав страстно мечтал стать членом Союза писателей. Но дело шло туго.

Только в 1976 году в «Приокском книжном издательстве» (Тула) вышел коллективный сборник калужских поэтов «Молния в сердце», где впервые была опубликована подборка стихов В. Щетинникова «Желанный август» из шести стихотворений, и автор попал в ряд «молодых, подающих надежду калужских поэтов...». Когда он получил этот коллективный сборничек стихов в руки, ему уже было почти 30 лет.

В конце семидесятых Вячеслав Щетинников сдал вступительные экзамены в Литературный институт им. М. Горького на отделение поэзии. Учился он заочно, долго и мучительно, с большими перерывами. Причина была, в основном, в его слабом здоровье и в склонности к алкоголю. Поэтические семинары в группе, где он учился, вел известный советский поэт Анатолий Жигулин. Будучи студентом, во время одной из сессий, Вячеслав в нетрезвом состоянии разбуянился и выбил напрочь дверь одной из комнат в институтском обще-

житии. Над ним нависла угроза отчисления из вуза. От отчисления из института его спасли Анатолий Жигулин, очень высоко ценивший стихи поэта из Калуги, и наш земляк, калужанин, прозаик Роман Федичев, который, обучаясь на очном отделении, входил в состав студенческого совета литинститута. Именно Роман Федичев и познакомил автора этих строк с Вячеславом Щетинниковым в общежитии литфака КГПИ (ныне переулок Воскресенский, 4) осенью 1978 года. Вячеслав нередко попадал в студенческое общежитие литфака Калужского государственного педагогического института через окно первого этажа. Как правило, он уже был подшофе, а в кармане его находилась бутылка «красного». Но приходил он не ради пьянства, его появление всегда сопровождалось разговорами о литературе с обязательным чтением стихов. Благо, стихотворцев на литфаке в то время было очень много.

В девяностом году Щетинников наконец-таки закончил Литературный институт. Печатался он во многих газетах и литературных журналах, в том числе — всероссийских. В начале 1990-х в «Нашем современнике» вышла большая подборка его стихов.

Первый, отдельный поэтический сборник Вячеслава Щетинникова увидел свет в Приокском издательстве в 1985 году, когда поэту было уже 38 лет. Назывался сборник «Осень у переправы».

«Приспали» калужские писатели талантливого коллегу! Да не совсем... Через шесть лет, в 1991 году, вышел в той же Туле, в том же издательстве, последний поэтический сборник Вячеслава Щетинникова «Когда душа приговорила». Поэта из Калуги уже невозможно было не заметить, его приняли в Союз.

Но времена менялись, статус писателя стал стремительно падать вместе со многими другими статусами СССР. Это было еще одним ударом для поэта. Рушились его надежды зарабатывать себе на хлеб выступлениями от бюро пропаганды Союза писателей, а не рабочими специальностями, которых у Щетинникова было много, но для которых не хватало здоровья. Вскоре начал трещать по швам Литфонд СП.

Непроста была и личная жизнь поэта. Вторую его жену звали Людмила. У них был единственный ребенок — дочка, которая родилась больной. Это была вечная боль супругов и родственников, нелегкий крест, хотя Вячеслав бодрился и скрывал свою горькую от посторонних глаз.

В 1992 году поэт Щетинников наконец-то устроился на работу, соответствующую его литературному дарованию, — стал редактором поэзии калужского книжного издательства «Золотая аллея». На этой работе все его хвалили за усердие и честность. Впрочем, он не только рецензировал и редактировал чужие рукописи, но и выполнял функции менеджера: заключал договора, развозил по магазинам страны книги издательства, в котором он проработал до самой своей трагической смерти 6 июня 1995 года.

В этот день Вячеслав, лечившийся у нарколога от алкоголизма, поддавшись на уговоры одного своего «друга», выпил спиртное и потерял контроль над собой. В бессознательном состоянии он уронил окурки на немецкий синтетический палас и задохнулся в дыму, при этом сильно обгорел. Пожарных ночью вызвала старушка-соседка, но было уже поздно...

Хоронили Вячеслава Щетинникова писательская организация, издательство «Золотая аллея», немногочисленные родственники. На похоронах были старый отец, который ненадолго пережил сына, и младшая сестра поэта. У неё же на квартире были затем поминки. Похоронен Вячеслав Щетинников на Литвиновском кладбище г. Калуги.

Вячеслав Щетинников

* * *

Ухожу в весеннюю погоду,
Ухожу в прозрачную природу –
Ручейками вымытую Русь.
Просветлённым
Я домой вернусь.
А в полях не грязь –
Земля и только,
Грязь бывает лишь по городам.
Пусть с улыбкой удивится кто-то,
Что, как грач, хожу я по полям,
Что стихи такие неуютные,
Что с годами голос не затих...
Подгоняют ветерки попутные.
Как мне, беспокойному, без них?
Я в пути.
И сердце бьётся чаще,
И в душе – заветные слова.
От простора, солнца – как от счастья –
Бедная кружится голова.

Закат

Над бором солнце ниже,
Ниже –
Уже заходит за Угру, -
Сейчас, наверно, над Парижем
Оно струит свою жару.

Парижу душно,
Сохнет Сена,
Машины мечутся, ревут...
У нас в округе
Сушат сено,
В Калугу запахи плывут.

Июнь
Щедрее на исходе
Играет красками в бору.
А солнце медленно заходит
На запад,
За реку Угру.

Вот напоследок вспыхнет маком,
Как бы судьбе наперекор,
И кончено.
В росе и мраке
Замрёт, как вымрет,
Вещий бор.
Но этот всплеск огня и света,
Что на прощанье душу жжёт,
Как поцелуй твой,
До рассвета
Не отторит,
Не заживёт.

* * *

Пусть,
Как по рельсам,
Мчатся годы –
В знакомый лес ведут следы:
Здесь,
В глубине родной природы,
Кипит родник моей судьбы.

Судьба меня не баловала –
В больницах много дней прошло.
Что ж,
На Руси не то бывало,
И всё же семечко взошло...
Оно взошло
И стало вербой
В цвету,
Наперекор зиме.
В такую землю нужно верить
И удивляться ей, земле!

А умереть –
Так раствориться
В зелёной вечности земной,
Как будто заново родиться
И быть всегда самим собой.

* * *

Подрастай поскорее, доченька,
Пить из соски переставай,
По родной земле
Что есть моченьки
Ножки лёгкие переставляй.

Я ведь знаю –
И сам был маленький –
Как несладок детский режим.
Подрастёшь,
Мы тайком от маменьки
В лес по ягоды убежим.

Будет греть – улыбаться солнышко,
Будет баловаться ветерок.
Хорошо –
Из леска да в полюшко,
С бугорочка на бугорок...

Крещение

Январская звёздная ночь за окном.
Сестра приказала: «Конец разговорам».
Не спится. Я встану, оденусь, тайком
Пройду из палаты в тупик коридора.

Уже в ординаторской спит медсестра,
В соседних палатах до святости тихо.
Куриль и маячить, видать, до утра.
Опять на душе от бессилия лихо.

Я в эти минуты совсем одинок.
В снотворных таблетках не вижу спасенья...
Шаги. Старичок подошёл на дымок,
Сказал, прикурив:
– А сегодня Крещение.

Сказал и умолк. Будто задал вопрос.
И ждёт, и глядит на меня сиротливо.
– Отец, значит, нынче крещенский мороз?
– Крещенский, – промолвил он тихо, счастливо.

...Три года в больницах. Устала душа.
То сникнет, то жаждет какого-то мщенья.
Как будто забыла, что жизнь хороша
Хотя б потому, что сегодня Крещение,

А значит, ударил крещенский мороз,
Ударил талантливо и знаменито...
И плавает въедливый дым папирос.
А форточка на зиму прочно забита.

* * *

Женщина любила чистоту,
В комнате порядок наводила —
Мыла пол дощатый поутру,
Чтобы дома всё желанным было.

Женщина любила простоту.
Тем, кто заходил её проведать,
По-хозяйски подвигала стул,
Предлагала вместе пообедать.

Косы туго стянуты узлом,
Взгляд печальный и устало-долгий.
В этой жизни ей не повезло,
Женщине заботливой и доброй.

В шкафчике креплёное вино.
Для кого оно? — кривились губы.
На работе славил её:
— Вот бы счастье вечное кому бы!

И она чего-то всё ждала,
Верила, надеялась, любила.
Как жила она, так и жила,
И порядок в доме наводила.

* * *

Родимый край, глубинка, глухомань.
Дремучий лес,
Полыни запах древний.
И лишь тревожит пасмурную рань
Крик петухов горластых на деревне.

И здесь — среди лесов, лугов, полей,
Где жизнь своё являет первородство,
Вдруг ощутишь острее и больней
То счастья взлёт,
То горькое сиротство.

И нестерпимо хочется лететь,
Лететь свободно,
Празднично — как птица.
И неужели надо умереть,
Чтоб с небом и землёй соединиться?

(Публикацию подготовили Александр Трунин и Юрий Холопов)

Марина Улыбышева

СТРАДА ПОЭТИЧЕСКАЯ

Шестидесятые, как времена.
Поэзия страну встряхнула за уши
Евгений Евтушенко

Сегодня иногда задаются вопросом, что случилось с нашей поэзией? Почему в 60-е годы поэт мог собирать стадионы, а сейчас и камерные залы заполняются кое-как? Куда подевался интерес публики?

По-моему, ответ очевиден. В 60-е годы мы наблюдали гипертрофированный интерес к поэзии, не вполне нормальный. Тогда поэты – люди, которые по большому счёту являются маргиналами, вдруг стали собирать стадионы, как учителя и пророки. Конечно же, потому, что настоящие учителя и пророки в это время сидели в тюрьмах или психушках, были совершенно изолированы от имеющих уши или просто держали язык за зубами. Книжки, которые говорили что-то по-настоящему полезное для души, были запрещены. Понятно, что у людей в массовом порядке наблюдался духовный голод, у них не было духовной пищи. Поэтому они собирали крохи этой пищи везде, где придётся – в выхолощенном советском кино, в звенящих лозунгами постановках театра, в литературных журналах и, конечно, на выступлениях поэтов.

Тем более, что в 60-е годы слегка приоткрыли шторы. И народ жаждал слова Истины. В такие моменты и у пишущих и у слушающих (читающих) обостряется слух к аллегориям, намёкам, контекстам. Например, вполне безобидные строки «Замки стареют, ветшают заветы – жить беззаветно по силам едва...» можно было прочесть и как политический призыв. В том плане, что «ленинские заветы» (советский стереотип) изнашивались и пришли в негодность и «жить беззаветно», отдавая весь свой комсомольский или коммунистический пыл Родине, уже едва ли возможно.

В грохочущей газетно-телевизионной лжи люди хотели и искали крамолу, потому что душа восставала против фальши. Они находили крамолу даже там, где её не было – в стихах Вознесенского, Евтушенко, Окуджавы, Ахмадуллиной. Крамола была, например, у Наума Коржавина:

Мне жаль вас, майор Гагарин,
Исполнивший долг майора.
Мне жаль... Вы хороший парень,
Но вы испортитесь скоро.
От этого лишнего шума,
От этой сыгранной встречи,
Вы сами начнете думать,
Что вы совершили нечто, –
Такое, что люди просят
У неба давно и страстно.

Такое, что всем приносит
На унцию больше счастья.
«На полёт Гагарина»

Но после арестов и отсидок такие поэты разделяли своё творчество на официальное и неофициальное (самиздатовское, доступное малому числу).

Кстати, похожий поэтический бум наблюдался и в 20-е годы XX века. Я думаю, по тем же причинам. Когда у людей рушатся идеалы, они ищут слова Истины, без этого слова жить трудно. Похожее отношение к поэтическому слову можно наблюдать и в тюрьмах, лагерях, то есть в условиях обделённости, духовной нищеты.

Сегодня для того, чтобы повторить всплеск интереса к поэзии, похожий на 20-е и 60-е годы, нужно, как минимум, опять выстроить кастрированную идеологию, запретить ряд книг и прочее. Надеюсь, это невозможно. Не хотелось бы повышать интерес к поэзии такой ценой. Сегодня ситуация иная.

Шлюзы открыты настолько, что нас этим потоком просто снесло. В таких бурных течениях наверх подымается обычно грязь – графоманское, пошлое, неумное, среднее... Всего этого столько, что искать настоящее – всё равно что искать иголку в стоге сена или жемчужину в куче компоста. В такие периоды потенциальный слушатель инстинктивно сужает свой интерес к слову, чтобы не наглотаться всякой дряни. Наверное, это нормальная защитная реакция.

Кстати, надо отдать должное, нынче отдельные представители поэтического цеха тоже собирают если не стадионы, то филармонические или другие залы, например, раздеваясь перед публикой или применяя другие приёмы эпатажа. Об этом и говорить особо не хочется. Не хотелось бы повышать интерес к поэзии и такой ценой.

Но есть и другие, ставшие популярными, имея при этом очень невысокого качества тексты. Это тоже любопытный феномен, анализируя который можно сделать неутешительный вывод – примитивное стихосложение сегодня отвечает низкому вкусу публики, которая просто не может оценить настоящую поэзию. Ей она кажется сложной, заумной, непонятной, скучной: «А Мурку можешь?»

Что же остаётся? Смириться? Ни в коем случае! Просто заниматься рутинной каждодневной работой по просвещению. Сеять и сеять зёрна вкуса, понимания, сопереживания. Это трудно и неблагодарно. Но нужно. Хотя, кстати, почему неблагодарно – очень благодарно! Знаю по опыту – люди запоминают такие встречи на всю жизнь.

Ситуация, наверное, могла бы поменяться в лучшую сторону, если бы в системе образования ввести основы греческого и латинского языка, древнерусского языка, предмет история искусств, музыку, танцы, уроки этикета. И, конечно, пересмотреть методики преподавания литературы, её уроки сегодня в большей степени отбивают интерес к чтению, нежели его развивают. Поэтому что-то нужно делать и для того, чтобы наши министерства как-то хотя бы приблизились к пониманию этой проблемы.

Знаете, с какой фразы начинал читать ребёнок в церковно-приходской школе (которые мы сегодня по сложившемуся, увы, стереотипу мажем чёрной краской)? «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых». Чтобы прочесть это начало псалма, надо было понимать прекрасный, сложный и возвышенный смысл прочитанного. Это не примитивное – «Мама мыла раму».

Не хотелось бы заканчивать на печальной ноте. Надежда умирает последней.

Как говорил Александр Сергеевич Пушкин: «Нет, весь я не умру... доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Сегодня – он не один. Сегодня бум наблюдается не среди читающих, а среди пишущих. Вращаясь в этой среде, я знаю по-настоящему интересных поэтов, глубоких, умных, талантливых. Тех, кто платит за своё вдохновение высокую цену страдания (а без страдания нет поэта. Трудно поверить, что Пушкин написал свои «Маленькие трагедии» шутя, от нечего делать). Любопытно, что в слове страдание – есть и выстраданное и страда, то есть напряжённая большая работа.

Так что пока с нашей поэзией всё в порядке!

Вячеслав Черников

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДМИЛЫ КИСЕЛЕВОЙ

О книге Людмилы Киселевой «Испытаниями растем»

(«Ноосфера», Калуга, 2016)

“В начале было Слово” – так начинается Евангелие от Иоанна. Дальше говорится: “И Слово было Бога, и Слово было Бог”. Сказано весомо и высоко... И если было начало, если определено, что оно было столь значительно, то значит ли это, что кроме Слова и понимания этого Слова, больше ничего не было?

А еще была Вера!

Писатели говорят, что литература – это слово. Скажу: литература – только ощущение, то есть ощущение жизни, а не сама жизнь. Жизнь монтажна, событийна и конкретна делами, помыслами, стремлениями. Вот о сути жизни и новая книга Людмилы Киселевой.

Книга эта составлена из писем Киселевой многочисленным адресатам – старым и новым друзьям, почитателям ее творчества, благотворителям и властным структурам и, конечно, инвалидам, немощным – всем, кто обращается к Людмиле Георгиевне в надежде на реальную помощь и сострадание. Она – продолжение первой книги писем (Людмила Киселева, “Живите в радости”, Калуга, 2013) и вошли в нее письма 2013-2015 годов и письма начала 2016 года. В письмах речь идет о конкретных делах и заботах, о людях, о чувствах, о сострадании. Простое перечисление всего того, чем живет автор, заняло бы не одну страницу.

В книге нет лозунгов – только Любовь и Вера. А еще ответственность и конкретные дела.

Вот приходит весна или осень, и птицы сбиваются в стаи, в структуру почти единого организма.

И они полетят, куда зовет их жизнь. И впереди полетят самые сильные, они увлекают эту стаю, это сообщество за собой. Им труднее всех и они ответственны за всех, кто летит за ними.

Но у людей не всегда так. Часто сильные, физически сильные и здоровые, оказываются в хвосте, потому, что у людей сила не в мышцах. Сила в Любви и Вере. Жизнь праведников и святых веское доказательство этого.

Маленькая немощная женщина ведет за собой многих, и ее книга пронизана этой устремленностью. И надеждой.

Читаю и перечитываю ее письма, адресованные конкретным людям, рассказывающие о проблемах, заботах, о реалиях жизни, и из этих частей собирается большой пазл, в котором нет обыденности. Реальность дела – вот что такое Людмила Киселева. Вот что дает ей силы.

Вячеслав Черников родился в 1956 г. в г. Балабаново Калужской области. Детство прошло в Боровске. Закончил с отличием Калужское училище искусств по специальности художник-оформитель, график. Обучался в лаборатории графики Московского полиграфического института и в Центре технической эстетики ВНИИТЭ. Работал художником-конструктором, архитектором, главным художником в московских издательствах. За книгу «Сказки о Боровце» в 2016 году стал лауреатом областной литературной премии имени Валентина Берестова.

Вот что оборачивает весь трагизм и боль существования в радость и счастье. Она сама давно сказала, что для обретения силы надо не помощи просить у сильного, а помогать слабому. А как найти существо слабее человека, не имеющего возможности двигаться, повелевать своим телом? Но Киселева помогает не только слабому. Она, видимо неожиданно даже для себя, научилась помогать сильному! Тут в подтверждение этой мысли надо бы привести несколько цитат из писем, рассказать о людях, которым эти письма адресованы, о помощи им, но тогда надо цитировать почти все, потому что книга как раз об этом.

Повторю, чтобы зафиксировать – реальные дела – вот суть Киселевой!

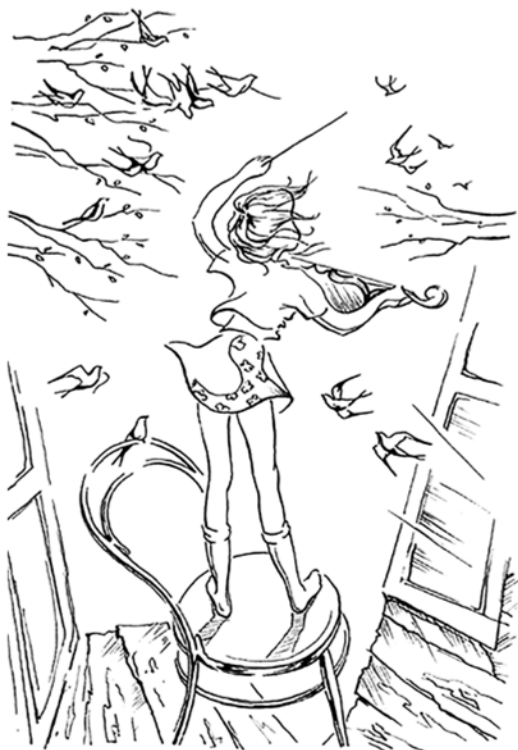
За три последних года у нее вышли четыре книги, а еще она выпустила две книги дорогого ей человека, Николая Милова, альбом своего дяди, художника студии им. Грекова Ивана Евстигнеева, организовала повторные издания книг своих старых приятельниц-журналистов из Калуги и Санкт-Петербурга.

Много ли среди наших знакомых тех, кто написал хотя бы одну книгу? А сколько из нас удалось поднять из руин разрушенное здание храма? А кто хоть раз был инициатором создания музея или вообще какого-либо дела?

Да, у Киселевой много помощников, но именно ее воля, целеустремленность, настойчивость, ум, обаяние объединяют часто даже не знакомых между собой людей в единое сообщество энтузиастов. Свои книги она иллюстрирует не только своей чудесной графикой, но и сотнями фотографий людей, событий, мест, дел... Киселева не забывает рассказать о своих кошках и комнатных цветах – эти кусочки природы чрезвычайно важны в ее жизни. Вновь и вновь она указывает художнику, оформляющему ее книгу, о перестановках и заменах, о дополнительных фотографиях детей, опекаемых с ее помощью. Она настаивает на размещении в книге фото облака пыли, при возведении храма и рабочих, выполняющих строительные работы. Она рассказывает о своих терпеливых сиделках Рите и Тане, которые давно уже не просто сиделки, а ее секретари, она не забывает поведать о всех домочадцах ее вечно открытого для всех дома.

Слабости – как у каждого из нас – сколько угодно. Киселева откровенна и мудра, когда пишет о своем эгоизме по отношению к родителям, о болезненном разрыве с друзьями, о своих сомнениях и ошибках... И так откровенен может быть только по-настоящему сильный человек, личность.





“У меня родилась новая идея, — звонит по телефону, — будем делать...” — далее следует сообщение о задумке, о сроках (Киселева всегда конкретна!), указываются стратегия и тактика решения возможных проблем, рассказывается, какие проблемы она будет решать сама, что должен делать я... Давно не удивляюсь: все будет выполнено. Ну, может, по срокам не всегда совпадает...

Работать с Киселевой тяжело. Она вникает в каждую мелочь, она должна знать все нюансы и детали. Она настойчива, требовательна и опять желает что-то поменять в макете, шрифте, иллюстрациях, тексте...

В конце книги, о которой я пытаюсь рассказать, приведены некоторые статьи Киселевой о художниках, чем-то взволновавших ее, о делах, о людях... Написано немного, но я знаю, как строга и требовательна она к каждому слову в своих статьях. Силу слова она ощущает физически, и слово для нее — материально и конкретно. Она не забывает, с чего начался этот мир — со Слова.

И потому поэзию, например, она тоже воспринимает как материальное подтверждение сущности поэта и дискутировать на эту тему с ней сложно. Такая уж она, Людмила Киселева, мой давний старший товарищ, единственный человек, который когда-то, давным-давно, не посмеялся над моей мечтой, а попытался понять и аккуратно направить к нужной тропинке. Я всегда это помню.

Часть статей, опубликованных в книге, написаны ее друзьями-журналистами. Они рассказывают о делах ее Центра, о ее благотворительной организации “ДОМ — Дело Общего Милосердия”, о ней самой и ее близких людях. И каждая статья раскрывает нам Людмилу Киселеву как личность уникальную. Может, точнее всех сказал о ней калужский писатель Юрий Холопов: “Это чудо явлено нам для веры” — так он назвал свою статью о Киселевой. И лучше не скажешь!

Алексей Мельников

ОДНАЖДЫ В ТАРУСЕ

Однажды в Тарусе родилось знаменитое стихотворение советской оттепели.

Это «Физики и лирики» сегодня вполне забытого Бориса Слуцкого – одного из самых пронзительных и точных поэтов XX века. Соавтора незабвенных «Тарусских страниц», овеянных больше именами Цветаевой, Паустовского, Окуджавы, Казакова, Самойлова, Заболоцкого. Но почему-то – не философски драматичного, изысканно угловатого и лирически нервного Слуцкого. Того, кто как бы мимоходом в провинциальном калужском литературном альманахе блестяще зарифмовал смысл жизни, смысл времени... Но прежде с тарусских берегов Оки выступил с поэтическим «обращением к нации», стремительно удаляющейся из гуманитарных сфер в технические. Что-то она там обретет?...

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы,
Что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья –
Наши сладенькие ямбы.
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони...
То-то физики в почете,
То-то лирики в загоне...

«Физики и лирики», – вспоминал впоследствии Борис Слуцкий, – не совсем мое, отделившееся от меня стихотворение. Написано летом 1960 года в лодке на Оке близ Тарусы, где с Таней мучились от жары и мух. Катали на лодке нас Андрей Волконский с женой Галей Арбузовой. Волконский говорил без передышки, желчно. Как космополит из «Крокодила», ругал литературу, своих тестей, Арбузова и Паустовского, а потом, разошедшись, до А. Толстого включительно. Говорил о своем происхождении, о том, что «Таруса была наша», и т.п. Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю. А потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался. Что забуду его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте... Проблема была животрепещущей, как эта же рыба. Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко спорили об этом же с Эренбургом... Товарищи по ремеслу сперва отнеслись к «Физикам и лирикам»

Алексей Мельников родился в 1963 году. Окончил Московский институт стали и сплавов. Работал в Калуге на предприятиях электронной промышленности, в металлургии, в прессе.

как к оскорблению профессии... Ругали горячо, зло... Постепенно к «Физикам и лирикам» привыкли. Ашукины включили название стихотворения в свой сборник «крылатых слов», и это единственный мой оборот, удостоенный такой чести».

Борис Слуцкий, скорее всего, ошибался на счет малой «крылатости» своих строк. Просто крылья его метафор и рифм не так просто было расправить и разогнать до обретения ими нужных подъемных сил. В тех же провинциальных «Тарусских страницах» размах «крыльев» этих был вполне достаточен для высоконравственного поэтического полета.



Б. Слуцкий

Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять – и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.
Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и денег
К жизненному опыту
Не принадлежат.

(«Тарусские страницы», 1961 г.)

Если забыт нынче Слуцкий, то это – не его проблема. Это – наша беда. Экономящих время, экономящих честность, экономящих жалость...

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши.
Вы, спички-палочки
(так это называлось).
Я вас жалел, а немцев не жалел.
За них душой нисколько не болел.

(«Тарусские страницы», 1961 г.)

Когда фронтовой советский офицер вдруг, как бы извиняясь, признается в том, что «не болел душой» за немцев – это странно. Но только – поначалу. Потом – больно за него, за насмотревшегося военных зверств и, тем не менее, сумевшего сломать в себе тотальную ненависть к врагу в лице пиликающего на гармошке перед неминуемой смертью пленного фрица.

Мне – что?
 Детей у немцев я крестил?
 От их потерь ни холодно,
 ни жарко!
 Мне всех – не жалко!
 Одного мне жалко:
 Того,
 что на гармошке
 вальс крутил.

(«Тарусские страницы», 1961 г.)

Если кто-то жизненный опыт собирает по крупинцам, то Слуцкий – по осколкам: мин, снарядов, судеб, эпох... От того, видимо, так колючи с виду и нарочито угловаты его накрепко сбитые рифмы и выкованные из них стихи. От этого же, скорее всего, тяга Слуцкого к не менее тёртому судьбой Николаю Заболоцкому, обретшемуся после тюрьмы в Тарусе. И, очевидно, сыгравшему не последнюю роль как в целеуказании ненадолго прищвартовавшегося к окским берегам поэта-фронтовика, так и подарившему литературное бессмертие захоластному городишке альманаху.

«Однажды, уже в 1958 году, летом, я приехал к нему (Заболоцкому) в Тарусу, – вспоминал Борис Слуцкий, – и мы провели вместе несколько часов... Мы никогда или почти никогда не говорили с Н.А. о его темницах... На общий чересчур вопрос о шести лагерных годах: «Ну, как там было?» – он ответил не распространяясь: «И плохо было, и очень плохо, и очень даже хорошо». Кажется, за шесть лет он написал одно только стихотворение... «Где-то в поле возле Магадана» написано поздно».

Проблема вынужденной поэтической немоты была близка и Заболоцкому, и Слуцкому. Но последний еще в начале 60-х пытался прорвать ее неслышанной на ту пору «свободой слова». И втиснуть эту «свободу» в нечаянно боднувший советскую идеологию тарусский литературный альманах. Но даже при небывалом на тот момент либерализме, окутавшем в 60-ые «тарусский парнас», освободить поэтическое слово Борису Слуцкому так до конца и не удалось. «Озвучить немоту» советского народа литературный альманах в полной мере не решился, дав лишь начальный кусок краеугольного стиха поэта:

На экране безмолвные лики
 И бесшумные всплески рук,
 А в рядах – справедливые крики:
 Звук! Звук!
 Дайте звук, дайте так, чтобы пело,
 Говорило чтоб и язвило.
 Слово – половина дела.
 Лучшая половина.
 Эти крики из задних и крайних,

Из последних темных рядов
Помню с первых, юных и ранних
И незрелых моих годов
(«Гарусские страницы», 1961 г.)

И только через двадцать лет Слуцкому разрешили напечатать стихотворное продолжение его грозного «тарусского» требования «озвучить» советскую картину:

Я себя не ценю за многое.
А за это ценю и чту:
Не жалел высокого слога я,
Чтоб озвучить ту немоту.
Чтобы рявкнули лики безмолвные.
Чтоб великий немой заорал.
Чтоб за каждой душевной
Молнией
Раздавался громов хорал.
И безмолвный еще с Годунова,
Молчаливый советский народ
Говорит иногда мое слово,
Применяет мой оборот.

«Применяемость оборотов» Слуцкого не менее весома чисто поэтического аспекта его творений. Мощные, высокоточные, хотя подчас и неожиданные рифмы поэта-фронтовика легко «достреливают» до нас из далеких уже 60-х годов. И это, пожалуй, единственный случай, когда защищаться от обстрелов осажденным не стоит...

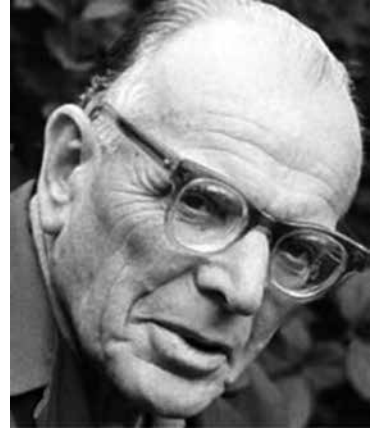
МОЙ ПАУСТОВСКИЙ

Паустовского я полюбил поздно, но молниеносно. Не в школе, не после, а только сейчас. Вдруг – как ударило током. С опозданием, но – пускай. Точно помню: это были «Караси» из его «Повести о жизни» – великой, как оказалось, но малознаменитой саги о былом. «Он (карась) лежал на боку, – вытаскивал из закоулков своей необъятной памяти первую детскую рыбалку маэстро, – отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шёл удивительный запах подводного царства. Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, мне хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого».

Вот именно с этого места – «слизывал брызги со своих губ...» – всё и началось. Я понял, что испытывал многолетнюю жажду. Но не догадывался о том. А только – теперь, когда неожиданно ощутил живительную влагу поэтической прозы на пересохших губах. И тут же не преминул припасть к ее первоисточнику. «Мне казалось, что вода в ведре с карасём и тра-

вой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозových дождей, — писал, как дышал, мэтр. — Мы, мальчишки, жадно пили её и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор...» Я верю: ровно до ста двадцати, а может и с гаком. Клясться, впрочем, не заставляйте, но от нечипоровой веры не отрекусь...

Белая Церковь с карасями — увы, увы... Мещора, признаюсь, сподручней будет. Короче, как-то летом я усадил жену и детей в машину и покатыл туда: Спас-Клёпки, Тума, Касимов, Гусь-Железный, Гусь-Хрустальный, озёра (сплошь Великие, других названий здесь почти нет), болотца, речушки, сотни вёрст комариных угодий (выдолбленного где-то под Спас-Клёпками из огромного дерева комара так и нарекли — Хозяин Мещоры), черника, лисички и томик Константина Георгиевича в бардачке. Плюс — схема проезда до тихой Солотчи. Из этой грохочущей автомобильным железом Рязани. Проспекты, светофоры, пробки, выезд из города, мост, Ока — и вот уже сумерки. Спешно мимо. Солотча не открыла своих писательских тайн, загадочно прошумев прибрежными кронами за окном. А я так ждал...



К. Паустовский

Или — задним числом к морю. К Чёрному — учиться у Паустовского распознаванию духа морского. Чем пахнут, например, волны? «Подлинное ощущение моря, — проповедовал Константин Георгиевич, — существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чабрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями...» Вы знаете, чем пахнут ржавые мины образца 1912 года? А розовые (именно розовые) рыбачьи сети? Я тоже не знаю, но стараюсь разгадать. Потому что иначе никогда не познаю душу морских глубин и выскакивающих из этих глубин на жаркое солнце просоленных причалов.

Или — Таруса. Сёстры они с той же Солотчей. Родные или сводные — как посмотреть. Родные по Оке, сводные по Паустовскому. Если море рядом с писателем прошло, Ока навеки рядом осталась — в обнимку с тарусским крутояром, подпирающим на своих плечах тихий городской погост. Отец на нём и сын — тоже. Недалеко. Рядом.

А еще выше по реке — Калуга. Правый берег Оки — Дворики Ромодановские. Я сижу в уютном домике фотографа Сергея Денисова. На старом диване. «На нём Паустовский отдыхал, — между прочим роняет Сергей Петрович, роясь в коробках со старыми негативами, — когда в гости к нам приходил». Я невольно опускаю ладони на потертую обшивку. Медленно провожу по ней, точно глажу. Откладываю старые фотографии в сторону и закрываю глаза. Вот скрипнет калитка, откроется дверь, и войдёт он...

Татьяна АЗАРОВА

СКВОЗЬ ТЕРНИИ К ПРАВДЕ

В этом доме очень много книг и ещё висят картины хозяина дома, в основном пейзажи. Они успокаивают, умиротворяют, создают настроение, о чём-то напоминают.

С Иваном Михайловичем Калининым, у которого я в гостях, нам есть о чём поговорить. Он суетится, несёт чай, печенье, кажется, рад госте.

Глаза умные, пытливые, будто спрашивают: зачем пришла, что скажешь? Того, что он пережил, вполне хватило бы не на одну – на три жизни. Детство. Студент. Фронтовик. Снова студент. Отсидел в сталинских лагерях. Затем художник, писатель, общественный деятель.

Родился Иван Михайлович в 1924 году в деревне Вяжички Барятинского района в крестьянской семье. В детстве – бедность, тяжёлое существование. Выручала картошка, выращенная на своём участке. Но в 1933 году из-за проливных дождей картошка сгнила. Наступил страшный голод.

Чтобы пережить это время, родители решили переехать в Оптину пустынь. Добрые люди подсказали: «Там организуется совхоз, и там хлебушка дают». С родителями – четверо детей. Восемилетний Иван – старший, значит, главный помощник. Поселились в маленькой комнатушке. Свой угол! В тесноте, да не в обиде.

Мать и отец стали работать в совхозе. Отец – конюхом, мать – рядовым работником. Взрослым по карточке давали по 250 граммов хлеба, детям – по 150. И сахар давали по чуть-чуть. И всё же самый младший, одиннадцатимесячный братик, умер.

В доме у Калининых было радио. Кроме новостей передавали музыку, постановки по произведениям русских писателей. А по вечерам – «Театр у микрофона». Слушать спектакли в исполнении лучших артистов страны было так увлекательно! Будоражилось воображение мальчика-подростка. Он любил рисовать, и появилась мечта о театре, стать театральным художником!

Первый шаг к своей мечте Калинин сделал в 1940 году, поступив в Елецкое художественное училище. Успел закончить лишь первый курс, и началась Великая Отечественная война. Вернулся домой к родителям. А вскоре в Оптину пришли немцы. О том, как они хозяйничали в совхозе «Красный плодород» и в соседнем селе Попелёве, Иван Калинин написал в рассказах «Первый оккупант» и «Оккупация».

8 октября 1941 года резко затрещал мотоцикл и остановился напротив полуразрушенной церкви. Прильнув к окнам, люди разглядывали первого оккупанта в шинели противно-зелёного цвета и с автоматом на шее. Снова раздались трескотня мотоциклов, в село въезжала уже целая воинская часть.

Оккупация практически длилась всего 12 дней, затем немцы ушли, лишь иногда наведывались, пока их совсем не изгнали. Скорому возвращению Красной армии были рады все жители.

В 1942 году 18-летнего Ивана призвали в армию. Два месяца обучения. Западный фронт, деревня Гусевка близ Людинова.

Там получил первое боевое крещение. Будучи сапёром, устанавливал противотанковые мины.

В августе его 115-я курсантская стрелковая бригада была переброшена в Сталинград. Из всех своих боевых наград Иван Михайлович больше всех ценит медаль «За оборону Сталинграда». Об этих тяжёлых боях он написал несколько очерков-воспоминаний: «Стонущий рёв и гул», «Бои продолжались», «На последних рубежах», «Этот будет жить».

Смерть подстерегала Калинина на каждом шагу. Выживал чудом и не раз. Тема войны никогда не отпускала его, написаны многие очерки, рассказы. Читать их тяжело, больно, страшно. Но они бесценны, эти воспоминания, его личные или рассказанные кем-то и записанные им. Живые свидетельства очевидцев ужасного времени.

Войну закончил в Болгарии. Не верилось, чудо, счастье! Жив! Возвращение на Родину. Но военная служба на этом не закончилась. В 1945-1947 годах Калинин проходил службу в рядах Советской армии в Одесской области.

Демобилизовавшись, вернулся в родное художественное училище в Ельце. Иван Михайлович вспоминает то время, сокурсников с какой-то особой теплотой. Все бы хорошо, если бы... Если бы в их группе не оказался доносчик-сексот (секретный сотрудник).

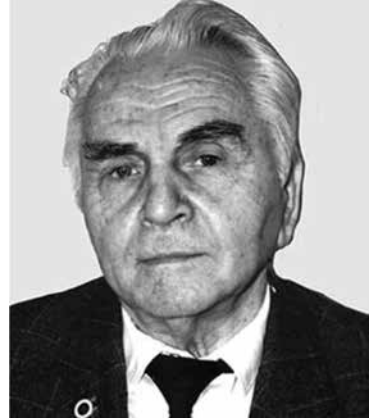
В конце 1948 года в училище появился человек из органов. Всех студентов по одному вызывали к нему в директорский кабинет. Дошла очередь и до Калинина. Отвечал односложно: «да», «нет», боясь обронить лишнее слово. Так поступили и другие, кроме сексота. Уж он-то молчать не стал. На протяжении нескольких лет Иван вёл дневники, записывал мысли, писал стихи, рассказы, пьесы. Накопилось 14 блокнотов и тетрадей. Но об этом не знал никто, кроме сексота. С ним они вместе жили на квартире. Тот подсмотрел и донёс.

За три недели до защиты диплома Калинин был арестован. Его блокноты и тетради стали главным пунктом обвинения. После Елецкого КПЗ был перевезён в город Орёл и оказался во внутренней тюрьме МГБ. В маленькой камере было двое нар, которые с помощью автоматики утром поднимались, а вечером опускались. Днём сидеть и лежать не полагалось.

Через несколько дней был коротко острижен и сфотографирован небритым. И начались четыре месяца изматывающих допросов, дневных и ночных. Однажды от истощения он даже упал в обморок.

5 ноября 1951 года Калинин был осуждён по 58-й статье на 10 лет лагерей и пять лет ссылки. Привезли в знаменитый орловский «Централ», в трудовую исправительную колонию, расположенную в бывшем мужском монастыре. В камере почти все свои – недавние фронтовики. Политические! Такие, как и он сам.

Определён был в КВЧ – культурно-воспитательную часть, выполнял оформительскую работу. Но приходилось заниматься и другим. В колонии были швейный цех, где работали женщины, и столярный цех, где работали мужчины. Калинин научился и шить, и мебель делать. Когда вернулся домой, здорово удивил своих домочадцев. Плохо было у них с мебелью. Из подручных материалов сделал стол, шкаф, полочки.



И. М. Калинин

1953 год. Умер Сталин. Все ждали перемены к лучшему. Арестован и затем расстрелян Берия.

Медленно разворачивалась государственная бюрократическая машина. Понемногу пересматривались дела политических заключённых.

14 мая 1955 года, после четырёх лет отсидки, И.М. Калинин навсегда покидает колонию. На прощание руку пожали, товарищем назвали. Сразу к родителям, в Козельск. Диплома нет. Денег нет. Училище в Ельце закрыли.

Но мир не без добрых людей. И такие добрые люди нашлись в Москве. Они-то и помогли подготовиться к защите и получить долгожданный диплом театрального художника. Путь к получению диплома растянулся на 16 лет.

Приехал в Калугу. Сначала работал в школе, затем в театрах и на турбинном заводе. Реабилитировали только в 1976 году. В 1989-м в КГБ вернули его блокноты и тетради. Но не все, а только половину. Тогда же вернули награды: орден Славы и медали «За победу над Германией» и «За оборону Сталинграда». Кстати, однажды его снова пригласили в КГБ (теперь уже ФСБ) и попросили рассказать молодым сотрудникам о тех годах, которые он провёл в сталинских лагерях. И он рассказал всё как было.

Вернувшись из заключения, Иван Михайлович долго не занимался литературой. Боялся. А хотелось. И однажды поверил, что писать правду можно. А по-другому он не мог. С 1994 г. в различных изданиях появляются его рассказы, притчи, воспоминания. В 2004-м вышла его первая книга «Настоящий контрреволюционер?». Заметьте, в конце стоит вопросительный знак. Автор сомневается? Сам не совсем в это верит? Но ведь в рядах ВКП(б) и он состоял. Был принят прямо на фронте.

В 2005 г. вступил в Союз российских писателей. В 2009-м вышла вторая, более объёмная книга с тем же названием.

Многие рассказы Калинина автобиографичны. Придумывать ничего не пришлось, всё правда.

Что ни рассказ, то судьба человека, трудная, тяжёлая, горькая и даже трагическая. Маленькие люди большой страны.

В 2011 году выходит третья книга Ивана Михайловича «Пьесы», включающая 16 драматических произведений, о которых сам автор сказал: «Главное их достоинство – снятие веры, надежды, любви, которое позволяет нам жить даже тогда, когда жить трудно, порой невозможно». Привлечёт ли внимание режиссёров? Ведь, проработав в театре немало лет, Калинин неплохо изучил специфику театральных постановок.

Как писатель Калинин состоялся, и состоялся основательно, отстаивая свою линию быть всегда правдивым.

Писал он и стихи – острые, порой резкие, плакатные. Хорошие стихи. И всё же они, на мой взгляд, уступают прозе. Но есть у него замечательное детское стихотворение «За грибами в лес ходили», написанное для внучек. Мне кажется, Калинин мог бы стать хорошим детским поэтом. Но он выбрал другое направление.

В 2014 году Ивану Михайловичу исполнилось 90 лет. Эту юбилейную дату он отметил ещё одной прозаической книгой – «Пронски судьбы». В первой ее части – фронтовые рассказы, его личные воспоминания или записанные им истории других очевидцев.

Во второй – рассказы об аресте, пребывании в тюрьме и послевоенном времени. В третьей части – самые разные истории. А четвёртая часть – «Искринки». Так Калинин называет свои короткие зарисовки, афоризмы.

Хочется сказать о других направлениях его деятельности. В 1958-81 годах Иван Михайлович работал художником в областном драматическом театре и ТЮЗе. Оформил 45 спектаклей.

Для Калужского ТЮЗа он придумал эмблему. Прошло много лет, а театр эмблему не меняет. Значит, хороша.

В период работы главным художником на турбинном заводе он немало сделал для того, чтобы оформление предприятия, наглядная агитация были на высоком уровне, и эмблему завода он придумал тоже. А еще им были созданы эскизы многих медалей, значков, которые изготавливались на заводе. Перворазрядник по шахматам, он постоянно выступал за «турбинку» на областных и городских соревнованиях.

Картины Калинина можно увидеть на городских и областных выставках. Персональные выставки состоялись в 1983-м, 2010-м и 2013 годах. В основном это лирические пейзажи, натюрморты, цветы. Среди них есть одна особенная – «Сталинград в огне». Это – память о периоде, когда он почти мальчишкой попал на войну и защищал этот город-герой.

Часто встречался Иван Михайлович с читателями в библиотеках, выступал перед детьми, посещал разные мероприятия. Очень любил он народные песни. Я видела, как блестят его глаза, когда он бывал в Доме мастеров на концертах коллектива «Калужская тальянка». В общем, жил красивой полноценной жизнью, был полон энергии, новых планов. Страшная болезнь оборвала их. В 2015 году Ивана Михайловича не стало.

2017 год

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



А. П. Черников

ОБОГАЩЕНИЕ ЖАНРА

Художественные искания в автобиографической прозе
русского Зарубежья

Автобиографическая проза – крупнейшее явление литературы русского Зарубежья, все глубже и плотнее включаемое ныне в сложный поток развития отечественного словесного искусства. М. Бахтин считал, что художественная автобиография есть разновидность романа воспитания. По отношению к автобиографическим произведениям писателей-эмигрантов, особенно первой, самой мощной ее «волны», эта точка зрения приобретает едва ли не статус аксиомы. Потеря писателями любимой Родины, стремление воскресить ее в художественном слове, чтобы показать ее лучшие черты и стороны будущим поколениям не только для эстетического созерцания и рефлексии, но для глубинных раздумий и выводов, для сохранения и активизации национального самосознания, – все это вызвало к жизни «Лето Господне» и «Богомолье» И. Шмелева, «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, «Путешествие Глеба» Б. Зайцева, «Юность» Е. Чирикова, «Детство Никиты» А. Толстого и другие романы и повести, которые по праву вошли сейчас в золотой фонд отечественной литературы.

Автобиографический жанр – всегда акт преодоления писателями неумолимо уходящего времени, попытка вернуться в собственное детство и юность, как бы прожить жизнь сначала, а точнее, продлить ее, художественно предложив потомкам «опыты быстро текущей жизни», по словам А.С. Пушкина, ибо «вещи и дела, еще не написании бывают, тьмою покрываются и гробу без памятства предаются, написании же яко одушевлении». Этот зачин романа «Жизнь Арсеньева», являющийся слегка измененной цитатой из рукописи поморского проповедника XVIII века Ивана Филиппова, определяет интенцию не только бунинского произведения, но и автобиографической прозы в целом.

Отталкиваясь от богатых традиций русской классики, писатели-эмигранты не просто существенно обогащают эти традиции. Перед нами, в сущности, новая художественная стратегия в развитии жанра, предполагающая изменение некоторых его конститутивных признаков: человеческая личность, дела и события пронизаны в этих произведениях токами, идущими не только из земной истории, но и из Вечности, из мира горнего.

В ряду авторов подобных произведений несомненный приоритет принадлежит трем: И. Бунину, И. Шмелеву, Б. Зайцеву.

Отрыв от Родины необычайно усилил в них ностальгическую любовь к ней – Россия представлялась теперь писателям прекрасным потерянным раем, что и обусловило особую разновидность пафоса их художественных произведений, который можно назвать эмигрантской ностальгической идеализацией: «Наши дети, внуки, – считал, например, Бунин, вольно или невольно опровергая многое из того, что он писал о России в 10-е годы, – не будут

Анатолий Черников – доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России. Известный исследователь творчества И. С. Шмелева, литературы Серебряного века и русского Зарубежья. Автор около 300 опубликованных научных работ. Российским Фондом культуры награжден памятной медалью «Иван Шмелев». Лауреат Всероссийской литературной премии «Отчий дом».



И. А. Бунин
(1870–1953)

в состоянии даже представить себе ту Россию, поистине сказочно богатую и со сказочной быстротой процветающую, в которой мы когда-то (то есть вчера), жили, которую не ценили, не понимали – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье»(1). «Светлым царством русским» именовал предреволюционную Россию И. Шмелёв. По Зайцеву, прежняя Россия «дышала благодатью своего изобилия и мира»(2).

Близким кругом мыслей пронизаны письма, статьи, воспоминания, художественные произведения многих других писателей-изгнанников. Подобные интенциональные высказывания имплицитно оппозицию «было и стало» в изображении судьбы России.

Бунин, Шмелёв, Зайцев пишут историю «малой родины» – жизнь своих отцов, дедов, собственную жизнь.

Но в этом малом отчётливо проступает большое, существенное, стремление показать, говоря словами Шмелёва, «скрытый смысл творящейся жизни»(3). Общей мировоззренческой основой при подобном подходе к художественному исследованию жизни и человека является у названных писателей Православие, которое в эмиграции воспринималось и как первооснова жизни, и как важнейший способ сохранения национальной идентификации. Разумеется, система православных ценностей в автобиографических произведениях Бунина, Шмелёва и Зайцева заявляет о себе по-разному и с различной степенью глубины. Но вектор их эстетических исканий и авторской рефлексии направлен именно в эту сторону. Идея православной духовности, стремление художественно воссоздать земной и духовный облик «Святой Руси» определяет не только содержание, но и форму произведений Шмелёва: в основу композиции «Лета Господня» впервые в истории русской литературы положен православный календарь, а повествование строится не по линейному, а по циклическому принципу. Нарративность «Жизни Арсеньева» и «Путешествия Глеба», в основном, хронологическая, осложняемая экскурсами в прошлое.

Произведения пронизаны мыслью о бессмертии души, христианской идеей вечной жизни. Немалое место в них занимает тема смерти. Она звучит во всех пяти частях бунинского романа (гибель мальчика-подпаса, смерть младшей сестры, бабушки, матери, родственника Арсеньевых Писарева, наконец, Лики). Роман «Лето Господне» завершается уходом из земной жизни самого дорогого для автобиографического героя человека – отца. Смертью матери и тестя заканчиваются «московские главы» последней части тетралогии Б. Зайцева. Но танатология названных писателей имеет глубокий философско-этический смысл. В основе своей она пронизана эсхатологическим оптимизмом, ибо зиждется на осознании и принятии высших законов бытия. Не только шмелёвский персонаж, но и автобиографические герои Бунина и Зайцева верят, что в ином мире их ждут «И Христос, и прабабушка Устинья», и многие-многие другие люди, достойно прошедшие свои земные пути. Неслучайно в том же «Лете Господнем» сцена похорон отца и всё повествование в целом венчает православный тропарь, выражающий надежду на жизнь вечную и бесконечную, на бессмертные души.



И. С. Шмелёв
(1873–1950)

Любовь ко всему земному соединяется во всех трёх произведениях устремлённостью к Царству Небесному, и, напротив, высшие духовные ценности находят опору в богатом и прочном русском быте. Такова диалогическая картина мира, воссозданная на страницах этих произведений.

Для понимания эстетической концепции жизни Бунина, Шмелева и Зайцева принципиально важен в их произведениях архетип Дома. Дом у русских всегда являлся своего рода плодотворной смоковницей, на которой возрастала и продолжалась из рода в род семья, святое дело приумножения жизни. Поэтому образ дома, наряду с конкретно-бытовым смыслом, приобретает значение сакральное, символически священное, олицетворяющее самые дорогие для авторов понятия: родина, семья, родители, начало жизни. Отсюда его роль как нравственного императива

в системе утверждаемых писателями жизненных ценностей.

Замоскворецкий дом отца, а точнее, пространственно-временная мифологема «нашего двора», предстает в изображении Шмелёва как микрокосм России и всего православного мира, как «маленькая вселенная». Пространство и время в этом произведении слиты воедино. Их объединяет постоянное, ежесекундное присутствие в жизни каждого человека Иисуса Христа. «Я смотрю на распятие. Мучается сын Божий»(4). Мучается не в давно минувшем времени, а здесь и сейчас. Так совмещается в произведении прошлое и настоящее. Они не противостоят, а включаются друг в друга. «Было» входит в «есть» и в «должно быть», усложняет, уплотняет настоящее. Свойственное православной традиции живое присутствие Спасителя во всех людских делах и мыслях придаёт шмелёвским героям и художественному космосу его произведения прочную духовную жизнеустойчивость: «Ничего не страшно, потому что везде Христос»(IV, 56).

Центром быта и бытия, точкой пересечения ценностных координат является дом и для Алексея Арсеньева. Разрыв с отчим домом и зарубежное бездомье воспринималось Буниным как глубочайшая трагедия, которую он выразил в известном стихотворении «У птицы есть гнездо...» (1922).

Дом как семейно-родовой и культурно-исторический топос играет доминирующую роль и в «Путешествии Глеба», особенно в ее первых трех частях. При этом бесконечно дорогой для героев Шмелева и Бунина «малый дом» в тетралогии Б. Зайцева тоже перерастает в дом «большой»: лирический герой произведения осознает себя сыном «величайшей страны». Окончательно утвердившись в мысли, что его жизненное призвание – это литературное творчество, Глеб, подчеркивает автор, относится к своему делу как «добрый домостроитель».

Одной из ключевых проблем всех трёх произведений является проблема родовой и исторической памяти. Память в представлении писателей – категория религиозно-нравственная, так как позволяет человеку ощущать себя наследником прошлого и осознавать ответственность за будущее, за весь Божий мир.

В философско-эстетической концепции бытия произведений писателей, о которых идёт речь, прошлое, настоящее и будущее неразсторжимы. Насыщенные ёмкими многозначными деталями, сюжетными и внесюжетными образами и эпизодами, литературными и историческими реминисценциями и аллюзиями романы Бунина, Шмелёва, Зайцева воссоздают обобщающие картины жизни многих поколений, утверждая мысль о бесконечном жизнетворчестве народа, преемственности его дел и памяти.

Алексей Арсеньев гордится своей родословной, как гордятся ею юные герои Шмелёва и Зайцева, решительно отвергая, как релятивистскую позицию «Иванов, родства не помнящих». «Со старины так», «так уж исстари повелось», – с одобрением говорят герои «Лета Господня» и «Богомолья» о привычном укладе жизни замоскворецкого двора отца писателя. Бунинский Арсеньев переживает прошлое отца как свое собственное. Он едет в Севастополь потому, что надеется на встречу с отцовской молодостью. Отец в представлении зайцевского Глеба – олицетворение «мужественности и силы», мать – символ спокойствия и надёжности: даже во время революционных событий он уверен, что с матерью – «не пропадешь».

Герои автобиографических произведений писателей с особым пиететом относятся к старым книгам, старинным иконам, к древним православным соборам. Алексей Арсеньев сомневается, мог ли бы он любить окружающее, если бы в нём исчезло всё старое, необходимое для жизнедеятельности.

Жизнь должна строиться не на ломке, а на укреплении фундамента прошлого, на духовной связи поколений – так понимают смысл эволюционного развития авторы этих произведений. Высокого молитвенного пафоса достигает Бунин, когда говорит о своей матери: «В далёкой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да поконтся она в мире, и да будет во веки благословенно её бесценное имя»(5).

Прекрасным памятником отцу и своему воспитателю плотнику Горкину, памятником, сотворённым в художественном слове, предстаёт перед читателями шмелёвское «Лето Господне». Исполнен глубокого уважения и любви к родителям зайцевский Глеб. «Любовь к родному пепелищу» и «к отеческим гробам» обуславливает, говоря словами Пушкина, которые Шмелев взял в качестве эпиграфа к «Лету Господню», «самостоянье человека» и родины. В этом суть их историософии и культурософии. В вечной связи поколений писатели видят основу духовного обогащения человека и нации, развития жизни.

Эта связь осуществляется в произведениях и через продолжение добрых дел отцов, и через выполнение проверенных временем нравственных правил и религиозных обрядов. «Разве не радость чувствовать свою связь, соучастие с «отцы и братии наши, други и сродники, некогда совершавшими это служение», (V, 211) – так размышляет о молитве Алексей Арсеньев.

Ёмкие, мудрые изречения Священного писания наполняют высшим смыслом душу семилетнего Вани из «Лета Господня»: «Таинственные слова, священное что-то в них. Бог будто? Нравится мне и «яко кадило над Тобою», и «непщевати вины о гресах», – это я выучил в молитвах. И ещё – «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще – радостные слова: «Чаю Воскресение мертвых!»... Божьи это слова». (IV, 23)

Описание православных обрядов и праздников у Бунина и Зайцева заметно уступают в объёме соответственным картинам и эпизодам в «Лете Господнем» и «Богомолье». Однако ценностно-ориентированная память Бунина и Зайцева также явственно фиксирует эту сторону жизни персонажей. Бунин не раз упоминает «о буре восторга», неизменно возни-

кающей в душе Алексея Арсеньева при каждом посещении им богослужений: «о взрыве нашей высшей любви к Богу и к ближнему».

На Глеба «церковная служба с её ритмом, глубоким благообразием ... действовала успокоительно. Как бы настраивала душу и размягчала». (С.439)

Важна в этих произведениях и тема памяти, также имеющая в основном сакральный характер. Она приобретает под пером писателей трансгисторический характер, трансформируясь в память генетическую, прапамять. Нетрудно заметить, например, что прапамять героя «Жизнь Арсеньева» вмещает в себя всю христианскую историю, начиная с райского сада. Это особенно наглядно проявилось в ранней редакции начальной главы 3-ей части его романа.



Б. К. Зайцев
(1881–1972)

Чтение Арсеньевым в детстве «Дон Кихота», «Робинзон Крузо» и других произведений вызывает в его душе чувство сопричастности к другим векам и странам: первобытному Востоку, рыцарским временам Европы. «Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы, – подчеркивает герой, – и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из деревень, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать их себе? Да, и я когда-то к этому миру принадлежал <...> В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованиях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: да, да, все это именно так, как я впервые «вспомнил» тридцать лет тому назад» (V, 31–32).

Размышления Арсеньева о детстве и юности коррелируют с его воспоминаниями о прежней земной жизни, с генетической памятью о постижении мира в предшествующем воплощении. Память и прапамять становятся, таким образом, для персонажа главным связующим звеном с миром далекого прошлого и с настоящей жизнью.

Зайцевскому Глебу кажется, что калужские и орловские мужики, как и тысячу лет назад, гонят плоты по Оке, а в поле бродят люди, похожие на древних славян. Биографическое время произведения, начиная с его заглавия, рождающего богатые пространственно-временные коннотации, и выбора имени главного героя, органично вписаны во времена исторические и наоборот.

В «Лете Господнем» автор и его юный герой следующим образом размышляют по поводу панорамы Кремлёвских соборов: «Кажется мне, что там – Святое. Святые сидят в соборах и спят цари... Что во мне, бьётся так, наплывает на глаза туманом? Это моё – я знаю. И стены, и башни, и соборы... и дымные облачка за ними... и чёрные полыньи в воронах, и лошадки, и заречная даль посадков... были во мне всегда... И дым пожаров, и крики, и набат... всё помню! Бунты и топоры, и плахи и молебны... всё мнится былью, моей былью, будто во сне забытом» (IV, 37). Ваня генетически осознаёт себя неразрывной частью православного мира,

потому и кажется ему, что всё то, что стало историей России, было с ним самим. Не просто приобщение к истории, но духовное присутствие в ней, соборное ощущение себя её нерасторжимой частью – таково историческое и духовное мироощущение персонажа. Поэтика художественного времени и пространства становится одним из важных жанрово-образующих факторов этих произведений.

Эстетическому воплощению проблемы памяти в значительной мере способствует крестообразный хронотоп произведений Бунина, Шмелёва и Зайцева, на пространственных координатах которых горизонтальная линия представляет собою авторское время, а на вертикальной оси откладывается время вечное и бесконечное, обозначающее связь, преемственность и пересечение путей земных и небесных. Философско-эстетическая концепция бытия авторов оптимистична, ее вектор направлен в будущее.

Прежняя Россия, Россия дореволюционная представляется им своеобразным градом Китежем, который, придёт время, вновь возродится и выйдет из вод Светлояра, куда, по легенде, ставшей в русской культуре XX века национальным трансмифом, а точнее, глобальным архетипом, он во времена татаро-монгольского ига, укрылся от врагов. «Искание правды, желание строить жизнь с Богом и «по-Божьи» – взыскание Града Небесного, Китеж-града – светлая сторона души России... Россия – будет» (II, 436), – убеждённо писал Шмелёв. Эта надежда, обусловленная православным мирозерцанием, сквозит и в произведениях его братьев по перу.

Воссоздавая в своих произведениях Космос и Хаос как универсальные антиномичные модели мира, Бунин, Шмелев, Зайцев утверждают мирообраз Космоса, то есть идею осмысленности и гармоничности бытия, его божественную упорядоченность, развивая религиозно-нравственные традиции отечественной литературной классики, а если брать проблему шире, – активно включаясь в метатекст русской сотериальной культуры.

Примечания

1. Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. С.90.
2. Зайцев Б. Атлантида. Калуга, 1996. С. 96. Далее цитаты из тетралогии «Путешествие Глеба» приводятся по этому изданию с указанием страницы.
3. Биржевые ведомости. 1915. 26 янв. С.4.
4. Шмелев И. С. Собр. соч.: В 8 томах. М., 1998. Т.4. С.56. Далее цитаты из произведений Шмелева приводятся по этому изданию с указанием тома и стр.
5. Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 томах. М., 1988. Т.6. С. 129. Далее цитаты из произведений Бунина приводятся по этому изданию с указанием тома и стр.

НА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ



Андрей Убогий

ГОРОДНЯ

Эта земля привязывает меня к себе,
И я не перестаю ею восхищаться...
(Н. П. Голицина)

Места, и впрямь, удивительные. На восток от Калуги, по левому окскому берегу, тянутся волны полей-перелесков, пересечённые речными долинами. Здесь речки невелики, но так густо укутаны хмелем, крапивой, ольшаником и ивняком, что только бобры, да порой кабаны пробивают ходы в непролазных зелёных урёмах. Даже странно видеть такую дремучесть – посреди мест, издавна населённых, облюбованных человеком ещё с седой древности.

А порою звериные эти ходы начинают казаться ходами не просто в пространстве, но и во времени. Вот, скажем, здесь, в долине Калужки – вряд ли что заметно переменялось за последние полторы тысячи лет. Разве что речка была полноводнее, да бобров-барсуков было больше. Но и балты, которые жили здесь в пятом веке, и вятичи, что поселились в восьмом, и Мономах, воевавший местного князя Ходоту, и позднее ордынцы, пришедшие с ханом Ахматом, и польская шляхта, и казаки гетмана Сагайдачного – все они, будучи в этих местах, пили воды Оки и Калужки, и ржание их лошадей оглашало вот эти речные долины.

А три городища, что высятся по Калужке всего в трёх-четырёх километрах одно от другого? Не так же ведь просто возникли они? Их близость друг другу и мощь их валов – на которые даже и ныне местами трудно вскарабкаться – убедительно нам говорят, что здесь издревле было особое место. Хранились ли здесь племенные святыни, или жил князь вятичей – тот же, скажем, Ходота, о котором упоминает в своём «Поучении» Мономах – или здесь был узел важнейших торговых путей? Во всяком случае, версия, что столица вятичей Корьдно располагалась вот именно здесь, на месте села Городня (бывшего Городенска, которым в 12 веке владел Борис Долгорукий) – эта версия выдвигается чаще всего. Конечно, и туляки, и орловцы всегда будут оспаривать это мнение калужан – каждому хочется, чтобы город Корьдно располагался у них – но неоспоримых тому доказательств ни мы, ни наши соседи представить не можем.

Впрочем, у калужан есть серьёзные козыри. Во-первых, арабские хроники IX века – «Худуд ал алем» Ибн-Руста и Гарзиди – описывая «страну Вантит» (то есть землю вятичей), называют её столицу «Хордаб на Уке». О том, что «Ука» – это наша Ока, спорить вряд ли кто

Андрей Убогий родился в 1963 году в г. Железногорске Курской области. Окончил Смоленский медицинский институт (1986). Работает хирургом-урологом Калужской городской больницы скорой помощи (с 1986). Печатается как прозаик с 1990 года. Автор книг прозы: «Космос бань», «Бегущему есть надежда», «Горькая радость», «Река, по которой плывём», «Общага», «Чаепитие с вечностью». Выпустил также сборник эссе об А. С. Пушкине «Между любовью и смертью». Печатается как прозаик и эссеист в журнале «Наш современник». Член Союза писателей России с 1993 года. В 1997 году получила премию журнала «Наш современник». Живёт в Калуге.

будет. Да и как бы иначе, как не по Волге-Итилю, а затем вверх по Оке, арабские «землепроходцы» могли добираться до этих дремучих, нехоженных мест?

Есть и ещё одно соображение в пользу Городни-Корьяно, которое, кажется, до сих пор никто не высказывал. В том, что первоначальная крепость Калуга (Колуга) располагалась на месте теперешней Городни, не сомневался ни один из историков-краеведов, начиная с В. Зуева в 18 веке, затем И. Четыркина в 19 веке, А. Малинина в 20-м – и, наконец, В. Пухова, уже в 21-м. Но ведь совершенно естественно предположить, что большое торгово-военное поселение – такое, как город Калуга – возникло именно там, где уже располагалось крупнейшее древнее поселение вятичей. Ибо соображения выбора места во все времена остаются, по сути, всё те же: это близость реки или нескольких рек, возможность защиты от неприятеля, это борти, бобровые гоны (а мёд и бобровый мех много веков составляли важнейшую долю местного экспорта) – и это, наконец, редкая красота здешних мест. А такое понятие, как «красота», хоть и стоит последним в перечне прагматических соображений, но при любом выборе – хоть места под крепость, хоть девушки, чтоб жениться на ней – часто перевешивает все остальные.

Смотреть городища лучше всего поздней осенью, когда облетела листва, легли травы – и контуры древних валов обозначились чётче. Особенно поражает городище в Ждамирово. Кажется невероятным: как вал такой крутизны сохранился и не осыпался за полторы тысячи лет? То есть в Европе ещё не начиналось Средневековье, в Аравии пророк Мухаммед ещё не отпраивался в Мекку, крестоносцы ещё не пошли отвоёвывать у сарацин Гроб Господень – а тут, над рекою Калужкой, уже шумел город. Из очагов валил дым, в горшках томила каша из полбы (просо было важнейшей культурой у вятичей), мужчины отёсывали брёвна для срубов, женщины перекикались, идя к родникам за водой, а белобрысые дети, визжа и дурачась, скатывались по насыпям городища – словом, уже в незапамятно-давнее время кипела здесь жизнь. И здесь стоял именно город: то есть нечто, отгородившееся от окружающих дебрей и рек, от бобровых урём, непролазных чащоб, от медвежьих берлог, волчьих нор – от всей той дикой природы, из которой человек вышел, дарами которой доселе кормился и жил, но с которой уже не хотел себя полностью отождествлять.

Не тогда ли возникла и первая трещина меж человеком – и миром? Эта трещина – она же граница – позволила людям осознать свою обособленность в мире природы, но она же явилась причиной трагического, по сей день нарастающего, одиночества. Уйдя от природы-матери, мы ещё не пришли к Богу-Отцу: не это ли промежуточно-двойственное положение и есть первопричина всех человеческих наших страданий и бед?

И, коль уж мы произнесли слово «трещина», то попробуем и рассмотреть историю здешнего края, как историю чередовавшихся «трещин», надрывов и ран – и неустанных попыток эти раны и трещины сгладить, преодолеть, исцелить. И сразу отметим, что в «малой» истории села Городня и его ближайших окрестностей – словно в капле воды, отразилась история целой России. Поразительно, до чего же тутие узлы завязаны были вот именно здесь, на этих дорогах, холмах, городищах и реках. Кажется, только начини разбирать и рассказывать прошлое здешнего края – как придётся пересказать чуть ли не «Историю государства Российского». Что ж, в этом тоже есть указующий знак: земля, что была избрана столько увидеть и пережить, не может не вызывать в нас особого, благоговейного чувства.

* * *

С чего же начать? Быть может, с названия «Хордаб», которым арабские хроники именovali — что вполне вероятно — как раз этот мыс при впадении Городенки в Калужку? Сейчас здесь поле, по одному краю которого выстроены дома, а по другому, спускаясь в речные долины, перемешаны сосны с дубами. Если Хордаб-Корьдно был именно здесь — то, значит, здесь проходил Мономах в середине 11 века. Трудно сказать, взял ли он Корьдно в первую зиму*, или князь Ходота сначала отбилась от киевских ратей — но именно в этих местах сражались язычники-вятичи против совсем ещё молодых (крещёных за сто лет до этого) христиан.

Обращение в новую веру не могло пройти безболезненно и бескровно. Так, преподобный Кукша, которого называют «апостолом вятичей», был убит теми, кого он пришёл крестить. Не одну сотню лет продолжалось противостояние языческой веры предков — и византийского христианства. Известно, что в 1415 году (!) язычники города Мценска восстали против христиан, и властям пришлось жестоко подавлять этот бунт. Наверное, не всё было тихо-спокойно и здесь, в Городенске, на месте предполагаемой древней столицы вятичей. Но городища молчат о том, чему они были свидетели; ни кости, ни черепки, ни наконец-таки стрел уже не расскажут о том, чья рука их держала и чья жизнь была ими прервана.

Век сменял век — и центральную Русь надолго накрыло татаро-монгольской волной. Впрочем, ордынское иго навряд ли существенно повлияло на жизнь коренного населения Городенска: уж очень дремучими, непроходимыми, дикими были в ту пору эти лесные места.

Но уже в 1480 году здепшний край — вновь свидетель важнейших и судьбоносных для всей Руси событий. Хан Ахмат идёт на Москву и выходит к Оке под Серпуховым — где на другом берегу его встречают войска Ивана Молодого (сына Ивана III). Не рискуя переправляться с боем, Ахмат решает совершить рейд вверх по Оке, к устью Угры — где, как ему сообщили, были удобные броды. Татарскую конницу опередить было трудно; но, поскольку Иван Молодой шёл прямою дорогой от Серпухова на Калугу — он, со всеми обозами и артиллерией, успел-таки выйти к Угре раньше Ахмата и вновь преградил тому путь на Москву. Началось «Великое стояние» на Угре, после которого Русь обрела независимость, а Угру стали называть «поясом Богородицы».

Но для нас сейчас важно то, что путь от Серпухова до Калуги пролегал, можно сказать, северной окраиной Городни, по дороге, соединяющей нынешнее Воскресенское с Грабцевым. Значит, именно здесь ржали кони, пылали войска и скрипели телеги, везущие пушки (которые назывались тогда «тюфяки») — именно этой дорогой русское войско двигалось к обретению русской свободы.

Скорее всего, этой же самой дорогой — от Серпухова на Калугу, через сёла Воскресенское и Грабцево — во время великой Смуты 17 века шёл и гетман Сагайдачный — злой враг Московской Руси, которому много лет после этого возглашали анафему в калужских церквях. Читаем у С. М. Соловьёва: «Гетман Сагайдачный прямо от Москвы отправился под Калугу и по дороге взял острог в Серпухове, но крепость взять не мог. В Калуге он точно так же успел выжечь острог, но в крепости от него отсиделись».

Не забудем ещё один драматический эпизод Смутного времени: бунт Ивана Болотникова, тоже ставленника польской шляхты и разбойного запорожско-донского казачества. Во время

* «А вь вятчи ходихом по две зиме на Ходоту и сына его, ко Корьдану ходих первую зиму...» (из «Поучения» В. Мономаха).

гражданской Смуты судьба Москвы и России не раз висела на волоске – в том числе и тогда, когда на помощь Болотникову, осаждённому воеводами Шуйского в Калуге, из Тулы вышел сильный отряд князя Телятевского. Летописец нам сообщает, что встречное войско московских бояр было наголову разбито Телятевским близ Калуги, «при большом селе на Пчельне» – а это село не могло быть иным, как Бобровым (теперешним Бебелевым), стоящим близ речки Пельна, протекающей всего в полутора верстах от Городни. То есть снова здесь, в живописных окрестностях Городни, произошло событие, едва не повернувшее судьбу всей России. Царское войско оказалось разбито, Болотников вышел из осаждённой Калуги – и, если бы он тогда двинулся напрямик на столицу, а не решил сначала набраться сил в Туле, то бывший холоп князя Телятевского вполне мог бы и «сесть царём на Москве». Ведь столица тогда, если верить летописям, была незащищена: приходи – и бери. Но не случилось Болотникову сесть на царство: вместо этого он был пленён и утоплен в проруби.

До этих пор мы перечисляли, в основном, «раны» и «трещины», разрывавшие тело России – крещение вятичей, борьбу против ордынского ига, вторжение ляхов, гражданские смуты – а где же их, «трещины», исцеление и заживление? Что позволило разрозненной древней Руси стать Россией, сплотиться в единый и жизнеспособный народ? Несомненно, важнейшей основой такого единства явилась православная вера. Пришедшее на Русь из Византии, православие настолько сроднилось с русской душой и Россией, что даже в известном воинском кличе – «Постоим за веру православную и землю русскую!» – понятие «веры» неотделимо от «родины».

А что же наша Городня, то древнейшее поселение на Калужке, о котором мы повели разговор – неужели эти места не отмечены религиозной метой? Оказалось, не просто отмечены – но вот именно здесь, в сельце Тиньково (через речку от Городни) была явлена главная святыня калужской земли.

В 1748 году, на чердаке дома помещика Хитрово (представителя древнего и знаменитого боярского рода), две служанки, перебирая домашнюю рухлядь, нашли свёрнутый холст – на котором увидели изображение женщины с книгой в руках. Одна из служанок решила, что это портрет игуменьи ближайшего монастыря, и, забавляясь, плонула в лик на холсте. Нечестивую девушку тут же разбил паралич; а её родителям во сне явилась дева Мария и объяснила, что их дочь надругалась над её, Богородицы, изображением – и лишь покаяние и молебен пред найденным образом могут исцелить неразумную девушку. Служанка покаялась и исцелилась, а икона была торжественно установлена в барском доме. Следующим чудом, сотворённым иконой, стало исцеление глухого слуги – а затем ещё целый ряд исцелений убедил всех в том, что икона действительно чудотворная.

Поскольку весть о творимых иконою чудесах разошлась далеко по округе – было решено поместить её в ближайший храм «Рождества Богородицы, что на Калужке». Поток паломников и подношения, приносимые ими, оказались столь велики, что уже в 1760 году на месте деревянного храма был выстроен большой каменный (тот, что сохранился доселе), а икона, где Богородица изображена с раскрытой Книгой в руках, стала главной святыней калужской земли.

В 1771 году, когда в Калуге свирепствовала «моровая язва», по просьбе жителей зачумлённого города икона с крестным ходом была пронесена вокруг всей Калуги – и чума прекратилась.

Позднее, в Отечественную войну 1812 года, Богородица Калужская участвовала и в отражении наполеоновских войск. Пленные французы рассказывали, что во время очередного штурма Малоярославца (а город переходил из рук в руки восемь раз!) они видели в воздухе вознесённый над русскими позициями лик Богородицы – Той самой, с Книгой в руках – и многие из французов уже тогда осознали, что война для них безнадежно проиграна. О явлении иконы в сражении под Малоярославцем было доложено императору Александру – и он повелел перенести образ в кафедральный калужский собор, установив день ежегодного празднования чудотворной святыни: 12 октября.

Когда, в 1868 году, тяжело заболел старец Амвросий Оптинский, по распоряжению калужского архиерея икону носили в Оптину пустынь, старец молился пред ней – и болезнь отступила.

Последним чудом, явленным в 19 веке, стало избавление калужан от холеры (1898 год), в честь чего был установлен ещё один день празднования иконы: 18 июля.

Наступивший безбожный 20 век стал веком уже не чудес, но гонений и испытаний. Как и на множестве русских церквей, на храме «Рождества Богородицы, что на Калужке» были снесены купола с крестами (это случилось в 1938 году), а в самом храме поочередно располагались: общежитие, баня и картонажный цех химфармзавода.

Но истинным чудом можно считать то, что икона Богородицы Калужской уцелела, даже не покидая пределов русской земли. Все советские годы икона хранилась в Московской духовной академии при Троице-Сергиевой лавре, а при патриархе Алексии II была возвращена калужской епархии.

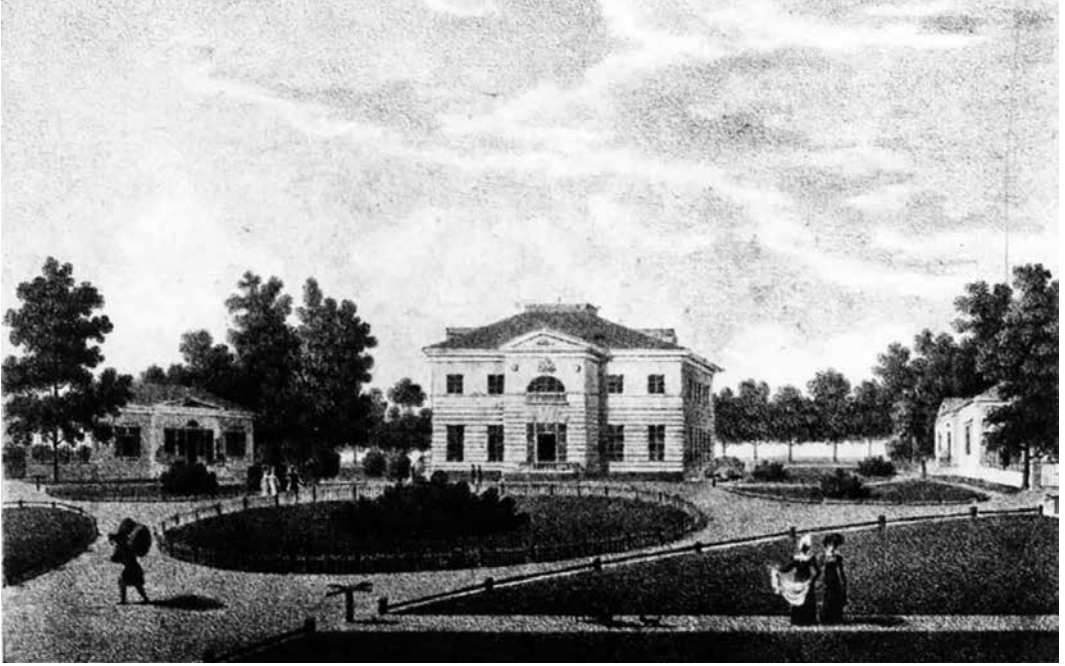
И ныне уже один вид куполов православного храма действует как целебное снадобье. Сколько бы ни выезжал из Калуги в сторону Городня, и сколько бы ни томило тебя разнообразных житейских забот и тревог, но когда, вместо скучных пейзажей окраины – этих строек, автозаправок, развязок, ангаров и магазинов – появляется вдруг вертикаль колокольни, то доселе почти что бессмысленный мир обретает порядок и смысл. Становится ясно, что всё, чем живёт суматошно-растрёпанный город – эта вся суета, беготня, эта злоба текущего дня – в сущности, лишь наваждение. Настоящее – там, где высится храм, где идут службы и где печально-сосредоточенный лик Богородицы обращён к вечно таинственной Книге...

* * *

Но нам предстоит возвращение в 18 век. Городня, после того, как была столицей вятичей, спустя тысячу лет снова становится своего рода столицей: она превращается в маленький филиал Санкт-Петербурга. И превращение это связано с личностью и судьбой княгини Натальи Петровны Голицыной. Одна из ярких фигур 18 столетия, – а этот век был куда как богат незаурядными личностями, – Голицина прожила в Городне почти полвека, превратив своё имение в одну из красивейших и образцовых усадеб России. Большой усадебный дом, выстроенный по проекту знаменитого Воронихина*, до сих пор восхищает своею античной гармонией, а регулярный липовый парк чем-то напоминает сумрачные аллеи Версаля.

Расскажем подробнее о жизни княгини Голицыной, этого «гения» здешних мест. В свете

* Дочь Натальи Петровны, Софья Строганова, писала: «Я нашла, что дом выстроен и меблирован замечательно, я тебя прошу сказать Андре (Воронихину — А. У.), что он сделал его истинно, как драгоценность».



Усадьба Голицыных Городня. Вид каменного дома и двух флигелей.
Из альбома литографий С. П. Лукина с видами усадеб

ходили упорные слухи, что она – внучка Петра Великого. Её дед, денщик императора Семён Чернышов, женился на бедной 17-летней красавице Евдокии Ржевской – и Пётр I дал за девушкой неслыханное приданое: 4 000 душ крестьян! А когда уже сама будущая княгиня Наталья Петровна выходила замуж – то Екатерина Великая лично украсила её причёску собственными (!) бриллиантами и присутствовала на венчании своей фрейлины. Да и всю последующую долгую голицинскую жизнь (она прожила 93 года) княгиня пользовалась исключительным вниманием и уважением всех современных ей императоров и императриц. Так, по просьбе Голицыной из Петербурга в Городню высылали придворных певчих – когда княгине хотелось послушать красивое пение в дворовой голицинской церкви.

Но, была она внучкой Петра или нет – влияние Голицыной на жизнь высшего общества было огромным. В. А. Соллогуб вспоминает: «В городе (Санкт-Петербурге – А. У.) она властвовала какою-то всеми признанною безусловно властью. После представления ко двору каждую молодую девушку везли к ней на поклон; гвардейский офицер, только надевший эполеты, являлся к ней, как к главнокомандующему».

Впрочем, мы забегаем вперёд. Юность Натальи Петровны, тогда ещё Чернышовой, прошла сначала в Лондоне, а затем в Париже, при дворе Людовика XV. Только когда русской красавице (позже её окрестят «московской Венерой») исполняется 21 год, она переезжает в Санкт-Петербург, где становится фрейлиной Екатерины II. И не просто фрейлиной – а самой лучшей: когда в 1766 году устраивается придворный «турнир-карусель», с ездой на колесницах, метанием дротиков и прочими испытаниями тела и духа – Наталья Чернышова

одерживает в этом турнире решительную победу и получает из рук императрицы золотую медаль «за приятнейшее проворство».

Затем была свадьба – графиня Чернышова становится княгиней Голициной – и рождение трёх сыновей и двоих дочерей. Именно в это время Голицина подолгу живёт в Городне, занимаясь охотой (не зря же она побеждала в турнире-карусели!), хозяйством и воспитанием детей. Одной из первых в России она вводит в сельскохозяйственный обиход новую культуру – картофель – за что позже, в 1824 году, княгиню избирают почётным членом Научно-хозяйственного общества. Городня процветает и обрастает новыми поселениями: деревнями Слободка, Натальино, Софьино. Строится большой дом и два флигеля, лакейские корпуса, оранжерея, разбиваются парки, пейзажный «английский» и регулярный «французский» – именно в это время Городня превращается в уменьшенную копию то ли Царского Села, то ли королевского Версаля.

Впрочем, и о Европе княгиня не забывает. В 1781 году она с семьёй едет в Лондон, где в числе её поклонников – не кто-нибудь, а будущий король Англии Георг IV. Не роман ли с наследником британской короны и был скрытой причиной того, что Голицины переезжают в Париж, и следующие шесть лет проводят при дворе Марии-Антуанетты? Именно в эти годы княгиню – а ей уже сорок лет – называют «la Venus muscovite», и на эти же годы приходится зарождение легенды о Сен-Жермене и тайне трёх карт. Магия пушкинской «Пиковой дамы» оказалась настолько сильна, что ныне почти во всех исторических ссылках указано: дескать, княгиня Голицина, в бытность в Париже, встречалась и даже дружила с отцом мирового масонства, авантюристом и колдуном Сен-Жерменом. Хотя на самом-то деле, в 1783 году, когда Голицины только переезжают в Париж – португальский еврей Сен-Жермен уж два года, как умер в Германии.

Но, как бы то ни было, гений Пушкина превратил героиню русской истории в героиню русской литературы – а это чин несравненно высшего ранга. И отныне взгляд всех потомков, изучающих голицинскую судьбу и эпоху сквозь призму пушкинской повести, будет видеть не просто вельможную даму, современницу пяти императоров, обладавшую редким богатством, умом, независимостью и авторитетом – но будет видеть в княгине Голицинной носительницу соблазнительной и пьянящей воображение тайны.

* * *

«Моя «Пиковая дама» в большой моде, – писал Пушкин. – Игроки понтируют на тройку, семёрку и туза. При дворе нашли сходство между старухой и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся...»

Но, хоть повесть сразу сделалась модной, и автор, похоже, был ею доволен, меня не оставляет странное ощущение, что «Пиковая дама» – произведение не вполне пушкинское. Нет, конечно, сомнений в том, кто её автор, не может быть никаких: такие энергия, ум, глубина, краткость, точность, с какими изложена история незадачливого картёжника, могут принадлежать лишь единственному перу. Но – как бы это сказать? – в ней так мало света и воздуха – и, напротив, так много ненастья, тьмы, сумерек, мрачной мистики – что в душу, волей-неволей, закрадывается недоумение: да точно ли Пушкин всё это писал? Или, вернее сказать: что стало с тем Пушкиным, в свете которого мы все грелись, как в лучах солнца – а теперь нас, вместе с автором, пробирает озноб на холодных, ночных сквозняках того мира, что он нам рисует?

В «Пиковой даме» – и это, пожалуй, главное – нет любви. Единственное, что отдалённо напоминает любовь – это болезненно-странное чувство Лизаветы Ивановны к незнакомому ей офицеру (что важно – инженеру, то есть «технарю», сыну прагматически-рационального века), чувство, родившееся из томления одинокой, печальной и незащитной души. Увлечена-то бедная Лиза не живым человеком (она Германа совершенно не знает), а неким призраком, ежедневно маячащим перед её окнами и посылающим письма, слово в слово списанные из плохих немецких романов.

А раз нет любви – нет и света, и жизни. Достаточно сравнить «Пиковую даму» с другой повестью Пушкина, создававшейся почти в то же самое время – с «Капитанской дочкой» – чтобы понять, что я имею в виду. Один из центральных и ледящих кровь эпизодов «Пиковой дамы» – то, как герой в щёлку подсматривает за разоблачением старой графини. «Германн был свидетелем отвратительных таинств её туалета...» Да, если смотреть на жизнь в ту самую щель, в какую видит её инженер Германн – то жизнь превращается в смерть: так же точно, как старуха, поочерёдно сбрасывая с себя оболочки одежды, грима и париков, превращается в нечто потустороннее.

Оттого-то, быть может, «Пиковая дама» и кажется чужеродной светлому гению Пушкина – что автор изобразил «антипушкинский», чуждый себе самому взгляд на мир. Но ведь в этом и состоит верх художественной гениальности: достоверно изобразить антимир и своих антиподов.

Заметим: последняя фраза повести, такая, казалось бы, непритязательно-бытовая – «Томский произведён в ротмистры и женится на княжне Полине» – производит неизменно отрадное впечатление. В этой фразе – тепло самой жизни, которая продолжается, несмотря на безумие Германа и на все те ночные тайны и ужасы, что кроются за изнанкой дневного, привычного существования. Жизнь, какова она есть, при всей её кажущейся и порой утомительной заурядности – это великая и непрерывная битва со смертью и тьмой; и любой человек, даже самый неяркий – просто-напросто в силу того, что он жив – участвует в этой борьбе. А вот Германн, хоть он и молод, решителен, незауряден, умен – дезертировал из рядов жизни и перебежал в лагерь противника. Но дезертир и предатель всегда будет числиться низшим, презренным, чужим существом; даже те, кому он угодил – будут брезговать им и над ним насмехаться. Так и силы, которым решил послужить молодой инженер – легко оставляют его в дураках.

Что же это за силы – что это за «антипушкинский» мир, который изображён в «Пиковой даме» с такой сумрачной мощью? Эти силы собрал под свои знамёна европейский век Просвещения – или, точнее сказать, сами тёмные силы, всегда соблазнявшие как отдельного человека, так и всё человечество, решили выступить под знамёнами «гуманизма» – теми самыми, где начертано «liberte, egalite, fraternite». Обратите внимание: в образе Германа, словно в фокусе, сведены те идеи и те персонажи, которыми на протяжении целых веков соблазнялись и ум, и душа человека – увы, падкие на подобного рода соблазны.

Во-первых, это легендарный масон Сен-Жермен – тот, от которого, через посредство мёртвой старухи, Германн и получает тайну трёх карт. Но Сен-Жермен – сообщает нам Пушкин, – выдавал себя и за Вечного Жиды, и за изобретателя философского камня и жизненного эликсира. Он был носитель тайного знания; можно сказать, Сен-Жермен – потомок библейского змия, с коварной подачи которого Адам с Евой соблазнились запретного

тайной и были за это низвергнуты в царство смерти и времени (то есть в наш земной мир). Эту ветхозаветную парадигму – историю грехопадения – всегда надо иметь в виду, рассуждая обо всех последующих – уже производных от этого первоначального – искушениях и грехопадениях человека.

Но Германн наследует не одному Сен-Жермену. Болтун Томский, рассказывая Лизавете Ивановне о своём приятеле, небрежно бросает: «У него профиль Наполеона и душа Мефистофеля». И перед нашим мысленным взором сразу является другой архетип: доктор Фауст. Пушкин не просто любил, знал, ценил Гёте и его главный труд – но и сам написал «Сцены из Фауста», которые (да простит меня дух великого Гёте) едва ли не превосходят по поэтической мощи и глубине творение немецкого гения. В чём фабула «Фауста»? В том, что человек, искушаемый жаждою знания, вступает в сговор с тёмными силами – и эти силы, как им и положено, в конце концов обманывают его. И, хоть Германн с виду мало похож на почтенного немецкого доктора – но финалы и «Фауста», и «Пиковой дамы» перекликаются. Обезумевший Германн, сидящий в 17 номере Обуховской больницы, и слепой Фауст, которому лемуры роют могилу (в то время как он, бедолага, уверен, что вокруг кипит грандиозная социальная стройка во имя светлого будущего) – не товарищи ли они по несчастью? Сразу хочется перебросить мост и к другому произведению, продолжающему эту же тему – «Котловану» Андрея Платонова. То, что соблазн коммунизма – то есть стремление построить земной рай без Бога – есть такой же союз с inferнальными силами, как и сделка Фауста с Мефистофелем, или Германна с Пиковой дамой – подтвердила, увы, не одна только литература, но и сама жизнь в миновавшем и так разнуздавшем адские силы столетии. Даже в том, что безумец Германн помещён именно в 17-й номер Обуховской больницы – порою мерещится некий намёк-предсказание на грядущие беды России.

Вообще, соблазн тремя картами решить собственную судьбу психологически близок соблазну понять всю трагическую глубину, сложность, запутанность жизни – с помощью какой-нибудь дешёвой брошюры, наподобие, скажем, такой: «Три источника и три составные части марксизма». И тяжкий, трагический, путанный мир в глазах неопита марксизма мгновенно становится прост и понятен – тотчас делается, как писал Гоголь, «виднo страшно далеко во все концы света». Отныне нет ни души, ни любви, ни греха, ни трагедии человека, созданного по образу и подобию Божию и ежечасно теряющего это подобие – нет, остаются лишь классы и классовая борьба, отчётливо-резкое разделение мира на «своих» и «чужих», и необходимость жертвовать настоящим (настоящим во всех смыслах слова) во имя призрака под названием «светлое будущее». Но этот призрак, как он ни манит вначале – так же точно, как Германна манит мысль о возможном, совсем уже близком, выигрыше – он, в конце концов, превратится в старуху, которая подмигнёт своим мёртвым глазом: ну что ж, мол, приятель – вот ты и попался...

Не забудем ещё об одной соблазнительной, мрачной фигуре – тем более что о сходстве с ней Германна в повести упомянуто дважды. Речь о Наполеоне, том самом «сверхчеловеке», чьё появление так взбудоражило мир. Соблазн «сверхчеловека», того, кто – в силу особых ли знаний, полученных им (опять звучит тема «тайного знания» – то есть «трёх карт»), или в силу особых способностей духа и тела – может стать выше морали, оказаться «по ту сторону добра и зла» – этот соблазн посетил как отдельных людей, так и целые расы: к примеру, немецко-арийскую. В этом смысле инженер Германн, одержимый идеей стать выше

других, отвергавший мораль ради тайны магических карт – он прямой потомок не только «сверхчеловека» Наполеона, но и предтеча последующих «сверхчеловеков», как реальных, так и литературных*.

* * *

Но не слишком ли мы удалились от Городни – где жила, процветала и здравствовала княгиня Наталья Петровна Голицина? Думаю, что не слишком. Раз уж мы рассматриваем Городню как некий узел, в котором сплелись важнейшие нити русской истории – то, разумеется, эти места не могли миновать и соблазны, которыми искушалась Россия.

Вот, скажем, век Просвещения – тот, в котором царили Вольтер и ирония, и в котором просвещённому разуму человека отводилась первостепенная роль: разве этот век париков и салонных остроумий не воплотился в усадьбе и в жизни Голицыной? Празднества, что устраивала здесь княгиня (и о которых она рассказала в своих мемуарах), с их фейерверками и балаганами, каруселями и разряженными пейзажами, с театральными постановками, полными образов античной мифологии – они вполне отразили культуру тогдашней Европы, за которой в 18 веке так тянулась образованная Россия. И недаром прототипом злоедей Пиковой дамы, подруги самого Сен-Жермена, стала именно княгиня Голицина, одна из колоритных фигур не просто русского, а европейского Просвещения.

Не век ли Голицыной бросил в здепнюю землю те семена, которые, много позже, дали столь неожиданно-странные всходы? Как объяснить такой поразительный факт: именно здесь, в Городне, в 1918 году была создана первая в Калужской губернии (стало быть, и одна из первых в России) сельскохозяйственная коммуна? Как раз эту коммуну называли так красиво и так по-революционному – «Красный городок» – и это название сохранилось доселе.

На первый взгляд кажется, мало общего между тем миром, что строила в Городне княгиня Голицина – этими всеми прудами и парками, оранжереями и флигелями – и аскетическим миром первой коммуны. Но различны эти миры лишь на поверхности; сходство их в том, что и княгиня, и коммунары 20 века пытались построить здесь, в Городне, земной рай – взамен утраченного небесного. Но, как и следовало ожидать, неудачами завершились обе попытки: и «частный рай» княгини Голицыной, и «общественный рай» коммунаров со временем превратились в руины.

И, что важно, предприняты эти попытки вблизи святых мест – там, где была явлена чудотворная икона «Богоматерь Калужская». Ибо всякое зло, не имея собственной бытийной основы, вынуждено подпитываться энергиями добра. Все роковые заблуждения человечества – такие, к примеру, как гуманизм Возрождения и Просвещения, или коммунизм, едва не похоронивший Россию в 20 веке – все они выросли из лучших и светлых стремлений: из жажды свободы, добра, справедливости, общего счастья. Но благими намерениями вымощена дорога известно куда; когда человек, возмнивший о себе слишком много, начинает строить земной рай по собственному разумению и произволу – то в реальности этот рай очень скоро начинает напоминать то ли тюрьму, то ли психиатрическую больницу.

* И самый прямой, очевидный «потомок» его – Родион Раскольников. Тот тоже «заболел» Наполеоном, тоже решил примерить на себя роль «сверхчеловека» – но, к счастью, этой роли не выдержал.

Пушкин в «Пиковой даме» как раз показал, где и чем завершается путь, на который свернул человек в момент грехопадения — когда возжелал запретного знания, дающего власть над миром — тот самый путь, по которому, вслед «просвещённой» (а, в сущности, впавшей в затмение) Европе двинулась и Россия.

Но Пушкин не только поставил диагноз — он предложил и лечение. Он указал на тот путь, по которому можно — ну, если и не совсем возвратиться в утерянный рай — то, по крайней-то мере, обрести то земное, возможное счастье, которое, как он повторял следом за Шатобрианом, «лежит на избитых дорогах». Размышлениям о счастье посвящён другой пушкинский труд: «Повести Белкина», самая светлая книга русской литературы. Её разбор — тема отдельного и обстоятельного разговора; пока же мы лишь отметим ещё одно поразительное сближение: из тех «странных сближений» (по выражению Пушкина), что заставляют нас подзревать в явлениях жизни не просто череду случайных событий, кое-как сцепленных причинно-следственной связью — но позволяет почувствовать в них именно что Провидение, воплощение высшего, нам ещё недоступного, замысла.

Совсем недавно, в 2015 году, был найден след реального Белкина, то есть того человека, чью фамилию Пушкин отдал вымышленному сочинителю цикла из пяти повестей. В «белкиноведении» это событие столь же важное — как, скажем, в шекспироведении обнаружение следов реального Вильяма Шекспира, ростовщика из города Страдфорд-на-Эйвоне, которому истинный сочинитель «шекспировских» текстов вручил авторские права.

Так вот упоминание о майоре Фёдоре Степановиче Белкине, близком соседе Гончаровых (их имения разделял какой-то десяток вёрст), обнаружено не где-нибудь в Петербурге, Болдино или Михайловском — а найдено в метриках церкви Преображения Господня села Ферзиково Калужской губернии. Но ведь ныне Городня — деревня именно Ферзиковского района! От Городни до Ферзиково — считая по-старому, один почтовый перегон: чуть более тридцати вёрст. Стало быть, наша любимая Городня связана не с одной «Пиковой дамой», но и с «Повестями Белкина» — то есть здесь важный узел не только русской истории, но и русской литературы.

* * *

А что же мы видим здесь, в Городне, ныне? Места, где когда-то, возможно, была древняя столица вятичей, остаются удивительны и по сей день. Узлы и противоречия русской жизни и ныне здесь стянуты так напряжённо и туго, что диву даёшься: как это всё уживается вместе?

Ну вот, например: где ещё вы найдёте современнейший международный аэропорт — расположенный буквально впрытик к городской мусорной свалке? Такое — только в России; и не просто в России, а в одном из её узловых и сакрально-мистических мест: по дороге на Городню, как раз против сельца Тиньково, где была явлена главная из святынь калужской земли. Ныне можно увидеть, как мерцают в тумане огни взлётной полосы, серебристые «Боинги» с гулом взмывают над куполами храма «Рождества Богородицы, что на Калужке» — а вороньё, потревоженное рёвом самолётных турбин, начинает кричать и метаться над горами мусора... Картина одновременно и жутковатая, и символическая; не можешь понять, где же ты оказался: в стране обветшалой и мусорной, списанной в прошлое — или в той, которая только что начала набирать высоту?

Но символы символами, а люди продолжают здесь строиться, жить, укрепляться – несмотря ни на гул самолётных моторов, ни на близость мусорной свалки. Копаются рвы под фундаменты и возводятся стены, закладываются сады, гудят пчёлы, мычат коровы и блеют овцы, дети играют на обочинах деревенских дорог – то есть продолжается то же самое, что здесь происходило и тысячу лет назад. Как всю эту тысячу лет, люди мечтают о рае и ждут, что он непременно наступит – ну, если и не при их жизни, то хотя бы при жизни детей или внуков. И, хоть мечтаниям этим никогда в полной мере не сбыться – но люди, пока они люди, не в силах расстаться с заветной мечтой. Не она ли и помогает нам жить и терпеть всевозможные тяготы, беды, удары судьбы? Не мечта ли о райских садах движет теми, кто и сейчас – как и все миновавшие десять веков – обживается здесь, в Городне?

А, может быть, именно здесь и находится рай – просто мы не всегда замечаем его? Может, рай – это старый голицинский пруд с изумрудною ряской в затонах и с дикими утками, что вдруг шумно взлетают по-над ивняком? Или этот родник на Калужке – журчащий, сверкающий, весь в пятнах лиственной тени? Или этот вот солнечный мартовский склон под дубами – где небесная синева наверху так густа, и где угольно-чёрные вороны, кувyrкаясь в ней, даже не каркают, а утробно и влажно клокочут? В такие-то дни понимаешь, что рай, при всей его недостижимости, всегда рядом с нами, и нам нужно всего лишь увидеть его – взглядом радостным и благодарным...

2016 г.

В л а д и м и р О б у х о в

КЛАССИЧЕСКАЯ КАЛУГА

Дворцовый ансамбль и Соборная площадь

Классический классицизм

«Калуга – это город русского классицизма» /15, с. 55/. Так писал некогда Е.В. Николаев, славный исследователь старой русской архитектуры. И был, конечно, прав.

Однако осмелюсь все же уточнить эту формулу.

Калуга – это классический, образцовый город русского классицизма. Шедевр градостроительного искусства второй половины XVIII – первой половины XIX столетия.

Даже и теперь, когда облик городского ансамбля во многом искажен – и все более, более искажается – все же сохранились еще и замечательной цельности фрагменты старой застройки, и великолепные строения именно этого стиля.

Главное же – сохранилось самое ядро старого города: перестроенный на классицистический лад калужский кремль.

Вообще-то говоря, классицизм – это подражание классике: искусству античности и Ренессанса. А что, казалось бы, хорошего в подражательности?

Но подражание подражанию – рознь. Иногда оно оборачивается восхождением к классике, становясь живым творчеством.

И в России, с ее неисповедимой судьбой, классицизм, видимо, просто не мог не обернуться классикой. Художественные, архитектурные формы, давным-давно возникшие и за долгие времена пользования содержательно истощенные, будучи перенесены на плодоносную русскую почву, обрели живой блеск и новое осмысление.

Вспомним, как француз Фальконе, мастер изящнейшего рококо, вдруг взгромоздил на петербургской Сенатской площади мощного Медного Всадника, вполне сопоставимого по своим художественным качествам с великими монументами античности и Ренессанса.

Да и в целом эпоха классицизма в России – эпоха грандиозного искусства, во многих отношениях родственного европейскому Возрождению. Это эпоха Державина и Баженова, Пушкина и Захарова, Гоголя и Витберга – личностей титанического склада.

Эпоха колоссальных замыслов и больших дел.

И как раз одно из самых великих деяний этого времени – градостроительство. Классический Петербург, классическая Москва, классическая Тверь – вершинные создания всей отечественной архитектуры, возникшие чуть ли не разом, вследствие целенаправленной государственной воли.

В этом блистательном ряду – и классическая Калуга с великолепным ансамблем, возведенным на месте старинной городской крепости.

Написано об этом ансамбле немало дельного и умного. Но даже и в наиболее содержательных трудах содержатся порой спорные, а то и заведомо ошибочные утверждения.

Достаточно часты в исторической и краеведческой литературе и всякого рода неточности, вызванные не слишком основательным знанием истории и теории архитектуры. Так,

в одной из книг в качестве прообраза калужских Присутственных мест названы «арка Тита, дворец Диоклетиана в Сплите на территории современной Хорватии, древнеримский порт Октавии, мост Флавиана в Сен-Шама во Франции» /1, с. 123/.

Хорошо хоть не Вавилонская башня и не сады Семирамиды.

Что уж говорить о непрерывно растущем массиве газетных публикаций, в которых множатся старые ошибки и плодятся новые.

А потому нужно хоть в какой-то мере систематизировать накопившийся историко-художественный материал – и попытаться, наконец-то, выявить и справедливо оценить идейно-художественные качества ансамбля.

При этом, разумеется, те доводы и выводы, которые составляют основное содержание этой книги, ни в коей мере не претендуют на то, чтобы считаться окончательными и безошибочными.

Тут больше начал, чем концов.

Всякое дело – это ведь прежде всего подступ к ряду будущих дел.

Начало начал

Классицизм явился в Калугу торжественно и пышно – в 1775 году, с приездом сюда Екатерины II.

12 декабря 1775 года она направилась в ознакомительную поездку по городам тогдашней Московской губернии. Посетила Серпухов, Тулу и уже затем – Калугу.

До самого последнего времени событие это описывалось в краеведческой литературе путано и странно. Утверждалось, например, что остановилась императрица в доме Демидова, в котором позднее располагалась городская дума. Но здание это выстроено было, скорее всего, уже после отъезда Екатерины.

И лишь теперь историк В.А. Бессонов достаточно точно реконструировал это событие, опираясь, главным образом, на Камер-фурьерский журнал.

В Калугу императорский обоз въехал вечером 15 декабря, после пребывания в Туле (то есть – через Тульскую заставу старой Калуги).

На этом основании В.А. Бессонов даже предположил, что «к встрече Екатерины II калужским купечеством были сооружены деревянные триумфальные ворота, которые до наших дней не сохранились» /1, с. 48/.

Предположение это представляется мне лишним оснований.

Прежде всего, практически нереально было построить в несколько недель, а уж тем более в два-три дня, даже и деревянные триумфальные ворота. С другой стороны, случись такое чудо и будь они все же построены, то, несомненно, просуществовали бы достаточно долгое время: стали бы для калужан огромной мемориальной ценностью.

И, несомненно, сохранилась бы память о них – и в устных преданиях, и в письменных источниках (ведь постоянно предпринимались бы усилия по сохранению столь значимого памятника).

Вместе с тем совершенно непонятно, почему императорский обоз, как, видимо, полагает Бессонов, должен был сразу же, напрямик, устремиться к соборной церкви калужского кремля.

Скорее всего, по этому, наиболее краткому, маршруту незамедлительно проехал лишь архиепископ Московский Платон, сопровождавший Екатерину II в ее путешествии, – дабы приготовить достойную встречу императрицы в соборном храме «по чину церковному» /с. 51/.

Весь же остальной санный поезд, несомненно, направился по улицам города к каменным Московским воротам, только что и специально к приезду Екатерины II отстроенным. Полагая, устроить объездной путь к ним было вполне возможно.

И даже не слишком сложно.

В конце концов, следует доверять коллективной памяти жителей старой Калуги.

А ведь Московские ворота именовались вплоть до революции еще и Екатерининскими – как раз в память о Екатерине II. Лишь после революции 1917 года, по вполне понятным причинам, это название вышло из употребления.

Так что, вне всякого сомнения, именно от Московских ворот направилась императрица со своею свитою «при радостных стекавшегося многочисленного народа восклицаниях» (с. 51) в калужский кремль, в соборную церковь.

И уже там, в соборе, архиепископ Платон произнес «от всего города приличную речь. А по выслушании ектинии и по воспетии многолетствия, Ея Величество, приложась к Святым иконам, из церкви соизволила отбыть в назначенный для Высочайшего Ея пребывания каменный дом тамошнего купца Карасева» /1, с. 51/.

Бессонов предполагает – совершенно справедливо на этот раз – что речь тут идет о доме купца Василия Ивановича Карасева (нынешний адрес строения – улица Московская, 19). По внешнему облику своему – это типичнейший образец архитектуры раннего классициз-



Московские (Екатерининские) ворота.
Фото-тинто-гравюра товарищества «Образование».

ма, с весьма характерным для 1760-1770-х годов декором: с лишенным какой бы то ни было эффектности сочетанием слабо углубленных ниш и лопаток.

Скорее всего, на классицистический лад здание было отделано как раз к приезду императрицы: любой российский чиновник той поры знал о ее пристрастии к новомодной архитектуре.

Именно с перестройки этого дома и с постройки Московских ворот начинается история классицизма в Калуге.

Примечательно, что свой скромный облик дом Карасева, известный еще и как «старая аптека», сохранил до наших дней. Не был изукрашен каким-либо декором, не обзавелся колоннадой. Может быть, как раз потому, что калужане в позапрошлом столетии еще помнили, что именно тут останавливалась императрица.

«В доме Карасева Екатерину II встретили и поздравили с благополучным прибытием дворяне, члены магистрата и «первостатейные кушцы» /с. 53/.

«В сей вечер, – сказано в Камер-фурьерском журнале, – весь город был иллюминирован и зажжены приличные огни» /с. 53/.

А в «Рукописи 1791 г.», еще одном источнике, которым воспользовался Бессонов, сообщается, что от дома Карасева до триумфальных ворот «было стечение народа бесчисленное, всякого возраста и обоего пола» /с. 53/.

Кстати сказать, тут явно имеются в виду Московские ворота, а не Тульская застава, уж очень далеко отстоящая от дома Карасева.

На следующий день императрица съездила в Полотняный Завод, а 17 декабря «в провождении многочисленного народа, при колокольном звоне и пушечной пальбе, из одного города соизволила воспринять отсутствие» /1, с. 59/.

Так что пребывание ее в нашем городе было недолгим – однако же чрезвычайно значимым. Калуга явно пришла ей по душе. И почти сразу же изменился статус Калуги, что на долгие годы вперед предопределило и будущее гордского ансамбля.

24 августа 1776 года датируется именной указ Екатерины II Сенату «Об учреждении вновь Калужской губернии, из 12 уездов»: «Мы, почитая за благо учредить вновь Калужскую Губернию, повелеваем быть в ней следующим двенадцати уездам, а именно: Калужскому, Тарусскому, Малоярославецкому, новоназначенному которому впредь название дано будет, Воротыньскому, Мосальскому, Серпейскому, Мещовскому, Козельскому, Перемышльскому, Лихвинскому и Одоевскому, и в сию Губернию Всемилостивейше жалуем в должность Государева Наместника Тверского губернатора Кречетникова, которому от Нас повеление дано, помянутые уезды наперед самому объехать, и о удобности положения их нам донести, почему тогда и об установлении в сей Губернии правления по новому Нашему учреждению повеление от Нас дано будет» /с. 77/.

А 26 октября того же года указом императрицы «О назначении для Калужского наместничества уездных городов» список уездов уточняется. Их центрами отныне становятся Калуга, Боровск, Козельск, Лихвин, Малоярославец, Медынь, Мещовск, Мосальск, Одоев, Перемышль, Серпейск, Таруса /1, с. 100/.

Михаил Никитич Кречетников перебирается в Калугу не один. Вместе с ним приезжает в столицу нового наместничества Петр Романович Никитин (1720-1784), на ту пору наиболее опытный и умелый градостроитель Российской империи /16/.

Только что под его руководством вчерне построена заново Тверь, почти полностью выгоревшая в страшном пожаре 1763 года. Тем самым осуществлен чуть ли не самый главный градостроительный проект царствования Екатерины II – проект образцового русского провинциального города.

Сам Никитин – москвич, бывший ведущий архитектор «первопрестольной». В Москве у него – свой дом, своя художественная мастерская, доставшаяся ему в наследство от родного дяди – великого русского портретиста Ивана Никитина.

Но домой, в Москву, Никитин возвращаться не захотел.

Там нет ему работы, достойной его заслуг, званий, ранга.

Тон в тамошних архитектурных делах задают в эту пору довольно-таки молодые еще зодчие – Василий Иванович Баженов и Матвей Федорович Казаков.

Правда, положение Баженова к этому времени стало чуть ли не катастрофическим. Только что, в 1775 году, полным провалом закончилась его попытка создать «восьмое чудо света» – гигантский Кремлевский дворец.

Но императрица все еще милостива к нему. Баженову предложено выстроить Царицынский дворец – в готическом духе.

Это дело также закончится катастрофой для Баженова. Но уже после смерти Никитина – в 1785 году.

Особенно же ревниво должен был, видимо, следить Никитин за стремительной карьерой – Казакова. Ведь еще совсем недавно тот был его учеником, а затем помощником в тверском строительстве, исполняя главным образом обязанности рисовальщика и чертежника.

Но очень вовремя вернулся в Москву, быстро и удачно выстроил к приезду императрицы временный Пречистенский дворец. И вот он в фаворе.

И начинает строить сразу три царских дворцовых здания.

Начиная с 1775 года, им ведется строительство псевдоготического Путевого дворца и малого, так называемого Николаевского дворца в Кремле (он примыкал некогда к Чудову монастырю).

А с 1776 года там же, в Кремле, строится Казаковым знаменитое здание Сената.

Вообще-то официально именовалось оно на первых порах «домом присутственных мест». Российский же Сенат на ту пору, как известно, располагался в Петербурге.

Но Екатерина II распорядилась перенести в Москву два сенатских департамента: судебный и ведающий правами дворян.

Новый кремлевский дворец предназначен был для московского отделения Сената (позднее, вплоть до революции, в нем располагался Окружной суд).

И надо отдать должное Казакову: он очень постарался, чтобы создать одно из наиболее эффектных административных строений России.

Он выстроил треугольное в плане здание – с тремя внутренними дворами и с великолепной ротондой, мощный купол которой (диаметр его – аж 24,7 метра) возвышается над кремлевской стеной.

Мог ли Никитин составить конкуренцию Баженову и Казакову, вернулся он в Москву? Конечно, не мог – по той простой причине, что все крупные государственные заказы уже реализовывались его молодыми соперниками. А новых заказов такого уровня не предвиделось.

Вместе с тем вряд ли он был в восторге от того, что его ученик превратился чуть ли не ра-

зом в ведущего архитектора Москвы, оттеснив на вторые роли Карла Ивановича Бланка, давнего его сотоварища. Да и самого Никитина ото всех больших московских строек отодвинул.

Ныне даже странным может показаться, что Бланк и Никитин могли составлять конкуренцию Баженову и Казакову, признанным классикам отечественного зодчества. Но это – теперь, а середине XVIII века расстановка художественных сил и величин выглядела совершенно иначе.

На эту пору Никитин был надворным советником (то есть гражданским подполковником). А тот же Баженов, хоть и был на совершенно особом положении, тем не менее числился лишь капитаном в артиллерийском ведомстве.

По нашим временам это – достаточно мелкое обстоятельство. Но в екатерининской России табель о рангах имел еще огромное значение.

В кругу своих современников Казаков и Баженов воспринимались как удачливые молодые люди, сумевшие оказаться «в случае». Никитин же был давним «полным архитектором», честно-благородно дослужившимся до своего обер-офицерского звания.

К тому же и Казаков не питал, похоже, добрых чувств к своему недавнему наставнику. И уж точно никак их не выказывал.

Примечательно, что уже много позднее в пояснении к чертежу «фасада главного корпуса казенного дома, в котором имеют пребывание главнокомандующие в Москве», воспроизведенном в одном из знаменитых своих альбомов, Казаков указал, что имени автора проекта «за давностью лет не упомянуть» /16, с. 129/.

Надо было обладать удивительной беспамятностью, чтобы умудриться забыть имя кого-либо из московских зодчих середины XVIII века, дослужившихся до высокой должности архитектора (их на всю страну тогда было всего несколько человек).

Но все объясняется, думаю, просто. У меня нет сомнений, что автором «казенного дома» на Тверской улице Москвы, ставшего ныне, после нескольких кардинальных переделок знаменитым «Домом Моссовета», был как раз Никитин.

И вот именно это-то имя Казаков постарался не упомянуть.

Не потому ли, что уж слишком многим был обязан своему учителю? И не хотел, чтобы его воспринимали как эпигона Никитина?

А ведь в работах этого зодчего, талантливого и дельного, при внимательном рассмотрении можно увидеть немало «цитат» – прямых или косвенных подражаний Никитину.

Я уверен, что сам Казаков о Никитине помнил. И очень крепко помнил. Но сделал все возможное, чтобы другие о нем позабыли.

И это ему блестяще удалось. Имя его учителя было совершенно забыто на долгие годы.

Да и ныне оно, по большому счету, мало кому известно.

Став волею то ли случая, то ли императрицы провинциальным зодчим, Никитин имел шанс сохранить свой статус ведущего градостроителя России, лишь создав нечто экстраординарное. Под стать задуманному им и уже отчасти реализованному классическому ансамблю Твери.

В Калугу он направился, скорее всего, именно потому, что только тут он мог в максимальной мере реализовать свои художественные планы.

Конечно, можно не сомневаться, что Кречетников обещал ему, в случае переезда в Калугу, надежный и большой заработок, столь же надежный и высокий статус.

Но, думается, более всего увлекла Никитина амбициозность молодого вельможи, явно желавшего превратить столицу своего наместничества в один из самых блистательных городов Российской империи.

Так, в общем-то, и случилось.

Уже осенью 1777 года в Петербург, в «Комиссию о каменном строении Петербурга и Москвы» был направлен «План города Калуги с поселенными при нем слободами» – проект генерального плана переустройства города на новый лад.

И был возвращен обратно с предложением переделать его – с резолюцией: поскольку, мол, на плане «нынешних каменных домов не назначено, то чтоб регулированием не дошли к ломке, оный план возвратить к калужскому наместнику с сообщением, чтоб, назначая на нем все нынешнее каменное строение, благоволил тот план прислать обратно в Комиссию» /23, с. 126/.

В марте 1778 года окончательный вариант генерального плана Калуги был направлен в столицу – и уже вскоре, после того как в него были внесены Комиссией некоторые изменения, был «конфирмован» Екатериной II.

План этот великолепен: красные линии будущих улиц и площадей остроумно соотносены со сложившимся строем застройки.

Но это само собой разумеется: ведь создан план, в основе своей, опытейшим и многоумным градостроителем Никитиным.

Поражает другое – грандиозность задуманного Никитиным дворцового комплекса, который решено было выстроить на территории старого калужского кремля.

Состоять он должен был из здания Присутственных мест, собора, домов наместника, губернатора и вице-губернатора.

Уже в «описании Калужского наместничества» (1785 года) о Присутственных местах сказано буквально следующее: «Каменный корпус (параллельный Оке) в два жилья длиною на 64 с., шириною на 6 с. В нем помещены Наместническое правление, приказ общественного призрения, совестной суд, зала для Общего собрания, Чертежня и Городническое правление. По обеим сторонам сего здания находятся по одному корпусу в два жилья, длиною каждый на 103 саженьях, соединяющиеся с первым каменными галереями, из коих каждая простирается на 20 с.» /11, с. 90-91/.

Размеры строения приведены здесь в саженьях. Если же перевести их в метры, то оказывается, что протяженность корпусов Присутственных мест, задуманных и выстроенных как единое здание, охватывающее собой чуть ли не весь кремль, составляет почти семьсот метров, что вполне сопоставимо с длиной фасада гигантского петербургского Адмиралтейства, одного из самых больших дворцовых строений дореволюционной России (780 метров).

«Даже теперь, – пишет Фехнер, – сравнительно невысокий комплекс строений в «два жилья» производит впечатление монументального произведения» /25, с. 71/.

И, впрямь, смотрится здание внушительно.

Но можно ли назвать его невысоким? Высота каждого из этажей тут такова, что в прежние времена в восточном корпусе удалось разместить два внушительных размеров храма – на первом и втором этажах.

А вместе с тем следует иметь в виду, что корпуса Присутственных мест на самом-то деле отнюдь не только «в два жилья», как это написано в «описании» (составленном, полагаю,

намеренно-осторожно, дабы не смутить петербургское начальство, отнюдь не одобрявшее устремления провинциалов превзойти в архитектурных деяниях столицу).

Прежде всего, в три этажа отстроена центральная часть Наместнического корпуса.

Да и боковые корпуса словно бы вырастают, простираясь на юг, – в силу рельефа местности. В меньшей степени – западный корпус. В наибольшей мере – восточный. И уж он-то почти на всем своем протяжении – трехэтажный.

Южные торцы боковых корпусов должны были стать особенно высоки, особенно эффектно.

Более того, когда в 1830-е годы к западному корпусу было пристроено южное крыло /24, с. 58/, то центральная часть фронтона этого крыла была отстроена в четыре этажа!

Так что здание Присутственных мест не только охватывает гигантское пространство, но и само по себе чрезвычайно внушительно.

И, конечно же, это в полном смысле слова дворец, несмотря на «очень скромную отделку фасадов» /24, с. 58/. Она ведь и не могла быть иной в эпоху классицизма, когда пышность архитектурного оформления почиталась безвкусием.

Дворцовый строй здесь присущ самой архитектуре – скромной, но внушительной, возвышенно-торжественной.

Но при этом Никитин явно рассчитывал на то, что кульминацией того архитектурного действия, которое начинается и разворачивается вдоль фасадов здания Присутственных мест, станет южный фронт строений: дома наместника, губернатора и вице-губернатора. И в первую очередь центрального здания – парадного склада дворца, фланкируемого по сторонам, словно огромными флигелями, еще двумя дворцами.

Не надо и гадать, как должны были выглядеть эти строения.

В 1806 году Ясныгиным были подготовлены чертежи «двухэтажного дома с антресолями для губернатора» /24, с. 73, 74/. И у меня нет никаких сомнений, что автором будто бы ясныгинского проекта был Никитин. Хотя бы потому, что стилистически проект этот явно датируется 1770-ми годами.

Да и странно было бы, если бы Ясныгин, получив задание выстроить-таки губернаторский дом в калужском кремле, начал бы делать новый проект взамен уже готового и казной оплаченного.

Проект, впрочем, осуществлен не был. Дом губернатора был в итоге построен по «образцовому проекту», присланному из Петербурга. Причем, видимо, как раз на том месте, которое было отведено ему Никитиным и Ясныгиным (правда, на одном из планов, воспроизведенных Днепровским, первоначально тут должен был быть выстроен дом «государева наместника») /5, с. 65/

А вот как выглядело бы центральное строение южного фронта домов ?

Мне представляется, что близким аналогом ему был дом калужского вице-губернатора Ф.П. Загряжского /24, с. 76-77/.

«Проект вице-губернаторского дома, – пишет Фехнер, – составленный Ясныгиным в том же 1806 году и выдержанный тоже в стиле ранее построенных Присутственных мест, также было предложено заменить «образцовым» проектом Захарова. Но постройка дома не была осуществлена, и в 1816 году вице-губернатор Загряжский приступил к сооружению собственного дома на Большой Дворянской улице (ул. Кирова)» /24, с. 76/.

Загряжский попросту не захотел жить в казенном, то есть временном для него, доме, стоящем к тому же на казенной земле. И построил свой собственный дом. Но дом этот, погибший в 1941 году, и впрямь был «в стиле» Присутственных мест.

Право же, вполне логично было использовать никому уже на ту пору не нужный, а вместе с тем наиболее эффектный, проект кремлевского дворца, но, возможно, несколько измененный.

Во всяком случае, именно этот архитектурный образ был бы очень к месту – в южной части калужского кремля. Трехэтажный в центре, двухэтажный по бокам, фасад этого великолепного здания вполне мог быть главным фасадом всего дворцового комплекса.

В ином случае странным и нелогичным оказывалось бы то обстоятельство, что фасад Наместничества не имеет колоннады. Никитин ограничился тут пилястровым портиком, пусть и весьма внушительным.

Стоит отметить при этом, насколько парадный вид имеют въездные арки, «в композицию которых Никитин ввел колонны и ниши для скульптур» /24, с. 71/. И поныне они – чуть ли не наиболее торжественные части дворцового ансамбля. А ведь несомненно, что задуманы они были как архитектурные прелюдии – врата во дворец, за которыми раскрывается вид на великолепную площадь, обрамленную со всех сторон великолепными фасадами.

Но почему же южная сторона площади так и не была обустроена?

Уж, конечно же, не «благодаря градостроительному чутью Ясныгина» /34, с. 74/, занявшего, после смерти Никитина, должность губернского архитектора.

Фехнер, так высоко оценившая некогда таланты И.Д. Ясныгина, почему-то не приняла во внимание простое обстоятельство, ей, так основательно знакомой с архитектурным искусством, конечно же, бывшее знакомым.

Архитектурные проекты создаются сравнительно быстро: в течение нескольких месяцев, недель, а то и дней. Но вот реализуются они нередко очень и очень долго. Иногда на протяжении нескольких десятилетий.

Можно не сомневаться, что Никитин сумел еще в первоначальную пору пребывания своего в Калуге спроектировать все строения дворцового комплекса (как и многих других зданий классической Калуги).

Но как ни энергично велось строительство на территории кремля, все же длилось оно много и много лет: финансирование работ было скудным и эпизодическим. И многое переменялось за это время.

Ушел из жизни Никитин. Покинул Калугу Кречетников. И строительство шло уже по инерции, заданной этими замечательными людьми. По никитинским чертежам.

Но вот отменилась должность наместника. А значит, отпала нужда в одном из трех запланированных строений кремлевского ансамбля. В итоге удалось построить лишь дом губернатора.

Можно, конечно, сколько угодно восторгаться тем, что «вид на реку и Заречье остался открытым и соборная площадь протянулась до обрыва к реке» /23, с. 74/.

Но авторами этого решения стали безличны силы русской истории. А уж никак не те или иные зодчие.

Хотя, конечно, открытость площади в безбрежность окских далей на свой лад и выразительна, и содержательна. Но лад тут – сугубо романтический, чуждый духу высокой классики.

Так что задуманный Никитиным дворцовый ансамбль лишен своего завершения, своего венца.

А тем не менее ансамбль, пусть и выстроенный не в полной мере, все же не кажется незавершенным.

Ведь весь комплекс казенных строений был задуман Никитиным как драгоценное обрамление громады городского собора.

Самая суть замысла ансамбля, может быть, не вполне даже осознанная самим автором – в воплощении художественно-архитектурной формулы единства православной Церкви и государственной власти.

Именно соборный храм тут, став средоточием всего грандиозного ансамбля, обозначает собою власть небесную, возвышаясь над корпусами Присутственных мест, представляющими власть земную.

Так что задуманный Никитиным архитектурный образ калужского кремлевского ансамбля не только прекрасен, но и очень содержателен.

И уж совершенно необычайна еще одна никитинская задумка.

Здание калужского кремлевского дворца словно бы нанизано на мощную уличную магистраль: старинная Тульская улица обращается в проезд вдоль северного фасада Присутственных мест, а тот, в свою очередь, преобразуется в улицу, устремляющуюся через Каменный мост в Завершье.

Город и дворец слиты воедино.

Раскрываясь вовне, дворцовый ансамбль раздвигается, расширяется на запад, север и восток. Как его продолжение воспринимаются дома соборного причта и Каменный мост.

Зданий соборного причта было задумано и построено три. Одно из них было снесено при подготовке к строительству Дома печати (заодно снесли деревянный дом эпохи классицизма). Еще два здания причта отчасти сохранились в качестве флигелей нынешнего Концертного зала имени Танеева.

Первоначально же три эти здания, выстроенные уже в пору строительства собора, но, несомненно, запроектированные много раньше, вкупе с кремлевскими дворцами, предназначены были определять направленность и строй пронизывающих западную часть дворцового комплекса магистралей – юг-север и запад-восток. Да и сами по себе они, конечно же, были очень хороши: три архитектурных кристалла.

А с запада и востока предполагалось поначалу выстроить сразу два каменных моста через овраги – Ильинский (Городенский) и Березуйский.

Выстроен был только один.

Но примечательно, что случилось это уже ко времени утверждения генерального плана.

Каменный мост

В Ведомости калужского городничего, датированной сентябрем 1777 года, указано: «В городе малотекущая речка Березуйка, через которую строится высокого здания мост и приходит к окончанию» /6, с. 42/.

Есть этому и подтверждение несколько более позднее. В ноябре 1778 года «с 14 на 15 число в ночи были буря и ветер. На каменном мосту с 7-и лавок всю кровлю сорвало и на другую сторону к лавкам поставило» 6, с. 42/.

То есть к тому времени, когда утвержден был генплан, не только сам «высокого здания мост», высотой более 25 метров, был построен, но уже «на его расширенных концах, по обе стороны от проезжей части, строго симметрично стояли четыре каменных строения с семью лавками в каждом из них» /25, с. 85-86/, предназначенные для продажи товаров и складирования воинского имущества.

Случилось это в силу целого ряда обстоятельств.

Конечно, для Калуги построение моста через Березуйский овраг имело большое значение: он связал кремль с Завершьем, западную часть города – с восточной.

Но вряд ли именно этим определялся стремительный темп проектирования и строительства моста.

Скорее всего, причина тому – то обстоятельство, что строительство моста осуществлялось на средства, выделенные купечеством (надо полагать, во исполнение пожеланий господина государева наместника). А потому не могло быть и не было задержки с финансированием работ.

Было, думается, еще одно обстоятельство, ускорившее дело.

Обширные и глубокие овраги могли изрядно замедлить подвоз строительных материалов на территорию крепости, становящейся большой строительной площадкой. Особенно в пору сильных дождей, которые могли попросту снести небольшие деревянные мосты, располагавшиеся над речкой Березуйкой и Городенским ручьем.

Впрочем, к построению второго моста, через Ильинский (Городенский) овраг, не было даже подступа.

Вот запись, сделанная купцом Губкиным в его «Драгоценной памяти»: «Сего /1780. – В.О./ года зачали засыпать ров в Калуге которой речется полицейский в городе он начинался близ соляного амбара того числа же и амбар снесен и в 1783-м году засыпан по старой полицейской мост длиной сажень на 100» /6, с. 47/.

Судя по этой записи, постепенно, в течение нескольких лет удалось засыпать верхнюю часть оврага и ров, выкопанный в стародавние времена к северу от кремля – более чем на двести метров.

Работа эта велась практически одновременно со строительством здания Присутственных мест.

И, надо полагать, это было весьма разумно.

Ведь землю, вынутую при кошке фундаментов, можно было тут же ссыпать в ров и в овраг. Таким же образом можно было избавляться от строительного мусора.

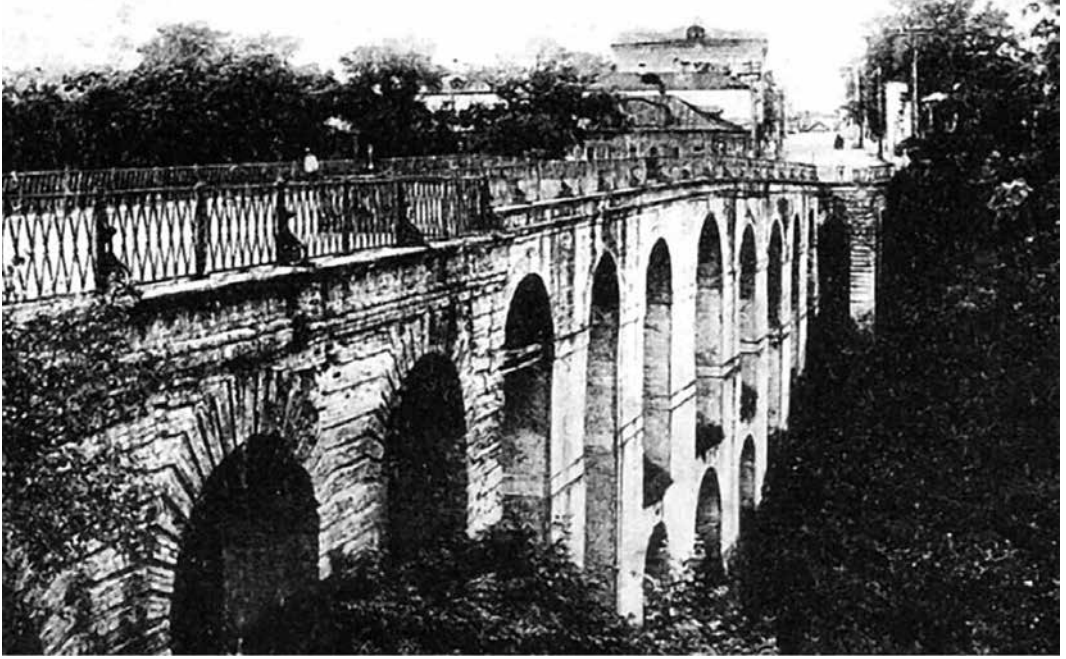
К тому же, несомненно, удалось сэкономить немалые денежные средства. А нужда в них теперь, в разгар больших строительных работ, была чрезвычайная.

Как бы там ни было, кремль наконец-то окончательно перестал быть крепостным «островом».

А на месте Ильинского оврага возникла новая площадь, прозванная Трубянкой (видимо, в силу того обстоятельства, что ручей, протекавший по оврагу, был теперь заключен в трубу).

Небольшая, но композиционно цельная площадь образовалась и перед мостом через Березуйку, прозванным – Каменным.

«У входа на мост, – пишет Фехнер, – сохранился обелиск, на котором раньше были установлены гербы всех городов Калужского наместничества и обозначены расстояния от губернского до всех уездных городов» /20, с. 48-49/.



Калуга. Каменный мост через Березуйский овраг

Действительно, с восточной стороны моста изначально был установлен обелиск. При чем один-единственный!

Но даже и имея самую буйную фантазию, невозможно представить, чтобы на этот каменный обелиск можно было хоть как-то прикрепить гербы всех уездных городов да еще и множество табличек – указателей расстояний.

А если бы это все-таки кому-то удалось, то, право же, выглядело бы такое сооружение прямо-таки чудовищно.

Однако это, конечно же, не плод фантазии Фехнер, относившейся к своей исследовательской работе более чем серьезно.

Вот что писал про Каменный мост в самом начале XIX столетия калужанин Зельницкий: «сей мост по своей огромности и красоте полагается в числе знатных публичных зданий» /9, с. 23/ Он «обстроен чугунными решетками и по местам уставлен фонарями. На нем выстроено 28 каменных лавок, а в конце оного сооружена пирамида, украшенная гербами уездных городов» /9, с. 23/.

Под «пирамидой» Зельницкий, скорее всего, разумеет как раз обелиск. И, видимо, как раз от его свидетельства отталкивалась Фехнер.

А вот Ю. и З. Шамурины, побывавшие в Калуге незадолго до революции, писали: «Мост сохранился до настоящего времени, но ни каменных лавок, ни «пирамиды, украшенной гербами уездных городов» на нем уже нет» /с. 26/.

И их можно понять: все-таки пирамида и обелиск – не одно и то же.

Кое-что проясняет тут выписка из протоколов калужской казенной палаты от «1779-го году июля 3 дня»: «Сего числа от Экспедиции о казенных в здешнем губернском городе строениях представлены присутствию калужский мещанин Савелий Васильев сын Подчищачев и Дворцовой волости Олонецкого уезда крестьянин Назар Акимов, которые де желают в здешнем городе сделать Подчищачев обштукатурить по плану каменную у мосту бутку и перамиду и в тон их до мосту болюстрат, из казенных материалов за двадцать рублей, а Назар Акимов сделать на помянутой бутке стропил 2 обвезать и обрешетить под железную крышку, и внутри потолок и по обе стороны нары и двери за пять рублей» /с. 140/.

Таким образом, неподалеку от обелиска была построена каменная будка. Вероятно, она стояла как раз напротив обелиска, на противоположной стороне проезда. Если это так, то становится понятным, почему не был установлен еще один обелиск – симметрично установленному.

Кстати, как раз в ту пору, когда в Калуге побывали Шамурины, по свидетельству Малинина, на обелиске был поставлен герб города Калуги /с. 99/ (виден он, кстати, и на дореволюционных открытках).

Возможно, так было и во времена Кречетникова.

А вот каким образом и насколько долго «пирамида» была «украшена» гербами уездных городов, скорее всего навсегда останется загадкой.

Вот только никогда не соглашусь, что они были каким-то образом «установлены» на обелиске. Да еще и вместе с указателями расстояний.

Ныне нет никаких сомнений, что автор калужского Каменного моста – П. Р. Никитин.

Как полагала Фехнер, именно этой постройкой зодчий «обессмертил свое имя» /Ф2 с. 85/.

Пожалуй, это не совсем так.

Ныне все более и более очевидным становится, что Никитин чуть ли не самый значительный градостроитель эпохи становления Российской империи. И право на бессмертие он заслужил прежде всего тем, что создал сразу несколько классических городских ансамблей. В том числе и классической Твери, создававшейся как образец для всего последующего градостроительства России.

И все же Каменный мост, несомненно, один из лучших образцов его архитектурного искусства.

Правда, нынешний вид его уже не вполне никитинский.

Еще в 1840-е годы, в ходе ремонта, были разобраны каменные строения с торговыми лавками; «снято и старое ограждение центральной части моста с каменными тумбами, из которых средние, стоявшие по обеим сторонам центрального пролета, были увенчаны пирамидками» /23, с. 48/.

Как-то особенно обидно, что давно уж нет пирамидок, воспринимающихся ныне как своего рода авторская подпись Никитина.

Как бы там ни было, но как раз в ту пору Каменный мост «получил новую, ныне существующую решетку с чеканными кронштейнами в виде волют» /24, с. 48/.

В дальнейшем случавшиеся время от времени ремонты моста имели сугубо технический склад, их целью было сохранение и укрепление этого сооружения.

Лишь самые недавние реставрационные работы вызвали множество споров, несогласий.

Вплоть до утверждений, что Каменный мост изничтожен как памятник архитектуры, что теперь это — новодел.

Мне трудно судить, насколько корректно были осуществлены эти работы. Но вот покраска моста в унылый серый тон меня не только смущает, но и возмущает.

Насколько я понимаю, у дикой раскраски этой есть сугубо «научное» обоснование: вероятно, именно таким образом был впервые выкрашен мост.

Может быть, что это и так.

И именно такова была самая ранняя окраска моста.

Но она не изначальная. Не авторская. Не никитинская.

Осуществлена она, несомненно, через много лет после смерти зодчего. Уж ему-то, возросшему в пору цветения барокко, никогда не пришла бы в голову идея замазывать свои строения унылой серой краской!

Стоит напомнить тут, как калужская губернаторша Александра Осиповна Россет-Смирнова описывала подготовку к несостоявшемуся проезду через Калугу императора Николая I: «Губернатор рыщет по городу с полицмейстером верхом, и все в галоп; дома белят, заборы облакают в серую краску, гарнизонная команда одевается в новые мундиры, артиллерия скачет по Московской улице» /11, с. 64/..

Уж не в тот ли раз и мост, вкупе с заборами, был так замечательно окрашен?

В любом случае, всяческая серость в моду вошла лишь в пору правления Николая I.

Уверен, что изначально Каменный мост был примерно таким, каким мы привыкли его видеть: естественный цвет кирпича сочетался с белизной архитектурной декорации.

Ныне вся надежда — на суровый русский климат. Может, благодаря ему и расцветка моста со временем переменится — и, разумеется, в лучшую сторону.

Хуже-то уж некуда.

Но, конечно же, даже и в нынешнем своем виде Каменный мост производит внушительное впечатление: «грандиозность пятнадцати монументальных кирпичных арок способна поразить воображение всякого, кто впервые рассматривает это невероятное по масштабам XVIII века сооружение» /16, с. 157/.

Впрочем, если что и невероятно тут, то не само создание грандиозного русского виадука (XVIII столетие было как раз порой отчаянно смелых архитектурных замыслов и свершений), а скорость его возникновения.

Выстроить, пусть даже начерно, такого масштаба сооружение за несколько месяцев очень и очень непросто.

А ведь нужно было еще разработать предварительно проект, составить смету, добыть средства для финансирования работ, как-то и где-то закупить и привезти огромные массы строительных материалов.

Во всем этом сказалась жесткая целенаправленная воля многоопытного градостроителя.

Кремлевское казенное строение

«1779 года января 30 дня Калужское Наместничество имея разсуждение, что на здешних обывательских кирпичных заводах делается кирпич неодинаковой меры, а как ныне в Калуге производится казенное строение, то в случае надобности неудобно оной для сего строения

употребить во первых потому, что он не отвечает по мелкости своей казенному, да и с рабочими может последовать излишний роцет и передача /.../. Того ради приказали к Калужскому городничему послать Указ и велеть содержателям здешних кирпичных заводов объявить, чтобы у них в разсуждении их собственных выгод /.../ кирпич делан был одинаковой меры, а нмянно в длину шесть в ширину три, а толщиной в два вершка, в чем и обязать их подпиской» /16, с. 155/.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что инициатором этого постановления наместнического правления был Никитин. Унификация размеров кирпичей была, конечно же, значимым условием успеха предстоящей работы – грандизного «казенного строения» в калужском кремле.

И подступом к этой работе.

В первую очередь Никитин должен был озаботиться о временных помещениях для пребывания и деятельности наместника и всего наместничества.

Был перестроен старый «воеводский дом», стоявший издавна в восточной части калужского кремля (неподалеку от того места, где ныне располагается ресторан «Кукушка»).

Известно, что дом этот «показан на плане города от 1776 г. в восточной части крепости в тех же габаритах, как и на последующих планах конца XVIII и начала XIX в.» /Ф. с. 49/.

Есть мнение, что в тронном зале этого здания императрица принимала калужан – непонятно, впрочем, на чем оно при этом основывается.

Нет, конечно же, капитальная перестройка здания была произведена уже после отъезда императрицы. Но, как писал в 1805 году губернатор Львов, «с начала наместничества» /24, с. 49/.

Сохранившиеся чертежи дают представление о том, насколько значительно изменился облик старого строения.

В середине XVIII столетия, судя по любопытнейшему чертежу, составленному и подписанному архитектурским учеником Андреем Писаревым (1759 года), это был одноэтажный деревянный дом в девять окон по фасаду.

После же перестройки возникло двухэтажное строение с значительно раздвинувшимся фасадом. «Кроме отдельно стоящих кухни и бани, соединявшихся с домом переходами, во дворе были возведены еще многочисленные службы» /Ф. с. 50/.

Примечательно, что фасад был украшен «торжественным портиком с восемью спаренными тосканскими колоннами» /24, с. 50/.

Составленное в 1808 году описание дома содержит некоторые сведения о «богатой отделке интерьера, где был применен искусственный мрамор и обивка стен штофом» /24, с. 50/.

Так что, несомненно, это был полноценный дворец, пусть и временный.

Позднее дом наместника именовался «Провинциальной канцелярией, а затем генерал-губернаторским домом»/с. 49/ (не исключено, что тут какая-то неточность: старое здание канцелярии располагалось неподалеку от бывшего Воеводского дома).

А в 1811 году этот дворец был разобран. Будто бы в силу его «ветхости», что представляется весьма странным: вряд ли дом мог так быстро обветшать, даже и несмотря на то, что почти весь он был деревянный.

Надо думать, что от него попросту постарались избавиться.

Самое наличие этого здания могло быть помехой осуществлению строительных планов губернского начальства: трудно было получать разрешение на строительство новых казен-

ных зданий, пока в самом центре Калуги пустовал целый дворец.

К тому же самым расположением своим он нарушал архитектурное единство сформировавшегося ансамбля: стоял боком – к корпусам Присутственных мест, к строящемуся тогда собору.

Он был чужероден возникающему дворцовому ансамблю, противоречил его архитектурной логике.

Это становилось все более ощутимым по мере становления ансамбля.

А «казенное строение» в кремле велось на удивление энергично и целенаправленно.

Фехнер полагала, что «планомерная застройка города по «регулярному» плану началась с возведения комплекса зданий Присутственных мест, продолжавшегося, согласно архивным источникам, с 1780 по 1787 год» /24, с. 53/.

С нею не согласен Днепровский.

Согласно опять-таки архивным источникам, уже в 1778 году Кречетников предлагает Никитину взять на себя «особенное попечение для приутовления необходимых строительных материалов» /5, с. 96/.

И, как утверждает Днепровский, в этом же году начинается строительство главного строения Присутственных мест – корпуса Наместнического правления, «а в 1779 г. здание подводится под крышу. В 1779 г. производится кладка корпуса трех палат. В 1782 году весь комплекс был закончен» /Д5, с. 96/.

А вот как трактует самый ход строительства Присутственных мест Фехнер: начато оно в 1780 году, а уже в 1783 году «был закончен центральный корпус с первоначально не предусмотренными проектом дворовыми крыльями. /.../Через два года был готов западный корпус для размещения Казенной, Гражданской и Уголовной палат. /24, с. 53/. Строительство третьего корпуса завершено в 1787 году /24, с. 53/.

Все тут логично и, пожалуй, неоспоримо, поскольку основательно документировано. Правда, есть сведения, что уже в 1781 году помощник Никитина губернский архитектор Ф.И. Писарев рапортовал о выполненных настенных росписях Наместнического правления» /5, с. 60/. Но, полагаю, что речь тут велась не о корпусе Присутственных мест, а о доме наместника, в котором, видимо, временно располагалось и наместничество.

Известно также, что к строительству калужских мест был привлечен Кречетниковым и архитектор Рязанского наместнического правления Илья Семенович Волков: с 1 мая по 1 октября 1780 года он «присматривал за строительством Наместнического правления в Калуге и корпуса трех палат» /5, с. 58/.

А это означает, что строительство северного и западного корпусов Присутственных мест было начато одновременно.

Уже давно нет никаких сомнений в том, что автор проекта Присутственных мест – Никитин. Но очевидно и то, что уже при жизни его был выстроен корпус наместничества, достраивался корпус трех палат.

Тем не менее, как в полной мере эталонные произведения Никитина могут ныне рассматриваться лишь северный корпус и примыкающие к нему арки. Фасад этого здания, обращенный к собору, отделанный пилястрами, в ближайшем родстве с казенными строениями Твери 1760-х годов, проектировал которые Никитин.

Следует при этом иметь в виду, что внешние фасады корпусов первоначально представляли собой аркады: «открытые галереи с полами, выстланными в нижнем этаже белокаменными плитами, в верхнем – кирпичом» /24, с. 58/. Они, надо думать, великолепно «рифмовались» с аркадами Гостиного двора.

Строительство Присутственных мест было завершено уже под руководством губернского архитектора Ясныгина. И в облике западного и восточного корпусов сказались новые художественные моды.

Во всяком случае, «пилястровый стиль» к тому времени уже ушел в прошлое. И, вероятно, именно поэтому на стенах боковых корпусов нет ни пилястр, ни лопаток (похоже, что окончательная отделка фасадов производилась уже в начале XIX столетия – известно, что многие строения центра классической Калуги долгие годы стояли неоштукатуренными).

С 1800 года в Присутственных местах разместилась Духовная семинария. «Ей отвели каменный двухэтажный корпус, устроенный «по апробованному плану» для верхнего земского суда, уездного и нижнего земских судов, верхней и нижней расправы, дворянской опеки, губернского и городского магистрата» /11, с. 93/.

Как бы то ни было, но здание Присутственных мест было построено достаточно быстро: в течение нескольких лет. Пусть черне, с явным упрощением архитектурной декорации.

А ведь строение это, действительно, грандиозное, под стать главным строениям Баженова и Казакова.

Конечно же, сразу же вспоминается тут проект Большого Кремлевского дворца, задуманного Баженовым – вкупе с императрицей Екатериной II.

Проект, к сожалению, так и оставшийся «проектом».

Разумеется, задуманная Баженовым «огрома», как сам он называл задуманный им дворец должна была стать «восьмым чудом света». Будь она выстроена, она была бы покрупнее калужского кремлевского дворца.

Но в распоряжении Баженова и средства были огромные.

Уж гораздо большие, чем те, которыми располагали строители дворца в Калуге.

Малинин утверждал, что «здание обошлось черне свыше 200 тыс. руб.» /11, с. 90/.

Но эта цифра явно завышена.

Ежегодно на казенное строительство в Калуге в 1780-е годы выделялось не более 20000 рублей. А ведь деньги эти предназначались не только на постройку Присутственных мест (в 1782 году, к примеру, «3 тысячи рублей из 20 тысяч, отпускавшихся ежегодно на сооружение казенных зданий» /24, с. 51/, были потрачены на строительство загородного наместнического дома и разбивку сада при нем).

Так что скорее всего построение Присутственных мест в Калуге обошлось казне в сумму чуть более ста тысяч рублей.

Это гораздо меньше той суммы, которую потратила руководимая Баженовым Экспедиция по Кремлевскому строению только с 1768 по 1773 год: 359163 рубля 98 ³/₄ копейки. В целом же денег было потрачено и того больше.

А ведь следует иметь в виду, что Баженов так и не приступил к строительству Кремлевского дворца. Он потратил деньги лишь на подступ к главному делу своей жизни..

Калужский же кремлевский дворец был построен полностью.

Пусть и «вчерне».

Собор и его купол

Закладка Троицкого собора состоялась в 1786 году.

То есть после смерти Никитина, после того, как на место губернского архитектора заступил – 1 января 1785 года – Иван Денисович Ясныгин, которого долгое время и считали автором проекта собора.

Однако нет никаких сомнений в том, что, проектируя ансамбль Присутственных мест, Никитин не только определил место для построения собора и его масштаб, но и детально проработал его облик, конструкцию, декор.

Он просто не мог доверить проектирование главного строения ансамбля, к которому обращены фасады всех трех корпусов, кому-либо из своих помощников, а уж тем более оставить это дело кому-либо из преемников.

На сохранившемся проектном чертеже собора, вычерченном уже после смерти Никитина и подписанном, естественно, как это и полагалось тогда, губернским архитектором Ясныгиным, «настоящая» и колокольня соединены лишь открытым портиком.

На деле же его сквозная галерея была заложена кирпичом, отчего храм с колокольной поныне связывает «неуклюжая паперть» /11, с. 97/, а здание в целом стало несколько приземистым, более массивным.

Несомненно, изменение это внесено строителем собора Ясныгиным и вызвано пожеланиями заказчиков. Будь строителем храма сам Никитин, он вряд ли бы пошел бы на такую уступку.

Примечательно и подобное граненому обелиску завершение колокольни: оно имеет близкий аналог: чрезвычайно сходно с завершением колокольни церкви Спаса Нерукотворного в Рай-Семеновском, спроектированной молодым М.Ф. Казаковым (а храм этот, в свою очередь, имеет сходство с флигелями тверского Путевого дворца, спроектированного Никитиным).

Строительство Троицкого собора изрядно затянулось.

И это при том, что, как писал в 1786 году Кречетников архиепископу Московскому и Калужскому Платону, «Ея Императорскому Величеству благоугодно было в бытность его, Кречетникова, в С.-Петербурге изъявить Высочайшую волю о построении в г. Калуге соборной церкви на месте нынешнего Калужского собора и что для сего Всемилостивейше повелеть соизволила отпустить в течение трех лет 30 тыс. руб.» /11, с. 94/.

Поначалу, в течение двух лет, возвели лишь цоколь «из белого мячковского камня» /11, с. 96/ на высоту в два аршина, после чего работы были остановлены (видимо, в силу полного отсутствия денежных средств) и возобновились лишь в 1804 году.

Но когда основная часть здания уже была выстроена и пришло время воздвигать соборный купол, работы вновь застопорились.

Вот что пишет по этому поводу Фехнер, считавшая создателем собора Ясныгина: «Строительство затянулось не только из-за недостатка средств. Смелое решение Ясныгина возвести купол диаметром в 24 аршина (17 м) для перекрытия бесстолпного храма показалось неосуществимым известному петербургскому архитектору А.Д. Захарову, которому Академия художеств поручила рассмотреть проект (строившийся в это время А.Н. Воронихиным Казанский собор в Петербурге имел купол диаметром всего в 14,5 м)» /24, с. 59/.

В рассуждении этом присутствует неожиданная для столь основательной исследовательницы ошибка. Причем мелкая и явно случайная, но повторяемая раз за разом вслед за Фехнер в различных публикациях на протяжении более чем полувека.

Дело в том, что величина пролета купола Казанского собора – 17,1 метра.

Чтобы узнать это, достаточно заглянуть в любую монографию, в которой более или менее подробно рассказывается о строительстве Казанского собора /18, с. 70/.

Еще больше, кстати сказать, диаметр купола петербургского Исаакиевского собора – 23,15 метра.

Но Казанский собор строился в 1808-1810 годах. А Исаакиевский – еще позднее.

К тому же в Петербурге в обоих случаях спроектированы были достаточно сложные металлические конструкции: под венчающим здание куполом размещается еще один, меньшего диаметра, купол. Сделано это – для подстраховки.

А калужский купол установлен прямо на барабан. И в этом – смелость отчаянная. И расчет – точнейший.

Не затынясь так надолго строительство Троицкого собора, его купол был бы некоторое время самым большим в России.

И вот выписка из любопытнейшего архивного документа, любезно предоставленная мне В.Н. Фридгельм: профессор архитектуры Академии художеств Захаров, в ответ на запрос министра внутренних дел России и президента Академии «может ли каменный со сводом купол, назначенный по плану для построения на сооружаемой в Калуге Соборной церкви с надлежащею надежностью в прочности, быть произведен в действие» представил «мнение свое следующего содержания»: «На данное мне от Совета Императорской Академии художеств поручение рассмотреть: может ли каменный со сводом купол на сооружаемой в Калуге каменной соборной церкви произведен был в действие, – имею честь донести, что столбы, которые служат основанием для сводов и купола, и которые должны служить оным сильнейшею подпорою, весьма слабы и совсем со стенами не связаны, диаметр купола по толщине стен очень велик и не имеет никаких надежных подкреплений; если же намерены укрепить оной купол железом, которое употребляется в одних только крайних случаях и которое нередко бывает и обманчиво, то я на оное полагаться, особенно при таких случаях, не советую».

Для сего нужны столбы сделать тверже, связать их со стенами, отчего своды, служащие основанием куполу будут надежнее; купол, который тяжел и огромен, можно в диаметре противу плана убавить на четыре аршина, от сего самые стены будут пропорциональные и своды тверже, и самой же купол пропорции своей не только не потеряет, но еще в рассуждении ордера наружной фасады, которая служит основанием куполу, получит лучший вид» /РГИА, Ф.789. Оп. 19. Д. 35 (1603)/.

Захарова, великого русского зодчего, вполне можно понять!

Двумя годами ранее, в июне 1804 года, архитектор И.Е. Старов решительно воспротивился установке купола над строившимся тогда в Петербурге Казанским собором. В рапорте, им написанном, утверждалось, что «купол храма, покоящийся на одних пилонах, по ширине своей недостаточных, не будет устойчив, тем более, что и простенки между большими окнами подкупольного барабана тонки», так что для них «в знатных зданиях он примера не находит» /18, с. 61/.

Руководившему строительством собора А.Н. Воронихину пришлось немало усилий приложить, чтобы ему позволили строить купол заданной в проекте величины.

И это при том, что ему покровительствовал сам президент Академии художеств А.С. Строганов (как принято считать, его родной отец).

А тут вдруг выясняется, что купол примерно той же величины вознамерился возвести провинциальный зодчий – калужский губернский архитектор.

Некто Иван Ясныгин.

И не то, чтобы это имя не было Захарову совершенно неведомо. Оба зодчих могли даже быть знакомы друг с другом

Но, подозреваю, что авторитет Ясныгина в архитектурном кругу был не слишком высок. Если вообще он был принят в этот круг.

Ясныгин ведь и поныне остается фигурой в некоторых отношениях загадочной.

В чем-то недооцененной. В чем-то – слишком высоко оцененной.

Что же мы знаем о нем?

«Зодчий, – пишет об Иване Денисовиче Ясныгине калужский краевед М.А. Ефимочкина, – тридцать семь лет трудился на благо Калуги и губернии. До сих пор его творения радуют глаз, а «благодарные потомки» путаются в датах рождения и смерти губернского архитектора и смущенно говорят о «белых пятнах» в биографии и якобы невозможности ее изучения» /7, с. 289/.

Но так ли это?

В краеведческой литературе и впрямь предостаточно и «белых пятен», и ошибок. Но, вообще-то, сведений о жизни и деятельности Ясныгина сохранилось немало.

Надо только иметь в виду, что основная масса архивных документов, проясняющих основные этапы биографии зодчего, хранятся в Петербурге и Москве. И, надо полагать, не все они выявлены и опубликованы.

Тем не менее, конечно же, чрезвычайно значима давно уже известная калужским краеведам запись в метрической книге церковей Калуги за 1823 год /ГАКО. Ф. 33. Оп. 4. Д. 41/: 3 декабря 1823 года скончался «по христианской должности в покаянии калужский архитектор, титулярный советник Иван Денисов сын Ясныгин». Умер он от горячки, в возрасте восьмидесяти лет.

Получается, что родился Ясныгин в 1743 году. Но в академическом словаре С.Н.Кондакова указана несколько иная дата рождения: 1745 год /21, с. 281, 420/. Именно она воспринимается исследователями как наиболее правдоподобная (тем более, что указанный в метрической книге возраст Ясныгина мог быть округлен).

«Пермского полка солдатский сын» /5, с. 99/, Ясныгин в 1760-1765-х годах обучался в скульптурном классе Академии художеств. Причем учился весьма успешно. В 1763 году был награжден двумя медалями и саблей. В 1764 году значился «скульптором хороших успехов и поведения» /5, с.99/.

Правда, издавна, с легкой руки Кондакова, считается порой, что он обучался не только на скульптурном, но и на архитектурном отделении Академии. И более того – «награжден медалью за архитектурную композицию и направлен в Канцелярию от строений. Одновременно в 1765 году был определен для работ на Императорском фарфоровом заводе» /5, с. 99/.

То есть Ясныгин поначалу выучился одновременно на скульптора и зодчего, а затем, опять же одновременно, трудился в Канцелярии от строений и на фарфоровом заводе.

Трудно представить, как такое могло случиться.

На деле, полагаю, все было не столь удивительно. По своему академическому образованию Ясныгин, скорее всего, только лишь скульптор. По окончании же Академии работал только лишь на Императорском фарфоровом заводе (разумеется, как раз в должности скульптора).

А уже в мае 1770 года он обратился в Экспедицию Кремлевских строений с просьбой устроить его на договорную работу «по моему художеству скульптором в архитектурской команде» /2, с. 275/ – и был принят на эту должность с месячной платой 13 рублей 33 копейки.

Сделано это было по настоянию архитектора Экспедиции В.И. Баженова: «Скульптор Иван Ясныгин, надобность требует его принять, ибо во оном имеется великая надобность при делании модели, но что касается до его жалованья, то и сама Экспедиция Кремлевского строения не безизвестна, что не хуже ево имеют меньшее жалованье, следовательно мне оно положить и не можно, а отдаю в волю самой Экспедиции. Но не благоволено ли будет ему дать столько, как получают академические художники, да и то определить месячно, ибо ево должно мне знать прилежность» /2, с. 187/.

Судя по всему, работником Ясныгин оказался не только прилежным, но и достаточно умелым. Во всяком случае, договор с ним продлялся в 1771-1774 годах. Обосновывая это, Баженов писал: «скульптор господин Ясныгин весьма нужен еще хотя бы на год при делании модели, да и в задачах к лекалам ежели строение начнется /.../ и прибавку ему кажется сделать можно» (май 1771 года); «весьма нужен для содержания во всей чертежной порядка и обучения учеников в рисовании, а более при фигурах модели, кои почти все требуют переправки от перевоски ее из Санкт-Петербурга» /2, с. 275/.

Ясныгин – главный помощник Баженова по созданию и поддержанию в должном виде замечательной модели так и не построенного Кремлевского дворца. И эта работа стала значительнейшим делом его жизни.

Но Баженов поручает ему только скульптурные работы.

Затем, в 1774 году, Ясныгин вместе с еще одним скульптором Захаром Урядовым и столярным мастером Иоганном Витманом откомандирован к строительству временного Пречистенского дворца, работает теперь уже под руководством М.Ф. Казакова.

И вот что чрезвычайно любопытно: скорее всего, участвует в изготовлении и установке дворцового иконостаса – почти совершенно такого же, какой будет установлен в калужском Троицком соборе!

В 1781 году Ясныгин используется «при строении Присутственных мест и дворца по Санкт-Петербургской дороге у архитектора М.Ф. Казакова» /5, с. 99/. Имеются в виду здание Сената в Кремле и Путевой дворец.

Можно не сомневаться, что и Казаковым он используется как скульптор. Благо, поле деятельности было обширным: казаковские дворцы были богато декорированы.

Но не исключено, что Казаков мог привлекать Ясныгина и для исполнения каких-то архитектурно-строительных работ.

Живет Ясныгин в это время «в приходе церкви Николы в Звонарях в доме священника

церкви». И 3 ноября 1784 года женится на Екатерине Петровне Михайловой, дочери протоколиста Московской межевой экспедиции /5, с. 99/.

А 30 декабря 1784 года вдруг назначается на должность калужского губернского архитектора. Как такое могло случиться, понять трудно.

Конечно, можно предположить, что у немолодого уже молодожена, несомненно, нуждавшегося в хлебной должности, нашлись влиятельные покровители.

Но ведь очевидно, что определил на эту должность Ясныгина государев наместник Кречетников. И он вряд ли бы согласился доверить ответственнойшее дело построения новой Калуги случайному человеку.

Надо полагать, что у Ясныгина к этому времени была репутация опытного, умелого работника, могущего руководить многосложными работами.

Надо помнить, что на должности губернского архитектора Ясныгин сменил не только что умершего Никитина, который был советником Кречетникова, а Писарева. Тот, официально числясь губернским архитектором, был всего лишь техническим помощником Никитина. Примечательно, что половину своего жалованья губернский архитектор обязан был передавать своему руководителю.

Теперь, после смерти Никитина, Кречетникову нужен был вполне самостоятельный губернский архитектор, могущий довести до завершения развернувшееся в Калуге казенное строительство.

Ясныгин тут оказался и к месту, и ко времени.

У него, уверен, не было навыков проектирования. Но они и не требовались. Ведь главной задачей, которую должен был решить Ясныгин, была реализация проектов Никитина и никитинской «экспедиции».

А вместе с тем столичное начальство все более и более настойчиво требовало, чтобы все строения в провинции осуществлялись по «образцовым» проектам, присылаемым из Петербурга и Москвы.

Так что Ясныгину и не надо было ничего проектировать. Во всяком случае, ничего сколько-нибудь значительного.

Надо постоянно иметь в виду, что подписи Ясныгина на чертежах калужских строений ни в коей мере не свидетельствуют о его авторстве. И уж тем более о его притязаниях на авторство.

Он обязан был подписывать чертежи как чиновник – губернский архитектор, несущий полную ответственность за надлежащее качество того или иного проекта.

Его подписи стоят на чертежах тюремного замка, соляных магазинов, Троицкого собора, но совершенно очевидно, что не он, а Никитин – автор этих строений.

Зато Ясныгин оказался упрямым, волевым тружеником, сумевшим осуществить многие замыслы Кречетникова и Никитина.

И тружеником он, несомненно, был великим.

«В записке «О чиновниках Калужской губернии, в продолжении 1809 года трудами своими и усердием к службе отличившихся», – сообщает Фехнер, – губернатор Львов упоминает Ясныгина, который «при множестве казенных строениях, в здешней губернии производившихся», работал, «не имея при себе даже помощника» /24, с. 73/.

Похоже, Ясныгин долгом своим почитал реализовать основные никитинские замыслы.

Вот и Троицкий собор, спроектированный Никитиным, выстроил Ясныгин.

Сумел это сделать – несмотря ни на что.

Возможно, что он принял во внимание что-то из указаний и предложений Захарова. Но даже это маловероятно.

Скорее всего, он понадеялся на великое мастерство Никитина. И соорудил купол в строгом соответствии с проектом. Разумеется, с дозволения местного начальства.

К 1811 году «сооружение собора было вчерне закончено» /Ф с. 59/. Но тут началось французское нашествие. Так что окончательно отделать собор удалось лишь спустя несколько лет.

Освящен был Троицкий собор 10 апреля 1819 года – на Пасху, епископом Антонием.

И просто замечательно, что Ясныгин не уменьшил диаметр купола. Он огромен. И огромность его воспринимается тем более остро, что сам массив здания не слишком, не чрезмерно высок (во всяком случае, в сравнении с Казанским и Исаакиевским соборами Петербурга).

Гигантский свод и физически, и душевно ощущается как образ небес – и их жизни, бесконечной и вечной.

Великолепен был и иконостас собора – нарядно-строгий, торжественно-возвышенный.

История соборного иконостаса

В 1924 калужские власти надумали закрыть Троицкий собор.

Но произошла небольшая заминка: краевед Д.И. Малинин обнародовал заключение академика М.Т. Преображенского. Столичный ученый утверждал, что автор проекта иконостаса Троицкого собора – М.Ф. Казаков, известнейший зодчий эпохи русского классицизма.

Оказалось, что в 1811 году губернатор, тайный советник А.А. Львов обратился к нему с просьбой наблюдать за исполнением иконостаса для калужского собора, заказанного некоему Дмитриеву, москвичу.

Основные работы производились в Москве. А в сентябре следующего 1812 года Дмитриев должен был перевезти уже выделанные детали иконостаса в Калугу, чтобы смонтировать его уже здесь, на месте.

Однако сделать это поначалу не удалось. В знаменитом московском пожаре погибает уже практически готовый иконостас. А в октябре 1812 года, покинув Москву перед вступлением в нее французов, умирает в Рязани М.Ф. Казаков.

Тем не менее уже сразу после изгнания Наполеона из России работы по созданию иконостаса были возобновлены. И в 1814 году он был установлен в еще не до конца обустроенном на ту пору Троицком соборе.

Малинину, действовавшему в союзе с художником В.Н. Левандовским, первым руководителем местного художественного музея, удалось добиться составления специального акта: было постановлено, что после закрытия собора иконостас будет сохранен и перемещен в какую-нибудь из все еще действующих церквей.

Но, к сожалению, решение это выполнено не было.

Зато в кругу калужской интеллигенции утвердилась память о том, что создателем этого поруганного памятника православного искусства был именно Матвей Федорович Казаков.

Но ведь это, казалось бы, более чем странно. Трудно поверить в то, что обремененный

годами и славой зодчий на самом пороге смерти вдруг взялся за исполнение, прямо скажем, не слишком престижного для него, а вместе с тем весьма трудоемкого заказа. К тому же следует иметь в виду, что уже в 1801 году по высочайшему указу Казаков был уволен «по старости и болезни» от службы.

Однако московский исследователь М.В. Дьяков, создатель словаря московских зодчих XVIII-XIX веков, давно уже установил, что «создал проект (план и фасад) иконостаса для Троицкого собора в Калуге» действительно Казаков. Вот только не Матвей Федорович, а его средний сын Матвей Матвеевич /9, с. 104/.

Казалось бы, что все тем самым определилось.

Но обратим внимание еще на одну ошибку, допущенную академиком Преображенским, пусть, казалось бы, совсем уж незначительную. Стараясь убедить калужские власти в высочайшей художественной и исторической ценности иконостаса, ученый утверждал, что это единственное сооружение такого рода в архитектурном творчестве М.Ф. Казакова /13, с. 104/.

Но это не так. Совсем не так!

Известны сразу два иконостаса, созданных именно М.Ф. Казаковым, а не его сыном. Причем имеющие «близкое сходство» между собой /14, с. 167/.

А заодно и с иконостасом калужского Троицкого собора.

Это прежде всего иконостас Пречистенского дворца, отстроенного Казаковым в 1774 году, к приезду императрицы (того самого, кстати, в установке которого, видимо, принимал участие скульптор Ясныпин, работавший тогда под началом Казакова).

Примерно в это же время – в 1774-1778 годах – Казаковым выстроена опять же упоминавшаяся мною Спасская церковь в подмосковном имении Рай-Семеновское. Им же спроектирован для нее иконостас.

Надо, правда, отметить, что казаковский проект осуществлен лишь отчасти. Иконостас был выполнен в мраморе, и, может быть, именно поэтому общий строй образа был несколько упрощен.

Зато сохранился исполненный самим зодчим офорт, дающий представление об изначальном замысле.

Сохранилось и изображение иконостаса Пречистенского дворца.

Сохранились и фотографии интерьеров Троицкого собора.

И стоит только сопоставить эти визуальные материалы, как становится понятно, что все эти три иконостаса – почти что архитектурные близнецы. И уж точно находятся в ближайшем художественном родстве.

Конечно, сходство тут не абсолютное. Да иначе и быть не могло. Все-таки один иконостас рассчитан на установку во дворце, второй – в усадебном храме, а третий, калужский, – в кафедральном соборе.

Но архитектурная идея тут – одна и та же.

Каждый из этих иконостасов мыслится как преполненная «триумфального великолепия» /14, с. 182/ обширная арка с мощной колоннадой.

Примечательно, что калужский иконостас в целом даже в большей мере был сходен с офортом Казакова, а значит и с его изначальным замыслом, нежели тот, что стоял в Спасской церкви.

В том храме, достаточно скромном по своим размерам, Казаков, видимо, был вынужден

отказаться от того, чтобы реализовать свой замысел во всем его великолепии: там полностью отсутствовал аттик с фронтоном.

А вот в верхней части калужского иконостаса как раз располагались и аттик, и фронтон, правда, визуально слитые друг с другом (в этом, скорее всего, сказалась смена архитектурных вкусов).

Так что Преображенский был в какой-то мере прав, когда писал, что иконостас сделан по рисунку М.Ф. Казакова (хотя маловероятно, что он имел в виду именно казаковский офорт).

Получается, что знаменитый зодчий и впрямь причастен к созданию калужского иконостаса.

Но причастен на особый лад.

Замысел иконостаса выношен не немощным старцем, с которому обратился с почтительнейшей просьбой губернатор Львов, а молодым энергичным мастером, еще не успевшим достроить здания Сената и Московского университета.

При этом вся работа по конкретизации и реализации замысла досталась Казакову-младшему.

Он ведь не только сумел приспособить отцовский замысел к совершенно особой, в высшей степени специфической архитектурной ситуации.

Именно по его проекту и под его руководством компоновались рельефные изображения и декоративные украшения.

И именно благодаря ему торжественное величие задуманного его отцом образа обернулось истинной монументальностью вещественного, живого создания.

Итак, общая архитектурная идея этого сооружения принадлежит М.Ф. Казакову. А его сын, М.М. Казаков, трансформировал и конкретизировал и конкретизировал отцовский замысел.

У иконостаса – два автора? А может быть сразу – три?

Как-то уж очень схож калужский иконостас с входом церкви Знамения в Твери /26, фото между сс. 38 и 39/. Да и вообще в проектах молодого М.Ф. Казакова уж слишком много прямых «цитат» из чертежей П.Р. Никитина.

Интересно было бы исследовать взаимосвязь архитектурных трудов Никитина и Казакова – учителя и ученика.

Но это уже – задача на будущее.

Кстати сказать, трагично сложилась судьба не только калужского иконостаса.

Казаковский Пречистенский дворец, построенный в 1774 году, уже вскоре был разобран. «Иконостас дворцовой церкви надолго пережил дворец и до 1924 года находился в Кремле, в церкви Петра и Павла» /26, с. 169/. И, получается, был уничтожен примерно в то же время, что и иконостас Троицкого собора.

Несколько позднее погиб и иконостас в Рай-Семеновском /26, с. 182/.

Соборная площадь Калуги

Как ни странно, и поныне мало кто из калужан знает о самом существовании этой площади.

А ведь еще в проектных документах никитинской команды эта площадь называлась – Главной /24, с. 20/.

По большому счету, она и поныне – главная площадь Калуги.

Во всяком случае, старой, классической Калуги.

Она есть, но ее нет.

Это – Соборная площадь, располагающаяся между трех корпусов Присутственных мест. Вокруг и окрест собора Живоначальной Троицы.

Уроженец Калуги Г.К. Лукомский, знаток старой русской архитектуры, считал ее «одной из наиболее скомпонованных в наших провинциальных городах – наряду с тверской Судебной» /22, с. 51/.

У обеих этих площадей, кстати, один автор – Никитин!

Кстати, и по величине своей калужская Соборная площадь – одна из крупнейших в России.

Ее длина примерно такая же, как у Дворцовой площади (от Зимнего дворца до арки Генерального штаба).

И площадь эта, действительно – великолепно скомпонована. И в этом смысле представляет собой великое создание искусства архитектуры.

Н. Ладовский утверждал: «Пространство, а не камень – материал архитектуры» /20, с. 29/.

В этом есть, конечно, некоторое преувеличение: все-таки и камень, бетон, металл тоже нуждаются в архитектурном оформлении.

Но, действительно, главнейший материал архитектуры – именно пространство.

И Никитин – один из тех зодчих, которые умели строить пространства.

Главнейшие художественные качества ансамбля дворцов калужского кремля – точность пространственных отношений и монументальность уверенно и прочно организованного пространства.

И в пространстве площади нет пустых мест.

Будь площадь хоть немного шире, она обратилась бы в гигантский пустырь.

Будь она чуть уже, стала бы тесной, а собор и здание Присутственных мест казались бы громоздкими, теснящими друг друга.

Это – классически гармоническая площадь, пусть и завершенная на романтический лад: с пространственным прорывом – на юг, к Оке, к Заочью.

Но Соборная площадь давно уже – почти что невидимка.

Она есть, но ее нет.

Некогда обширная мощная площадь, раскинувшаяся окрест Троицкого собора, чуть ли не со времени своего возникновения начала понемногу, постепенно утрачивать свою замечательную статью.

Пожалуй, она оказалась уж слишком великолепной, слишком огромной для Калуги, после того, как город перестал быть столицей наместничества.

Еще за год до освящения собора, в 1818 году, была произведена закладка первой аллеи из 300 молодых лип. Так появился на площади – бульвар.

И таким образом, по сути дела, было положено начало «городскому саду».

Поначалу, однако, он занимал лишь южную часть кремля, ограничивая Соборную площадь с юга поперечной аллеей, пролежавшей между торцами восточного и западного корпусов Присутственных мест.

Но в 1888 году «на площади был разбит сквер, названный Владимирским в честь посещения Калуги великим князем Владимиром, заложены лиственничные аллеи, спланированы газоны, посажен кустарник» /11, с. 261/

И чем выше вырастали деревья, чем прекраснее и уютнее становились аллеи, тем менее приметным, менее ощутимым великий памятник пространственной архитектуры..

И уже Д.И. Малинин, описывая в замечательном своем путеводителе по Калуге окрестности городского собора, даже и не замечает площадь.

Он видит «красивый сквер» /11, с. 94/, дорожку, ведущую в городской сад – «любимое место гулянья калужан» /11, с. 98/.

Он с удовольствием отмечает, что «в саду имеется асфальтовая площадка для игр детей, ресторан «Кукушка» построенный в русском стиле, две эстрады для музыкантов, фонтан, цветники и летний театр» /11, с. 99/.

«Наиболее привлекательным местечком в саду, – сообщает он, – является с правой стороны от входа круг, обсаженный елочками и уставленный диванами, в центре которого стоит старина – раскидистый серебристый тополь, увешанный электрическими лампочками» /с.99/.

Разумеется, на ту пору еще можно было наслаждаться не только видом светящихся лампочек, но и различной еще красотой художественно обустроенного пространства. Но для этого надо обладать изрядно развитым художественным вкусом.

Пусть даже не в такой мере, как это было свойственно Лукомскому.

В советское время большую часть Соборной площади занял «парк культуры и отдыха» с высокой решетчатой оградой.

И, конечно, еще более разрослись деревья, посаженные вдоль аллей.

И что только не строилось в парке. То парашютная вышка. То детская площадка «с каруселью и автодромом» /11, с. 261/.

Ныне, в постсоветскую эпоху, в парке появились новые фонтаны и разнообразные скульптуры, в том числе внушительных размеров памятники.

И надо иметь очень развитое пространственное воображение, чтобы, проходя по парку, представить себе, что находишься на огромной площади, во внутреннем пространстве одного из наиболее прекрасных созданий архитектуры классицизма.

Парадная гостиная Калуги

Соборная площадь представляет собой что-то вроде внутренней комнаты дворцового комплекса.

Но и вне его, по внешнему периметру ансамбля, художественно выстроены обширные пространства.

Правда, зачастую не в полной мере, а то и с изрядными искажениями задуманного.

Судя по всему, Никитин намеревался поначалу создать большую площадь перед северным фасадом здания наместничества.

Ее облик стал было прорисовываться при строительстве северного корпуса.

Он был выстроен «с первоначально не предусмотренными проектом дворовыми крыльями» /24, с. 53/, направленными торцами своими на север.

«Одно из крыльев было отведено под типографию, в другом помещалась гауптвахта» /24, с. 53/.



Вид на Пляц-Парад, ансамбль Присутственных мест
и Троицкий кафедральный собор

И похоже, что поначалу пристройки эти были задуманы отнюдь не как дворовые. Они должны были фланкировать с востока и запада «площадь для памятника Екатерине II», как это указано на одном из чертежей.

Будь создана эта площадь, у Присутственных мест был бы еще один эффектный парадный фронтон, раскрывающийся уже к городу.

Но весьма дельная задумка эта так и не была осуществлена.

Сказалась, вероятно, необходимость построить в соседстве с Присутственными местами здание почты (по образцовому проекту великого зодчего И.Е. Старова).

Возникшее в 1782 году, строение это уже само по себе заняло немалое место в северо-западном углу планируемой площади. Но почтовому ведомству потребны были и обширный двор, и конюшни. И границы почтовых строений раздвинулись еще шире.

А затем, правда, уже много позже, в 1840-е годы, Н.Ф. Соколовым построено было помещение для отдыха ямщиков.

В итоге возник Почтовый переулок (нынешняя улица Кропоткина). А между крыльями Присутственных мест образовались нелепого строя задворки, впрочем, весьма обширные и отчасти даже величественные.

Зато вполне сложилась площадь, примыкающая к дворцовому ансамблю с северо-запада и пространственно сливающаяся с ним, — Пляц-Парад.

Так уж повелось, что его издавна именуют Пляц-Парадной площадью. А это несколько несуразно. Слово «пляц» как раз и означает — «площадь».



Калуга. Вид на Гостиный двор

Нет, это именно «плац-парад»: площадь, предназначенная для военных парадов.

Хотя, полагаю, было их не так уж и много.

Зато на деле площадь эта некоторое время была торговой – в пору, когда только отстраивался Гостиный двор.

Ныне название Старый Торг получила почему-то бывшая площадь Ленина (вкупе с Плац-Парадом – сквером Ленина).

Но, насколько мне известно, торгом в полной мере она никогда не была.

Первоначально Старым торгом именовался тот обширный рынок, на месте которого был выстроен Гостиный двор. И позднее именно эти торговые ряды, несомненно, считались калужанами «старым торгом».

Площадь же эту в дореволюционные годы именовали Староторжской, по той, видимо, причине, что она соседствовала со Старым Торгом.

Да и была ли она в полном смысле слова площадью – в дореволюционную пору? Скорее, это был обширный проезд, фланкированный с севера корпусами Гостиного двора, а с юга зданием Ремесленной управы и еще двумя двухэтажными домами рубежа XVIII-XIX веков.

Функцию площади с соответствующим идеологическим содержанием пространство это приобрело уже в советские времена.

Началось все с того, что вскоре после смерти Ленина памятник ему был установлен среди бывшего Плац-Парада, а к тому времени – площади Свободы. И именно она стала на первых порах именоваться площадью Ленина. Именно она была долгие годы средото-

чием революционных торжеств, сюда направлялись обычно праздничные колонны демонстрантов.

В предвоенную пору была сооружена трибуна перед центральной частью южного фронта Гостиного двора. С трибуны этой калужская власть приветствовала народные шествия. Соответственно, и сам проезд быстро обратился в своего рода пространственный художественно-идеологический концепт. Собственно его-то и стали именовать площадью Ленина.

Гораздо более обширный Плац-Парад был благоустроен и с годами обратился в Ленинский сквер. Тем более что и действительно насаженные тут в постреволюционную эпоху деревья и кусты придали площади уют и даже некоторую интимность.

После того как был выстроено несуразное здание обкома КПСС, площадь Ленина изрядно расширилась, обрела соответствующую стать. Но это уже была советская площадь — пусть и обрамленная с трех сторон старинными строениями.

Вероятно, со временем ее идеологическое содержание переменится — в случае, например, установки перед бывшим зданием обкома КПСС памятника Ивану III.

Но в любом случае, это уже вполне современная площадь, воплощающая в себе динамизм и эклектизм нашего нынешнего быта.

Старое и новое

Старый каменный собор во имя Живоначальной Троицы был построен в 1687 году.

А разобран — в 1809 году.

К этому времени строительство нового собора шло к завершению: оставалось построить купол и достроить верх колокольни.

Правда, снести старый храм калужские власти пытались много ранее того. Так, 5 апреля 1799 года, в день коронации императора Павла I, гражданский губернатор М.А. Камынин самочинно усмотрел «около столпов, поддерживающих своды, расселины, и велел оные освидетельствовать губернскому архитектору. Сей по освидетельствовании рапортовал, что по случаю оказавшихся от отселости в землю столпов, поддерживающих своды в церкви в капитальных стенах трещин, ветхость сия угрожает падением» /11, с. 96/.

Произведение служб в соборе было воспрещено. И с этого времени «соборные священнослужители производили служение вседневно в Покровской, а праздничное в Предтеченской церквах» /11, с. 96/.

Удивительно, как быстро ветшали здания, которые надо было снести.

Перестроенный дом наместника «обветшал» за три десятка лет.

Ну а главный калужский храм, уж явно не находившийся ни единого дня в запустении, стал «угрожать падением» спустя всего-то только один век после построения!

Впрочем, прошло еще десять лет, прежде чем удалось снести старый Троицкий собор.

И это понятно. Снос любого капитального здания надо было очень основательно обогреть.

И особенно в тех случаях, когда это была церковь.

Храм ведь — не просто хоромы, а дом Божий.

В кремле стояли еще три старых храма: Николая Чудотворца, Алексея Митрополита и Иоанна Богослова.

Все они тоже были разобраны.

Конечно же, кремлевские храмы – как святилища – были сохранены. Они лишь сместились в пространстве.

Троицкий собор стоит теперь чуть западнее старого Троицкого собора.

Храм Алексея Митрополита оказался на севере старой Калуги и перестал существовать уже в советские времена.

Никольская церковь преобразовалась в Никольский собор, располагавшийся на первом этаже семинарского корпуса.

Там же, но уже на втором этаже, разместилась новая церковь Иоанна Богослова.

Но ведь совершенно очевидно, что немалую ценность имели сами здания церквей. И дело тут не в том даже, что это были, несомненно, еще очень крепкие строения.

Сохранись, к примеру, до наших дней здание старого Троицкого собора, оно, уверен, было бы главнейшей архитектурной достопримечательностью Калуги.

Правда, сохранилось лишь схематическое изображение этого стройного пятиглавого храма на одном из старых архитектурных чертежей. Но есть немало аналогов – поныне существующих «близнецов» калужского собора. И все они великолепны.

К тому же «строила сию святую соборную церковь по обещанию своему Степанова жена Тарасовича Хитрово, вдова боярыня Анна Петровна», бывшая мамка царя Федора Алексеевича, для вечного поминовения сего царя» /11, с. 94/.

Казалось бы, зачем было разбирать прекрасный храм, выстроенный к тому же в память самого благородного, самого мудрого из наших царей, чья ранняя смерть поныне остается одним из главных злосчастий в истории России? Стояли бы поныне бок о бок два замечательных собора посреди калужского кремля...

Но искусство архитектуры жестоко ко всему, что стоит на его пути.

Логика пространственного решения в этом случае такова, что посреди огромной Соборной площади может стоять лишь один собор, пропорционально соотносенный с корпусами Присутственных мест.

Либо великий архитектурный ансамбль – либо разнородный ряд строений, пусть и художественно значительных.

Третьего не дано.

Многое потеряв, Калуга приобрела в итоге гораздо большее.

Дом губернатора

В 1809 году был издан закон «об обязательном использовании образцовых проектов – причем не только казенных зданий, но и обывательских домов /24, с. 84/.

Значимость этого события для судьбы русской провинциальной архитектуры огромна.

Конечно, «образцовые», то есть типовые, проекты казенных и партикулярных строений создавались уже чуть ли не на всем протяжении XVIII столетия. Но реализовывались они не так уж часто. Скорее спорадически, нежели регулярно.

Но теперь, с самого начала нового века, ситуация радикально переменялась: любая попытка всякого провинциального зодчего самостоятельно проектировать городские здания становилась – нарушением закона. То есть преступлением.



Калуга. Дом губернатора

И могла обернуться пусть и не уголовным преследованием, но очень большими неприятностями не только для самого зодчего, но и для его начальства.

То есть полноценное архитектурное проектирование в провинции было законодательно воспрещено.

Провинциальные зодчие становились – исполнителями, строителями. Если что и дозволялось им проектировать самостоятельно, то разве что всякого рода пристройки да перестройки.

Ведь даже и частные строения должны были строиться по «образцам (впрочем, в этой сфере властный контроль был, кажется, не столь жестким, как в казенном строительстве).

А ведь начало XIX века – это начальная пора ампира, заключительной стадии классицизма.

Уже поэтому весьма странно звучит выражение «калужский ампир», введенное в обиход С.В. Безсоновым (не говоря уж о так называемом «деревянном ампире», не имеющем, конечно же, никакого отношения к «стилю Империи»).

Основные ампирные постройки Калуги выстроены по петербургским проектам.

И первый образец петербургского ампира в Калуге – дом губернатора.

В 1806 году Ясныгин подготовил «проект двухэтажного дома с антресолями для губернатора, по своему характеру близкий к архитектуре корпусов Присутственных мест» /24, с. 73/.

Стилистическое родство архитектурных образов объясняется просто: Ясныгин, несомненно, использовал созданные никитинской командой чертежи.

Но проект этот был отвергнут столичным начальством.

Конечно же, образ здания, спроектированного более двух десятилетий тому назад, должен был казаться архаичным. Но даже если бы проект в полной мере соответствовал новым художественным веяниям, он уже не мог быть осуществлен.

К тому времени убийственный для провинциальной классицистической архитектуры закон еще не был принят. Но уже готовился.

В 1803 году были утверждены императором Александром I разработанные А.Д. Захаровым «образцовые» проекты казенных строений для губернских и уездных городов.

А в конце 1806 года из Петербурга в Калугу были направлены «образцовые» чертежи дома губернатора.

Чуть позднее, когда было дано разрешение на строительство этого здания, еще и поступил сверху начальственный приказ: «строить под главным и точным наблюдением» губернатора, чтобы «не было отступления от образцовых высочайше апробованных планов» /24, с. 73/.

Вряд ли, конечно же, калужский губернатор, забросив все свои дела, занялся тут же не свойственной его должности работой.

Дом в три этажа был возведен, в полном, конечно же, соответствии с утвержденным проектом, «под непосредственным руководством губернского архитектора» /24, с. 73/, то есть Ясныгина.

Строительство этого здания завершилось в 1811 году. И, судя по всему, оно стало чуть ли не самым первым сооружением в стиле ампира во всей русской провинции (включая сюда и Москву).

Причем ампир тут – высочайшего качества.

А.Д. Захаров, автор этого здания, на ту пору уже был крупнейшим зодчим России. Как раз в эту пору он начал грандиозную перестройку гигантского здания Адмиралтейства в Петербурге, чтобы в итоге создать один из самых великих памятников мирового зодчества. И он же разрабатывает в 1804 году план «застройки восточной оконечности Васильевского острова», реализовав который француз Тома де Томон, автор выстроенной в соответствии с замыслом Захарова Биржи, создал «беспримечательный архитектурный ансамбль» /19, с. 431/.

И спроектированный Захаровым «образцовый» дом губернатора – не худшее его творение.

Восемь огромных колонн – в центре увенчанного аттиком главного фасада – мощно контрастировали с ровной гладью стен.

Это был не просто дом. Это был еще один калужский кремлевский дворец – символ государственной мощи.

Но недолго был его век.

В 1837 году калужским губернатором становится тайный советник Н.В. Жуковский. Надо полагать, именно ему пришла в голову идея перестроить губернаторский дом, придать ему приватный, уютный вид. Сказалось, видимо, все более распространявшееся в ту пору в русском обществе восприятие классицистической архитектуры как «казенщины».

И вот уже калужский архитектор Соколов готовит проект кардинального изменения облика ампирического здания. И в марте 1841 года проект этот утверждается; проектировать что-либо новое нельзя, но перелицовывать, искажать даже и «образцовые» постройки можно.

Колоннада уничтожается. Зато на уровне второго этажа устраивается балкон, с которого можно было спускаться в разбитый перед домом сад.

Тогда же парадная лестница, до того — деревянная, стала — чугунной.

Вполне возможно, что жить в перестроенном доме было удобнее и комфортнее. Но само здание в немалой мере утратило свой дворцовый склад, свою художественно-идейную выразительность.

Ныне массивные стены здания кажутся неприлично голыми.

По большому счету, не так уж трудно восстановить здание в его первоначальном виде.

И тогда в Калуге воскреснет великое создание самого Захарова. самого великого мастера русского ампира.

Дворянское собрание

Главным мастером позднего классицизма в Калуге был, несомненно, Соколов.

В силу сложившихся обстоятельств он не смог проявить себя как создатель полноценных художественных образов.

Но строил он много и умело.

Наиболее значимые его работы — это разного рода пристройки, перестройки и достройки.

И в первую очередь это — колонная галерея, устроенная им в 1834 году вдоль южного и восточного фасадов Никитского храма.

В последнюю очередь — упомянутая выше перестройка губернаторского дома.

Он же в 1823 году, в самом начале своей архитектурной деятельности в Калуге, выстроил колонный портик посреди фасада семинарского корпуса.

Даже в ту пору, когда Соколов еще не расправился с колоннадой губернаторского дома, портик этот воспринимался как один двух наиболее эффектных архитектурных акцентов ансамбля.

Ныне же это — наиболее парадный элемент всего комплекса дворцовых строений.

Конечно, выстроив этот портик, а затем переделав на свой лад главный фасад дома губернатора, Соколов в какой-то мере изменил весь художественный строй ансамбля.

Никитин замышлял ансамбль как жестко ориентированный с севера на юг.

Соколов приметно усилил ось восток — запад.

И его можно понять: он основывался на сложившейся архитектурной ситуации.

Соборная площадь была разомкнута с юга. И с годами замкнуть ее с этой стороны стало практически невозможно.

Но теперь, когда акценты сместились, стало возможным развитие ансамбля на юго-запад. И Соколов, будучи человеком делового склада, выкупил большой участок земли как раз в этой части кремля.

Покупка оказалась удачной. И не только потому, что Соколов смог выстроить для себя дом — на самой кромке кремлевской возвышенности, с великолепным видом на Оку

Уже после смерти Соколова его наследники продали городу располагавшийся тут же земельный участок — под строительство здания Дворянского собрания.

Некогда автором этого строения считали зодчего П.И. Гусева, бывшего крепостного, лишь в 1831 году получившего вольную. Но уже Фехнер полагала, что «Гусев был толь-



Калуга. Здание Дворянского собрания

ко строителем дома» /24, с. 78/. Ныне стало вполне очевидно, что в лучшем случае он мог лишь принять участие в этом строительстве.

«Архитектурно маловыразительный проект, составленный во вкусе того времени, – пишет Фехнер, – был прислан из Петербурга в 1848 году» /24, с. 78/. Руководить же строительством мог в этом случае только губернский архитектор, поскольку работа эта входила в его непосредственное ведение.

А с августа 1847 года калужским губернским архитектором был Иван Иванович Таманский (1821-1875).

Есть сведения, что еще до вступления его в должность, а значит и до начала строительства Дворянского собрания, он был «приглашен для чистовой отделки интерьеров Дворянского собрания» /5, с. 184/. О каких именно интерьерах идет тут речь, непонятно.

Видимо, немалую роль в определении участка строительства этого здания, как и в самом строительстве сыграл губернский инженер Александр Дмитриевич Кавелин (1813-после 1875).

Называя здание Дворянского собрания «архитектурно маловыразительным», Фехнер права лишь отчасти. Самые недостатки этого строения – на свой лад очень и очень выразительны.

Архитектура тут лишена какой-либо пластичности, но прорисованы фасады умело и тонко.

Массив здания по-старчески суховат, но подтянут, вальжен, строг.

История возникновения дворцового ансамбля в Калуге, так блистательно начатая в годы

становления классицизма, как-то очень достойно завершилась в пору старения и умирания этого стиля.

Шедевры-невидимки

«Не смущайся, мой друг, что я в Калуге: туда ли еще меня загонят всякие потехи. Я в восторге от своей поездки. Нашел именно то, из-за чего поехал, т. к. в Калуге этого больше, чем где бы то ни было в России, — именно опровинциаленного (до чертиков) empire а, всяких «домиков с мезонинами» и «домиков с колоннами» и пр. Есть просто очаровательные, хотя и нелепые пережитки прошлого. Ведь тут когда-то был центр помещичьей жизни» /4, с. 203/.

Эти строчки — из письма Игоря Грабаря его брату Владимиру.

Читать их завидно: какие архитектурные чудеса мог увидеть Грабарь вживе в 1908 году, когда писал письмо!

Но строчки эти еще и удивляют. Приехать в Калугу и увидеть лишь то, чего в ней собственно и нет: некий «опровинциаленный» «до чертиков» ампир! Теперь-то мы знаем, что классическую Калугу строили главным образом столичные мастера — Никитин, Ясныгин, Соколов.

Так часто бывает: мы видим то, что настроены увидеть. Калуга ведь провинция — значит и искусство ее провинциальное.

Впрочем, уже вскоре Грабарь резко переменял свое мнение о калужской архитектуре. Сумел, видимо, взглянуться в нее, а, может, позднее, и в фотоснимки, сделанные с калужских строений.

Похоже, что именно он первый заметил удивительное сходство главных строений Калуги с постройками М.Ф. Казакова, уже признанного к тому времени классиком отечественного зодчества.

Вслед за ним имя Казакова как одного из создателей классической Калуги упоминают и Малинин, и Шампурины. И на долгие годы возникает подспудная уверенность, что именно Казаков — создатель наилучших строений и ансамблей Калуги.

И вот уже Лукомский безбоязненно восторгается калужской Соборной площадью. А Шампурины пишут, что Присутственные места в Калуге — «один из интереснейших памятников Екатерининского строительства. В век этой Императрицы легко рождались титанические замыслы, теперь кажущиеся нам часто взбалмошными и непрактичными. /.../ Много колоссальных замыслов такого рода было в Москве и Петербурге, но особенно яркое осуществление они нашли в Твери и Калуге» /с. 20/.

Что ж, никогда о калужском и тверском классицистическом зодчестве не писали так восторженно, как в предреволюционную пору. Ведь исследователи тогда верили, что восторгаются они постройками заведомых архитектурных знаменитостей.

Когда же в середине прошлого века вдруг стало выясняться, что создателем классической Твери и классической Калуги был не Казаков, а его учитель — Никитин, тон оценок приметно понизился.

С той поры, кажется, никто уже не осмеливался почитать калужский дворцовый комплекс шедевром русской архитектуры.

И это понятно.

Ведь оказалось, что не Казаков или Баженов – создатели ансамбля, а всего-то лишь их наставник.

Всего-то лишь человек, бывший некогда ведущим мастером московского барокко.

Всего-то лишь первостатейный знаток мировой архитектуры, создатель русских Версалей, зачинатель полноценного типового строительства.

Наконец, всего-то лишь градостроитель становящей Российской империи, задавший принципы реконструкции десяткам русских городов.

Никитину крупно не повезло. Ведущий архитектор Москвы, он, волею императрицы Екатерины II, оказался в провинции – до самого конца жизни своей.

Успей он вернуться в Москву, в свое имение, в свою «камору» (первую в России персональную художественную мастерскую), он воспринимался бы потомством именно как ведущий столичный мастер. Притом наилучший, самый умелый, самый образованный.

А так он и поныне всего-то лишь почтенный провинциал.

И отношение современных исследователей к нему – а, значит, и к его строениям – снисходительно-уничтожительное. Ведь в России, стране из века в век чрезвычайно централизованной, все провинциальное воспринимается как нечто заведомо третьесортное.

Вот что писали четыре десятилетия тому назад о Никитине как о создателе классической Твери московские искусствоведы Ю.Я. Герчук и М.И. Домшпак: «Громкое имя и блестящая архитектурная карьера Казакова заслоняли от исследователей работу его руководителя Никитина. Так бывало не раз в истории архитектуры. Тверские успехи не принесли Никитину заслуженной славы именно потому, что Тверь была не только началом, но и венцом его творчества».

Казаков, проработав в Твери пять лет, вернулся в Москву, был на виду, быстро вырос в самостоятельного, яркого мастера. А Никитин продолжал строить Тверь. Уехав из Москвы, уступив другим первое место в столичной архитектуре, он навсегда остается в провинции, навсегда уходит с авансцены русской архитектуры. После Твери он создал еще один шедевр – планировку Калуги, но и там он строил в том же половинчатом, переходном от барокко к классицизму стиле, который был новаторским в 60-х, но уже старомодным, отсталым в 70-х и 80-х годах. И Никитина забыли» /3, с. 13-14/.

Странная, внутренне противоречивая оценка.

Даже если согласиться с тем, что Никитин работал в «старомодном» стиле раннего классицизма, то это никак не повод принизить его искусство. В конце концов, именно в этом «половинчатом» стиле работал «русский француз» В.И. Баженов, несомненно, один из самых великих зодчих России.

Но теперь-то стало известно, что Никитин, будучи знатоком всех европейских стилей, творил в широчайшем стилевом диапазоне. И некоторые его строения на удивление схожи с самыми поздними созданиями Казакова. А значит, как минимум, ничуть не архаичнее их, классических образцов «высокого классицизма».

Да и странно считать никитинскую Тверь началом и венцом его творчества. Широкий и внушительный круг его ранних, барочных, работ. А венцом деятельности Никитина, ее мощным завершающим аккордом стал классический дворцовый ансамбль Калуги – и это действительно шедевр русского классицизма.

Соавторами этого ансамбля стали и большие столичные мастера – в том числе великий Захаров.

Так что художественная ценность всего комплекса строений калужского кремля – огромна.

Правда, ныне не так-то просто не только объективно оценить, но и увидеть в полной мере этот архитектурный шедевр.

Не только Соборная площадь стала – невидимкой.

Почти невозможно охватить взглядом фронтоны здания Присутственных мест, архитектурные объемы дома губернатора и Дворянского собрания.

В 1984 году в Калуге побывал известный американский архитектор Уильям Брумфилд. Помню, как он восторгался классической архитектурой города. И как возмущался тем, что ни с одного из фасадов старых калужских зданий нельзя сделать сколько-нибудь качественный фотоснимок – перед всеми ими нелепо расставлены столбы, бестолково, безумно посажены деревья.

С той поры если что и изменилось, то лишь – к худшему.

Правда, за кучами деревьев не так заметна обшарпанность центрального фасада Наместничества...

Понятно, что нет никакой возможности восстановить в изначальном виде Соборную площадь, открыть главные фасады дворцового кремлевского фасада. Для этого пришлось бы выкорчевать весь центральный городской парк, столь любимый калужанами на протяжении многих десятилетий.

Но, может быть, когда-нибудь удастся несколько разредить парковые посадки, так, чтобы люди, прогуливающиеся по аллеям парка, могли ощутить, что парк располагается между дворцовых фасадов.

И уж совсем несложно было бы вернуть площади, пусть и ставшей невидимкой, ее исконное имя – Соборная. Это тем более логично, что в западном корпусе Присутственных мест ныне, как и встарь, располагается духовная семинария.

И, как сто, как двести лет назад, идут службы в Троицком соборе, звенят его колокола.

Литература

1. Берговская И. Н., Бессонов В. А. «Мы едины судьбой со страной своей». Альбом. Калуга, 2016
2. Василий Иванович Баженов. Письма. Пояснения к проектам. Свидетельства современников. Биографические документы. М.: Искусство. 2001
3. Герчук Ю. Я., Домшляк М. И. Художественные памятники Верхней Волги. От Калинина до Ярославля. М., 1976
4. Грабарь Игорь. Письма. 1891-1917. М., 1974
5. Днепровский-Орбелиани А. С. Зодчество Калужского края с древности до наших дней. Калуга, 2005
6. Драгоценная память, Или Разные записки, собранные из записок Григорья Васильевича Губкина, продолжаемая сыном его Иваном Меншиком Губкиным в Калуге в 18-м столетии. Калуга, 2014

7. М. А. Ефименкова. К вопросу об изучении биографии калужского архитектора И. Д. Ясныгина // Вопросы археологии, истории и культуры Верхнего Поочья. Калуга, 2012
8. Зодчие Москвы времени барокко и классицизма (1700-1820-е годы). М., 2004
9. Калужский Березуй. Опыт документального описания. Калуга, 2004
10. Малинин Д. И. Неизвестные рукописи. Калуга, 2010
11. Малинин Д. И. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии (со вступительной статьей и комментариями А. Ларина). Калуга
12. Михайлов А. И. Баженов. М., 1951
13. Морозова Г. М. Прогулки по старой Калуге. Калуга, 1993
14. Николаев Е. В. Классическая Москва
15. Николаев Е. В. По Калужской земле. М., 1970
16. Обухов Владимир. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга, 2008
17. Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М., 1989
18. Панов В. А. Архитектор А. Н. Воронихин. М., 1937
19. Пилявский В. И, Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. Л., 1984
20. Советское искусствоведение 23. М.,
21. Список русских художников. К юбилейному справочнику Императорской Академии художеств. Составил С. И. Кондаков. б/д
22. Старые годы, ноябрь, 1911
23. Сытина Татьяна. Работа архитектора Петра Никитина в Калуге // В кн. «Обухов Владимир. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга, 2008». С. 124-135
24. Фехнер М. В. Калуга. М., 1961
25. Фехнер М. Калуга. Боровск. М., 1972
26. Ю. и З. Шамирины. Калуга. Тверь. Тула. Торжок. М.: издание Т-ва «Образование». 1914

ОБЛАКО СМЕХА



Дмитрий Кузнецов

АХ, ОСТАВЬТЕ!

(пародии)

Модная столичная поэтесса Ах Астахова появилась перед толпой восторженных российских читательниц лет пять назад. На самом деле поэтессу зовут Ирина Астахова, а восклицание «Ах!» относится к псевдониму, прозрачно намекающему на как бы родство с Ахматовой. В Калуге она (Ах Астахова) выступала дважды, оба раза – с аншлагом и с билетами различной стоимости. Ну, и правильно: хочешь слушать поэзию, – плати! И нечего тут... Ну, а когда деньги уплачены, и стихи лучше усваиваются, и культура как-то дороже становится.

Видимо, от осознания её дороговизны, а может – от усвоения стихов поэтессы, появился у меня пародийный «Ах Астаховский цикл». Вот – некоторые из этих пародий.

Голос снаружи

“Как громко мой внутренний голос
Кричит мне сквозь внутренний рот,
Как будто я села на поезд,
Но он никуда не идёт...”
Ах Астахова

Как часто мой голос снаружи
Бормочет из внешней среды:
“Не вздумай напиться из лужи,
Там нет подходящей воды.

Не пей эту гадкую бяку,
Не пей, говорю тебе, фу!”
Но я её выпью однако,
Закончив вторую строфу.

Пусть стану козю бодливой,
Пусть стану паршивой овцой,
Лохматой, тупой и ленивой,
Плетущейся мелкой рысцой, –

Я буду до ужаса рада,
Когда в эту шкуру войду!
Но шепчет мне голос: “Не надо.
Уж лучше пиши ерунду.

Рифмуй лучше “палка – селёдка”
И глупых девчонок дурн,
Но только на лужу, красotka,
Со страстью такой не смотри.

Ведь если под поездом лужа,
То ясно, откуда она...”
Спасительный голос снаружи,
Не спас ты меня ни хрена!

Ах, оставьте!

“Одолели меня города
И машины, и светофоры.
Увезите меня, поезда,
За высокие самые горы...”
Ах Астахова

Ах, оставьте! Известность – фиштя,
И любезная я только с виду.
Унесите, пингвины, меня
В голубую страну Антарктиду...

Ах, не знаю, что хочется мне!
Эх, достать бы чего-то такого!
Ох, и стать бы русалкой на дне!
Ух, на дне океана морского!

Но, убрав злую мину с лица,
Я словами жонглирую смело
И пишу без конца, без конца...
– Хватит, милая... надоело.

Инцидент с эскулапом

“Как, обессилев, ползёт в кровать
Врач, излечив тяжело больного...”
“Хочешь выпить – попей воды!..”
Ах Астахова

Врач по стремянке неспешно лез,
Чтоб с верхней полки достать спиртное,
Знал он, – спиртное снимает стресс,
Дух поднимает и остальное.

Знал он, – окончен рабочий день,
И не нужны ни пинцет, ни клизма.
Солнце зашло, наплывала тень
Хищной гримасой капитализма.

Лез он и верил, ещё чуть-чуть,
Будет ему вожделенный шкалик!
Но оборвал эскулапу путь
Рухнувший сверху бумажный валик,

Свёрток стихов поэтессы Ах...
Ах! И ушла из-под ног стремянка, –
Всё оттого, что давно в умах
Правят мозгами разврат и пьянка.

Если бы врач, предположим, шёл
В библиотеку походкой твёрдой,
Там бы он книжку себе нашёл,
А не лежал бы с разбитой мордой.

И не пришлось бы крутить бинты,
И не пришлось бы менять компрессы.
Хочется выпить – попей воды,
Сказано верно у поэтессы!

Прощальный ужин

“Как жаль, что Вы не любите вино:
Я с радостью бы в Вас его плеснула!..”
Ах Астахова

Досадно, что Вы пьёте только ром,
И не дешёвый, – жаль пустую тратить.
Уж лучше я устрою здесь погром
И все салаты вывалю на скатерть.

Щекою левой побледнели Вы,
Другой щекой заметно посинели.
Но Вы меня нашли не на панели
И вот – поре для Вашей головы.

А если мало, вот ещё рагу
И отбивные – прямо на рубашку:
За Софочку, за Верку и Наташку,
А за других я пницель берегу.

Сегодня я застала Вас с тремя.
Какой кошмар, с тремя в одной постели!
И вот теперь, всё руша и громя,
Прицельно запускаю в Вас тефтели.

Александр Хмелевский

Как ставится пьеса в любительском театре.

Из записок провинциального драматурга

В настоящем кратком, но поучительном обозрении нам хотелось рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает спектакль...

К. Чапек. «Как ставится пьеса»

1. Автор пишет пьесу

Когда известному – разумеется, в узком кругу – автору надоедает писать стихи, рассказы и повести для местных литературных изданий, он начинает хандрить, скучать и оглядываться в поисках нового поля деятельности. Томящийся сочинитель – волей благосклонного случая – попадает на спектакль любительского театра, и – представление по какому-то рассказу забытого русского писателя совершенно очаровывает его. Душа его преображается. Решение принято: он задумывает написать пьесу. Безрассудное желание!

Автор знакомится с режиссёром и актёрами любительского театра, смотрит ещё два-три спектакля, и безумная мысль сочинить пьесу всё больше им овладевает, становится навязчивой. Какой сюжет, сколько персонажей? Режиссёр – убеждённый сединойми театрал – советует создать такое социально-острое и сугубо современное, что может взбудоражить и заставит размышлять, но можно и про любовь, добавляет он, скривив кислую мину. И тут же предостерегает: пьеса должна быть небольшой, минут на пятнадцать-двадцать, чтобы не утомить легкодумного зрителя.

Воодушевлённый таким напутствием автор бежит домой, садится за письменный стол и начинает вдохновенно творить. Через две-три недели упорного труда он приносит своё детище в театр и вручает режиссёру. С этого момента для автора начинается тягостное ожидание, длящееся и неделю, и две... Наконец, изнемогший автор прибегает в театр, но режиссёр не расположен его видеть.

2. Режиссёрская трактовка

Когда же автор, уже ни на что не надеющийся, приходит в театр в третий раз, он – неожиданно для себя – встречает режиссёра, вальяжного, но добродушного и доброжелательного. Тот заводит его в свой кабинетик, заботливо усаживает в кресло и начинает расспрашивать о житье-бытье и планах на будущее. Автор очарован и, преодолев робость, интересуется судьбой своей пьесы.

– Пьесы? Вашей пьесы..., – режиссёр морщит лоб, пытаясь вспомнить.

– Пьесы «Школьные друзья», – подсказывает автор.

– Ах, да. Конечно, – припоминает режиссёр, – «Школьные друзья». Блестящая пьеса! Почему же вы, милейший, раньше-то не приходили?

Автор теряет дар речи.

– Да-да, – продолжает режиссёр. – Пьеса просто блестящая, современная и своевременная. И не побоюсь сказать: гениальная! Какая фабула, какие характеры. И страсти просто шекспировские.

Растроганный автор чуть слезу не пускает от полноты чувств и признательности. Но режиссёр тут же окатывает его ушатом холодной воды.

– Знаете, мой дорогой, – говорит он раздумчиво. – Ваша пьеса в конце заметно снижает свою драматичность. Последняя сцена – диалог в стихах под музыку Глюка – какая-то несерьёзная. Нет ударного финала.

– Но я хотел показать, – робко возражает автор, – что только любовь поможет моим героям перенести все испытания...

– Любовь! – иронически фыркает режиссёр. – Финал должен быть другим – ударным. Ваш герой... Как его там...

– Николай Матвеевич, – подсказывает автор.

– Вот-вот. Николай. И он непременно должен умереть. Это несомненно.

– Но почему? – недоумевает автор.

– Только такой конец и потрясёт зрителя. В этом и есть реалистичность искусства, создающего правду жизни. Миром правит богатство, а любовь – всего лишь забава.

– Но это противоречит всему строю пьесы, – пытается возражать автор.

– Вы хотите, чтобы ваша пьеса была поставлена? – яростно вопрошает режиссёр. – Вы хотите, чтобы она прогремела и вошла в историю театра?

Автор, обуреваемый самыми разноречивыми чувствами, потерянно молчит...

– Вот и хорошо, мой драгоценный, – говорит режиссёр, удовлетворённо улыбаясь. – Договорились. – И он назначает день читки.

С этого времени судьба пьесы и её персонажей целиком зависит от произвола и желаний режиссёра.

3. Читка пьесы и её оценка

В маленьких любительских театриках существует своеобразная церемония – дань демократии самого дурного свойства, – которую стоит описать в деталях.

В установленный для читки вечер собирается весь коллектив (слово «труппа» среди любителей не в чести!), и актёры – числом от шести до одиннадцати – рассаживаются на стульях вокруг длинного прямоугольного стола. Режиссёр представляет обществу автора, которого актёры разглядывают с откровенной неприязнью, а затем, достав из портфеля рукопись пьесы, кладёт её на стол, водружает на нос очки и торжественно всех оглядывает.

– Итак, начинаем, – говорит он, принимаясь за чтение без всякого энтузиазма. Текст он проговаривает монотонно, без малейшего выражения, местами переходя в заунывный бубнёж.

Автор оглядывает присутствующих и с горечью убеждается, что режиссёра никто не слушает. Премьер труппы, неестественно выпрямившись на стуле, откровенно спит, время от времени чисто рефлекторно вздёргивая левую бровь, как бы сомневаясь в услышанном. Актёр рядом, подперев голову правой рукой, тоже спит, тихо посапывая носом. Девушка, сидящая напротив него, поигрывает бусами, любясь их оттенками. У другого конца стола муж-

чина и женщина еле слышно перешёптываются, увлечённые только друг другом. И остальные, судя по их абсолютно отсутствующему виду, витают где-то далеко. Уныние овладевает автором, который уже ни на что не надеется.

– Ну что скажете о пьесе, друзья мои? – возглашает режиссёр, закончив – наконец! – чтение. И вопрос этот после его усыпляюще-нудного говорка звучит раскатисто громко.

Актёры, извлечённые из прострации зычной репликой, зевают, с удовольствием потягиваются и весело переглядываются. Самое гадостное уже позади. Теперь можно и язычком почесать.

Обсуждение начинается премьер труппы, доброжелательно оглядывая сидящих за столом (очевидно, у него хорошее настроение: славно вздремнулось!).

– Думаю, пьеса заслуживает внимания. Она ставит нравственные проблемы, решая их остро и, я бы сказал, бескомпромиссно. Пьеса актуальна и очень созвучна нашему времени и, говоря более точно, своевременна. И зритель, уверен, воспримет её очень заинтересованно.

Тон задан, и обмен мнениями катится дальше гладко, как по рельсам.

Мужчина и женщина у другого конца стола, перебивая друг друга, восклицают:

– Очень злободневно!.. Животрепещуще!.. Очень выразительно!.. И колоритно!.. И очень красочно!.. И ярко!..

– Да-да, – степенно говорит актёр, сидящий рядом с премьером, – подперев голову уже левой рукой. – Пьеса интересная, приятная...

– Приятная? – удивляется режиссёр.

– Приятная в том смысле, – юлит актёр, – что органично ложится на душу и будоражит её. А чувства персонажей абсолютно неподдельны и вызывают невольный отклик.

– Хорошо сказано, – поддерживает девица с бусами. – Чувства персонажей так и сверкают! Прямо-таки переливаются всеми своими гранями.

– Друзья мои, – говорит режиссёр, очень довольный ходом обсуждения. – А какая главная идея пьесы? В чём квинтэссенция всей её драматургии?

Пауза недоумённого молчания. Положение спасает премьер труппы.

– Суть пьесы в том, что она без всяких прикрас показывает нашу жизнь. – Он театрально воздевает руки. – Кто мы? Как мы живём? Зачем мы живём? Что нами движет: любовь или сугубо материальный интерес?

– И в самом деле! – вторит ему рядом сидящий актёр, по-прежнему подпирая голову рукой. – Разве может быть иначе?

Режиссёр в волнении вскакивает и тычет указательным пальцем куда-то вперёд.

– Вот! Вот! – восклицает он. – Это и есть квинтэссенция пьесы! Люди перестали быть людьми. Для них главное – погоня за деньгами, за материальным успехом. Их девиз: всё продаётся и всё покупается. И о душе не думает никто.

– А о любви и подавно, – поддакивает девица с бусами.

Режиссёр садится, аккуратно складывая листы с текстом пьесы, и удовлетворённо улыбается.

– Будем ставить, – подытоживает он. – Конечно, придётся кое-что сократить, убрать, подчистить. Да и изменить кое-что. Будем ставить. – И он назначает день первой репетиции.

Автор радостно вздыхает: его пьеса скоро станет полноценным спектаклем и даже войдёт – кто знает? – в анналы театральной истории.

Судьба пьесы в любительском театре зависит от случайного стечения обстоятельств. Если премьеру труппы попадёт, как говорится, вожжа под хвост, он изругает самую разгениальную пьесу, и все актёры его обязательно поддержат. Режиссёр? А что режиссёр? В любительском театре бал правят актёры. Режиссёру только и остаётся похлопать опечаленного автора по плечу и сочувственно сказать, что коллектив его пьесу не принял. Ему и в голову не приходит, что последнее – решающее! – слово всегда должно оставаться за ним, режиссёром.

4. Репетиции

Когда в любительском театре пьеса принята к постановке, наступает пора репетиций.

Первая репетиция представляет собой просто чтение по ролям и проходит образцово-показательно. Все приходят к точно назначенному времени, с удовольствием знакомятся с текстом и читают его с вдохновением. Режиссёр в восторге.

– Подучим роли, прорепетируем два-три раза, чтобы закрепить мизансцены, и – спектакль готов, – потирая руки, радуется режиссёр. – Можно через неделю-другую выходить на публику.

Его ликование, естественно, преждевременно и очень скоро сменяется унынием.

На следующих репетициях всё идёт вкривь и вкось. Актёры опаздывают – кто на пятнадцать минут, кто на полчаса, – и режиссёр, вскипая гневом, требует уважать коллектив, но у него не находится и слова порицания, если на час, а то и на полтора позволяет себе задержаться (разумеется, без объяснений!) премьер труппы.

Ни на одной репетиции пьеса не прогоняется целиком. Причин здесь множество, и все они серьёзные. У одного актёра болит горло, другой уехал в командировку, у третьего – день рождения бабушки, у четвёртого... Словом, режиссёру приходится заниматься какими-то эпизодами, никак не связанными между собой.

Случается, какой-нибудь актёр ни с того, ни с сего начинает суфлировать, подсказывая другим слова их ролей (при этом толком не зная и своей!).

– Я стараюсь поддержать темпоритм, – объясняет он.

Разумеется, это путает и сбивает всех.

– Хватит с меня суфлёрства! – рывкает один из актёров.

– Прекрати дурака валять! – поддерживает другой.

Суфлировавший актёр издаёт вопль негодования, и завязывается общая перепалка, в которую актёры вкладывают всю свою душу.

Бывает, в творческом угаре режиссёр заставляет актёра-мужчину играть женскую роль. Забавно смотреть, как здоровенный детина со щетиной на лице изображает нежно воркующую девушку. Курьёзно, конечно, но смысла в этом нет никакого.

При наступлении праздников-каникул репетиции прекращаются без всяких объяснений. Если же кто-нибудь из актёров в припадке душевного подъёма предложит продолжать репетиции, режиссёр – истинный сын ленивой страны! – сурово отчитает энтузиаста, сказав, что сейчас надо отдыхать от дел и набираться сил. И это иссушающее душу безделье может продолжаться и месяц, и полтора...

Когда же, наконец, актёры собираются после длительного перерыва на репетицию, выясняется, что они не только не знают текста, но и с трудом представляют, чем, собственно,

они должны заниматься на сцене.

Проходит достаточно долгое время, и пьеса начитает, как говорится, вытанцовываться. Актёры не просто играют, а живут – свободно, раскованно – в своих ролях. Режиссёр, полный радужных надежд, устанавливает дату генеральной репетиции и назначает день премьерного показа спектакля. Все предвкушают триумф.

5. Генеральная репетиция

Прогон, как фамильярно в любом театре называют генеральную репетицию, проходит из рук вон плохо.

Премьер труппы прибывает – по обыкновению – с большим опозданием и, как выясняется, играть может только вполсилы. Он болен – хрипит, сипит, чихает так, что стёкла в окнах звенят, говорит неразборчиво и еле слышно.

Другие актёры вроде бы здоровы, но выглядят совершенно потерянными. От их хладнокровия, самолюбия и присутствия духа не остаётся и следа. Вместо нужного текста они несут какую-то околесицу, путая слова и реплики, временами сбиваясь на невнятное бормотание.

Мизансцены, тщательно размеченные и отработанные на прошлых репетициях, рассыпаются прахом; актёры, забыв обо всём, движутся словно сомнамбулы.

Режиссёр сначала с недоумением наблюдает этот разлад, затем делает замечания и отдаёт распоряжения, но лучше не становится. Он выходит из себя, впадает в гнев, рвёт и мечет. Актёры с виноватым видом слушают, впитывая установки и указания.

Прогон повторяют ещё дважды. Как будто лучше, но режиссёр пребывает в совершенном унынии.

– Премьеру откладывать нельзя, – меланхолично говорит он, обречённо качая головой. – Будем надеяться на лучшее. Ах, если бы ещё одну репетицию!

Все расходятся подавленными с совершенно обречённым видом.

6. Премьера

Наступает день премьеры – день, когда пьеса становится спектаклем и входит в летопись театральной истории. И чаще всего он проходит незамеченным, потому что в любительском театре не принято вывешивать афиши.

Режиссёр собственноручно – по традиции – устанавливает на сцене декорации и раскладывает реквизит, при этом сам себе (вслух!) даёт указания: принести, поставить, унести... Актёры в задней комнате, безучастные ко всему, – кто сидя, кто стоя или бродя из угла в угол – бормочут под нос свои роли, иногда заглядывая в текст; только премьер труппы, устроившись на подоконнике, скушаяще и свысока поглядывает вокруг...

Наконец, наступает назначенный час, двери зрительного – на 30–40 мест – зала распахиваются, чтобы впустить желающих. Публика, посещающая представления любительского театра, абсолютно случайная, пришедшая по приглашениям режиссёра, актёров, руководителей ДК. Настоящих знатоков и ценителей театрального искусства среди этих людей не бывает никогда.

Проходит 10–15 минут ожидания, и занавес раскрывается. Режиссёр, устроившись за ку-

лисой, нажимает кнопку проигрывателя. Звучит музыкальное вступление, и спектакль начинается.

На сцене актёры, забыв всё личное, разыгрывают историю, полную напряжения и драматизма. Без орехов не обходится. Невпопад иногда звучит музыка. Актёры порой путают слова и интонации, а подчас и целые фразы проглатывают. Публика же, ни о чём не догадываясь, внимательно и равнодушно смотрит на сцену, оставаясь спокойной.

Автор внимательно следит за развитием действия и становится всё более сумрачным. Все картины сокращены буквально до нескольких реплик, и из них ушли искренность и сердечность. Монолог Людмилы об алчности и безответственности руководителей, злободневный и социально-острый, вообще исчез. Драматургически выигрышная и жизнеутверждающая финальная картина, где Николай и Людмила декламируют стихи о целительности всепрощающей любви, заменена тоскливо-унылой сценой умирающего Николая и скорбящей Людмилы. Полноценная (по насыщенности) пьеса превращена в куцый спектакль, а её идея выхолощена до предела. Автор пытается осмыслить: ради чего это сотворил режиссёр?

Спектакль подходит к развязке. Зрители разражаются аплодисментами, то ли восхищаясь, то ли радуясь, что кончилась эта тягомотина. Актёры и режиссёр выходят на поклон.

Что бы там потом не говорили, а премьера состоялась! И режиссёр, и актёры испытывают приступ необъяснимого, почти животного экстаза. Их ждёт традиционный премьерный фуршет с лёгким вином, тостами и обсуждением представления. Что же касается спектакля, то его, возможно, покажут ещё раз (много – два), а потом он будет прочно и навсегда забыт.

7. После спектакля

На следующий после премьеры день немного успокоившийся автор, не получивший даже морального удовлетворения (о денежной оплате и речи нет!), с горестным недоумением раздумывает и о спектакле, и вообще об эпопее создания и постановки его пьесы.

Досадно, что премьера в любительском театре проходит незамеченной средствами массовой информации; в лучшем случае – шесть-восемь строчек в газете. И это всё!

Неожиданно автор припоминает, что незадолго до написания своей пьесы, он в этом же любительском театре видел нелепо-абсурдный спектакль, где персонаж – явный шизофреник! – объяснялся в любви болотной лягушке. Эта совершенно бредовая постановка его поразила и, пожалуй, даже насторожила. И зачем он тогда подавил свои сомнения?

Автор снова перечитывает свою пьесу, сравнивает со спектаклем по ней и приходит к неутешительному выводу, что премьера стала провалом. И причины вполне очевидны!

Что же дальше? После долгих раздумий и сомнений автор даёт себе зарок не связываться отныне ни с драматургией, ни – тем более! – с любительским театром.

Сдержит ли он своё слово?

Наше интервью

О л ь г а К л ю к и н а
В л а д и м и р О б у х о в

ОТВЕТЫ – ПАЛИНДРОМЫ!

Сегодня у нас в гостях – Владимир Михайлович Обухов. Искусствовед, художник, писатель, поэт. Автор многочисленных искусствоведческих работ и поэтических сборников. Член Союза художников России и Союза российских писателей. Вице-президент Академии аналитического искусства. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

А ещё Владимир Михайлович – палиндромист, он сочиняет стихи-палиндромы, стихи-перевёртыши. И обещал сегодня отвечать на все мои вопросы только палиндромами. На мой взгляд, это невозможно. Что ж, проверим.

КОРР.: Владимир Михайлович, хотелось бы поблагодарить Вас за встречу и задать первый вопрос: Вы редко даёте интервью, избегаете публичности. Что для Вас известность?

ОБУХОВ:

Чад удач!

КОРР.: Сильно сказано. Но всё же в сентябре, как мы слышали, ожидается Вапа большая персональная выставка.

ОБУХОВ:

А? да-да...

КОРР.: Давайте начнём разговор с Вашей художественной, как я слышала яркой, богемной юности.

ОБУХОВ:

Кошмар! Срам! Шок!

КОРР.: И всё же почему вы решили стать художником?

ОБУХОВ:

Мир – зрим.

Мир огнём умён. Горим!

КОРР.: Владимир Михайлович, Вам довелось жить в разные времена, при разной власти. Каково это – быть художником и писателем в эпоху перемен?

ОБУХОВ:

О, лихолетие! И тело хило.

КОРР.: Как же Вам всё-таки удалось сохранить творческое начало, душу художника в столь непростые времена?

ОБУХОВ:

Лире вверил.

Я – и музе безумия.

КОРР.: Как вам удаётся так много совмещать? Быть искусствоведом, краеведом, художником, и ещё при этом писать стихи?

ОБУХОВ:

Как?

Я – эпопея!

Яма – сам я.

КОРР. Владимир Михайлович, Вы – выпускник отделения истории и теории искусства МГУ, искусствовед. Встречались ли Вам живописные полотна, которые при всём желании невозможно забыть? Например, пейзажи?

ОБУХОВ:

Диво – вид:

Кобылы – бок,

Горы – рог.

КОРР. А если взять натюрморт?

ОБУХОВ:

Колера тарелок.

Кожурки кружок.

КОРР: У Вас есть своё творческое кредо?

ОБУХОВ:

Тонов звон. От

ноты – тон.

Тон – от

тонн нот.

КОРР: Интересно было бы хоть одним глазком заглянуть в Вашу творческую мастерскую...

ОБУХОВ:

Домок – как комод.

Комод – как домок.

На виду – диван.

КОРР. Правда ли, что у Вас есть целая палиндромная пародия на Андрея Вознесенского?

ОБУХОВ:

«Я – горе. Рог я

Горя. Рог

Города, дорог...

Я – йог. Я – Гойя.

И логики голи

Я довод. Я!»

КОРР: Владимир Михайлович, Вы давно живёте Калуге, написали много интересных работ по архитектуре этого города. Какая она для вас, Калуга?

ОБУХОВ:

Коралл арок –

В Оке веков.

КОРР: А есть ли у Вас в Калуге какой-нибудь любимый вид, уголок, куда вы любите приходить в уединении?

ОБУХОВ:

Грот с овалом мола – восторг!

КОРР: Я слышала, Вы не очень любите путешествовать. Но разве Вам не хотелось бы побывать в лучших музеях мира, где висят Тициан, Гоген...

ОБУХОВ:

Нет! Со стен –

Тени? Нет...

Не Гоген.

КОРР: Почему не Гоген?

ОБУХОВ:

Не он зноек.

Боргезе – гроб!

КОРР: Наверное, Вы больше любите русские музеи? Что скажете по поводу картины «Мишки в лесу»?

ОБУХОВ:

Вот сила эротики-то реалистов!

КОРР: Вы принципиально не признаёте коммерческую живопись. Почему?

ОБУХОВ:

Жижа жиж. Зараза зараз.

КОРР. Владимир Михайлович, что бы Вы пожелали молодому поколению?

ОБУХОВ:

Беду суди – в виду судеб.

КОРР: Владимир Михайлович, говорят, в быту Вы крайне неприхотливый человек. Это так?

ОБУХОВ:

Ишачу тут – у чаши

Яда – чуда в аду, чада.

КОРР: Но всё-таки у Вас есть какие-то предпочтения в еде?

ОБУХОВ:

Окорок – О!

КОРР: Не хотели бы как-нибудь попробовать себя в качестве ресторанного критика?

ОБУХОВ:

Торт с кофе? Фокстрот?

Торгаша рот.

КОРР: Я слышала, Вы прекрасный семьянин: жена, дочь, внук... Поделитесь секретом гармоничной семейной жизни.

ОБУХОВ:

Учу – шучу:

Муж – ум!

КОРР:

А не жена?

Ой, кажется, я сама заговорила палиндромами, пора заканчивать интервью. Что бы Вы хотели напоследок пожелать нашим читателям?

ОБУХОВ:

Вино – гони! В

Яви – диви! Живи – дивя!

Вопросы задавала Ольга Клюкина.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТКУДА И КУДА ПЛЫВУТ ОБЛАКА.....	3
(слово редактора)	

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Кормильцев СЮЖЕТЫ ОБЛАКОВ Рассказ	6
Владимир Обухов ЛИШЬ КРАСКИ НА ХОЛСТЕ Стихи	12
Марина Улыбышева МОЁ СИНЕЕ СЧАСТЬЕ Стихи	15
Наталья Никулина В ОКРУЖЕНИИ АНГЕЛОВ Стихи	20
Вячеслав Некрасов ЛЮБОВЬ МОЯ, ЦВЕТ ЗЕЛЁНЫЙ... Маленькая повесть.	22
Дмитрий Кузнецов СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА Стихи	34
Юлия Горбачевская ЧУДО ЗА ЧУДОМ Стихи	37
Михаил Тырин ОТПУСК ЗА ХРАБРОСТЬ. КЛИЕНТ СОЗРЕЛ. Рассказы	40
Игорь Красовский МИНУС НА МИНУС Стихи	54
Виктор Чернявский КАК ОСЕННИЙ ВОЗДУХ Стихи	58
Галина Ушакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА Рассказ	61
Александр Трунин СВЕТ БЕРЕСТЯНОЙ Стихи	68
Ольга Шилова РАНЬШЕ ПЕРВЫХ ПТИЦ Стихи	71
Юрий Убогий ВРЕМЯ ВОКЗАЛА.....	75
Пётр Топорков МЕДЛЕННО ПРИДЁТ ОЗАРЕНИЕ Стихи	107
Максим Васюнов ОТ СТРЕКОЗЫ ДО ЛУНЫ Стихи	110
Ольга Клюкина КОНСПЕКТЫ ИЗ РОДДОМА.	
ЗАДАЧА С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ. ОВЧАРОЧКА. Рассказы	113
Юрий Холопов С ВАМИ ЖИЗНЬ МОЯ Стихи	124
Павел Тришкин СКВОЗЬ ОТТАЯВШУЮ ТИШИНУ Стихи	129
Эльвира Частикова НА ВОРОБЬИНЫХ ДОРОЖКАХ Стихи	131
Наталья Торбенкова МОЛИТВА БАБЫ ДУСИ.	
БЕЛЫЙ БИМ, БЕЛЫЕ УШИ. СТАРАЯ ЯБЛОНЯ. Рассказы	134
Маргарита Бендрышева КУЛИСЫ ЛИСТВЫ Стихи	142
Людмила Филатова ...А ВЕЧНОЕ ДЛИТСЯ Стихи	144
Александр Ларин ЗАВТРАК НА ТРАВЕ Повесть	146

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Инна Теплова	185
Виктор Канаев	186
Наталья Головатюк	188
Владимир Кормильцев	189
Александр Зорькин	190
Виктор Ларсеев	192

Светлана Соколова	193
Татьяна Азарова	195
Александр Киселёв РОЯЛЬ Повесть	196

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Марина Улыбышева О ЮБИЛЕЕ ПУШКИНСКОГО ПРАЗДНИКА	211
Андрей Корвин МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ПУШКИНИАНА Стихи.	212

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОСМОДРОМ

Анна Пашковец	218
Евгения Шабасева	220
Софья Семина	222
Дмитрий Горенский	225

ЛИТЕРАТУРА И СУДЬБА

Я СЛОВО ВСЛУХ ПРОИЗНЕСУ...	
Памяти Алексея Петровича Золотина (Ю. Холопов)	230
Алексей Золотин Стихи	232
«СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ. ВСЁ – ПО СУДЬБЕ»	
М. Анищенко и В. Щетинников (публикация А. Трунина и Ю. Холопова)	238
Александр Трунин НЕДЕЛЯ ПЕРЕПИСКИ С МИХАИЛОМ АНИЩЕНКО	240
Юрий Холопов О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ПОЭТА ВЯЧЕСЛАВА ЩЕТИННИКОВА (к 70-летию со дня рождения)	249
Вячеслав Щетинников Стихи.	252
Марина Улыбышева СТРАДА ПОЭТИЧЕСКАЯ	257
Вячеслав Черников РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДМИЛЫ КИСЕЛЕВОЙ	260
Алексей Мельников ОДНАЖДЫ В ТАРУСЕ, МОЙ ПАУСТОВСКИЙ.	263
Татьяна Азарова СКВОЗЬ ТЕРНИИ К ПРАВДЕ	268

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

А.П. Черников ОБОГАЩЕНИЕ ЖАНРА Художественные искания в автобиографической прозе русского Зарубежья	273
--	-----

НА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Андрей Убогий ГОРОДНЯ Эссе	280
Владимир Обухов КЛАССИЧЕСКАЯ КАЛУГА Дворцовый ансамбль и Соборная площадь.	292

ОБЛАКО СМЕХА

Дмитрий Кузнецов АХ, ОСТАВЬТЕ! Пародии	332
Александр Хмелевский КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТЕАТРЕ	
Из записок провинциального драматурга	336
Ольга Ключкина, Владимир Обухов ОТВЕТЫ – ПАЛИНДРОМЫ! Интервью	342

Редактор-составитель А.В. Трунин

Редколлегия:

М.А. Улыбышева

О.П. Ключкина

Ю.В. Холопов

В.М. Обухов

П.С. Тришкин

П.Е. Топорков

И.А. Красовский

Иллюстрации:

В.М. Некрасов

Е.А. Лёвочкина

и студия «АртНуво»



ISBN 978-5-98204-121-0